This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

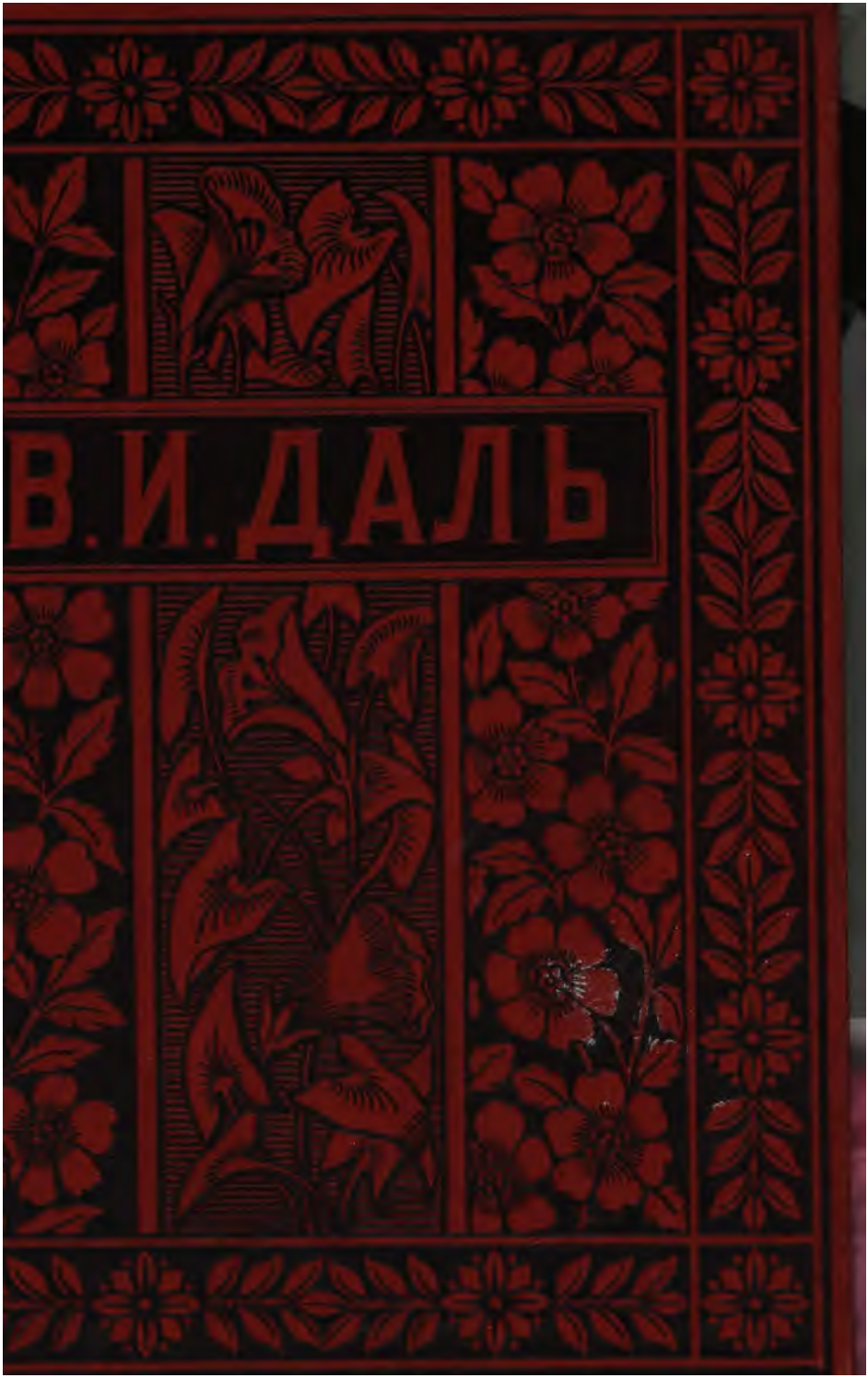
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

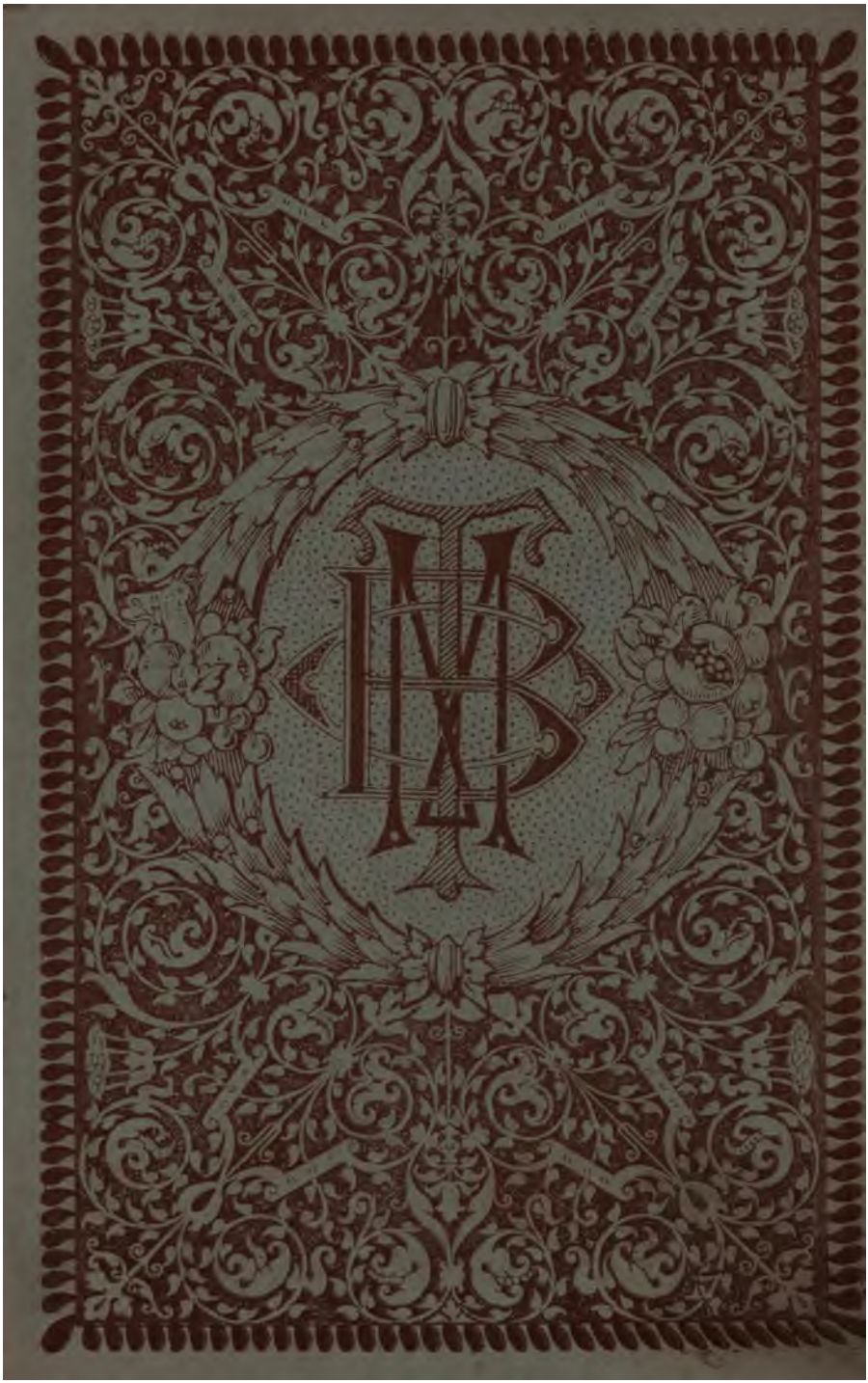
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


В. И. ДАЛЬ

A45216

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

№168



Д|14-VIII
V122.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

ТОМЪ ВОСЬМОЙ

Даль, Вл.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ВЛАДИМІРА ДАЛЯ

(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ ВОСЬМОЙ

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, № 12

1898

891.73
D121
V.8

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ. Спб., Вас. Остр., 16 л., д. № 5—7.

Дозволено цензурою Спб. 1-го іюня 1898 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

КАРТИНЫ РУССКАГО БЫТА

I

АВСЕНЬ

«Груша что-то затѣваетъ»,—сказала одна изъ трехъ дѣвокъ, сошедшихся въ авсень, Васильевъ или богатый вечеръ, на улицѣ. Трескучій морозъ донималъ ихъ порядочно сквозь башмачки съ чулочками и ситцевыя юбчонки, хотя онѣ и кутались подъ самый носъ и уши куценькими штофными шубейками, съ красивыми, нашитыми на тесьму сборками по заду лифа.—«У нея, вишь, все свои затѣи»,—сказала, подтягивая одну ножку подъ себя, другая подружка, пониже всѣхъ ихъ ростомъ, но пребойкая и превлюбчивая, какъ знатоки замѣчали по скорому и мягкому говору ея, а еще болѣе по быстрымъ, искательнымъ глазамъ.—А что»,—продолжала она,—не хочетъ, что ли, съ нами погадать?»—«Да, видно, что не хочетъ, — отвѣчала другая, болѣе рослая и бѣлолицая, подувая подъ шубейкой въ кулакъ и переступая съ ноги-на-ногу, — она приговариваетъ что-то, вишь, будто голова болитъ; «хоть приду—не приду», говоритъ, а «не ждите.» — Ой, Груша, Груша,—подхватила опять быстроглазенькая: — много въ тебѣ блохъ! Ну, Богъ съ нею, и безъ нея повеселимся да скажемъ завтра ребятамъ, чтобъ ее подраз-

нить маленько! По домамъ, голубушки, прощайте, на мѣстѣ не устоишь, студено; морозъ такъ живое тѣло и донимаетъ! Собирайтесь же!»—И всѣ три разбѣжались.

Между тѣмъ въ просторной и чистой избѣ большого села, или посада, три дочери хозяйскія приготовляли все для пріема гостей и для святочнаго гаданья Стали сходиться дѣвушки, обращаясь съ обычными привѣтствіями и пожеланіями къ хозяевамъ, а затѣмъ со смѣшками и шушуканьемъ къ дочерямъ ихъ, одѣтымъ въ шелковые сарафаны, со сборчатыми, напускными шейными рукавами, и убравшимъ приглаженныя головы свои поднизями, а косы лентами. Затѣмъ начали показываться и парни, входя очень скромно и чинно и расправляя лѣвой рукой волосы на лбу, послѣ каждаго поклона иконамъ, хозяевамъ и гостямъ. Только по плутовской улыбкѣ иного изъ нихъ можно было знать, что онъ встрѣтилъ тутъ, въ числѣ подружекъ, ту, которую надѣялся увидѣть; а когда стали садиться для гаданья вкругъ бранаго стола, то наша быстроглазенькая, перемигнувшись съ рослою подругою своею, сказала одному молодцу:—«Чего ты, сердечный, оглядываешься? Груши нѣтути.» — И это была первая шутка, сдѣлавшая переходъ отъ чинности къ веселью.

Собрали кольца, перстеньки, сережки, одинъ снялъ и подалъ ключъ съ пояса, другой шутникъ гребенку,— и все это вмѣстѣ съ ломтиками хлѣба положили въ чашку, покрыли ширинкой и, спѣвъ чинно пѣсню хлѣбу и соли, принялись за подблюдныя пѣсни, вынимали изъ-подъ ширинки, поочередно, что кому приходилось, и пророчили будущее, большею частію съ намеками на настоящее; тамъ пропѣли послѣднему *Дорогая моя гостейка*, свадебную пѣсню, и принялись хоронить золото; за золотомъ пошли опять гаданья раз-

наго рода, гдѣ всякій выдумывалъ и пригадывалъ свое, кто чему былъ гораздъ. Тутъ и куръ снимали съ нашести, водили лошадей черезъ оглоблю, вызывали собакъ лаять, кидали башмакъ черезъ ворота, бѣгали съ лучиной, считали сучки въ полѣнѣ, дергали губами солому изъ омета, прислушивались на перекресткѣ и наконецъ лили воскъ и олово.

Все это шло своимъ чередомъ: шумное веселье заглушало всякое иное чувство или воспоминаніе, и во весь вечеръ и ночь никто не заботился о Грушѣ, которая, какъ мы видѣли, оказалась нездоровою и осталась дома.

Груши однакоже въ это время не было и дома; она тамъ сказала, что идетъ на святочныя посидѣлки. Она не совсѣмъ солгала, и точно была на посидѣлкахъ; — но на какихъ? Она была одна, не пригласила никого съ собою и никому не сказала, что затѣяла. Груша рѣшилась, отогнавъ отъ себя всякій страхъ, дознаться наконецъ о будущей судьбѣ своей, во что бы ни стало. Она одѣлась какъ въ гости, въ щегольской шелковый сарафанъ свой съ кисейными напускными рукавами, причесалась, повязала повязку съ богатою подризью, накинула на себя шубейку, на голову платочекъ, но, сошедъ съ крылечка, быстро повернула налѣво, то есть не къ воротамъ, а къ задворью. Пробѣжавъ подъ стѣнкой мимо коровника и конюшни, сарая, амбара, она перескочила небольшой промежекъ и вышла къ банькѣ, стоявшей на самыхъ задахъ, гдѣ уже начинался коноплянникъ.

Едва переводя духъ, она осторожно притворила за собою двери передбанника, вошла въ баню — морозъ пробѣжалъ у нея по хребту, но она еще разъ ощупью воротилась къ наружнымъ дверямъ, засунула засовъ, опять вошла въ баню, осмотрѣла противъ неба продушину или оконце, хорошо ли оно закрыто, вырубила

огня и зажгла лучину. Банька освѣтилась, и къ одному углу, между полкомъ и лавкой, стоялъ столикъ, накрытый столечникомъ, а на немъ два прибора, то есть по бѣлой, съ синими разводами и точками тарелкѣ, по ножу, деревянной ложкѣ и по утиральнику; передъ приборами стоялъ хлѣбъ, соль, складное зеркальце, обклеенное, какъ и самый ларчикъ, красной переплетною бумагой, и двѣ свѣчи въ грубыхъ деревянныхъ шандалахъ. Груша со страхомъ перекрестилась, оглянулась, зажгла обѣ свѣчи, разставила ихъ по обѣ стороны зеркала, взяла лежавшій въ углу на лавкѣ мѣшокъ и осторожно положила его поближе къ столу. По голосу, который при этомъ случаѣ раздался внезапно изъ мѣшка, надобно было догадываться, что въ немъ сидитъ пѣтухъ. Она сѣла за столъ, вздрогнула, нечаянно увидавъ себя въ зеркалѣ, сложила на груди ладони, тяжело, но тихо вздохнула, и, взявъ съ рѣшимостію ножъ, очертилась имъ, приговаривая трижды: —«Суженый-ряженый, приходи ко мнѣ ужинать!...»— Въ первый разъ она сказала это почти шопотомъ и вздрогнула, услышавъ свой голосъ; но она смѣло возвышала его, и въ третій разъ проговорила заклинаніе громко и твердо, только потупивъ глаза. Все стихло, красавица одиноко и молча сидѣла за своимъ приборомъ, глядѣла въ зеркальце и съ видимымъ напряженіемъ удерживала голову свою постоянно въ этомъ положеніи.

Прошло нѣсколько времени—и она вдругъ вздрогнула. Кто-то стучался у дверей. Дыханіе ея стало чаще, алый румянецъ бросился въ шею и щеки. Стукъ усиливался; у отдушины, надъ гадальщицей, послышались голоса; вѣтеръ завывалъ, собаки залаяли, кто-то сталъ сильно дергать и качать наружныя двери; смрадный запахъ, какъ отъ жженой кожи, разнесся по банѣ... Груша сидѣла, не шевелясь; виски стучали,

дыханіе спиралось у нея въ груди, которая высоко волновалась.

Наружная дверь бани сильно заскрипѣла на крюкахъ, какъ она всегда дѣлывала, когда ее не приподымали, отворяя; затѣмъ ее опять захлопнули. Груша услышала топотъ, вторыя двери пошатнулись; но она потупила взоры и не оглядывалась... кто-то ступилъ раза два и сказалъ ласковымъ голосомъ: — «Красавица моя, уточка золотая, сизая голубка, любъ ли я тебѣ?»

Теперь только Груша, обомлѣвъ почти по наружности, но сохраняя полную волю и сознаніе, зачуралась еще разъ потихоньку и взглянула на гостя. Это былъ ловкій молодой парень, въ синей сибиркѣ по колѣни, подпоясаный алымъ шелковымъ поясомъ; полосатые шаровары заложены были въ сапоги, за поясомъ голицы, а въ рукахъ шляпа со свѣтлой пряжкой и тремя павлиньими перьями. Онъ умильно глядѣлъ на дѣвушку, разглаживая пальцами едва пробившійся усъ свой

Груша глядѣла на него прямо большими глазами своими, не смигивая, и грудь ея сильно колыхалась: на лицѣ ея было написано какое-то недоумѣніе, будто она не знала, радоваться ли или плакать. — «Ты похожъ на Ѳедота,—сказала она мягкимъ голосомъ,—но ты не Ѳедотъ?.. »

— Мало ли Ѳедотовъ на бѣломъ свѣтѣ, — сказалъ суженый:—я вотъ весь передъ тобой — гляди, любка моя, голубка моя, да урони ненарокомъ слово ласковое: любъ ли я тебѣ?

— Воля батюшкина,—сказала она тихо, и все смотрѣла на него во всѣ глаза, блѣдная какъ полотно.

— Что батюшка, — сказалъ тотъ: — красавица ты моя бѣлолицая, бѣлогрудая, русокосая; у меня кони готовы;—ѣдемъ?

— Такъ только сиротъ круглыхъ у насъ берутъ,—

молвила она:—чтобъ для почету отца-матери и кладки не положить.

— А что кладки за тебя? Что запросятъ, то и положимъ! Чернобровая моя, за этимъ не постоимъ! Никто на селѣ у васъ кладки не дастъ отцу твоему супротивъ меня!

— Такъ поди съ Богомъ,—продолжала она:—когда рожь, тогда и мѣра; свата пришлешь, отецъ-мать разсудятъ.

— Лебедушка ты моя, — вскричалъ суженый, и бросился было прямо къ ней; она ахнула, сильно вздрогнула и отклонилась назадъ, но суженый самъ отскочилъ, протянувъ руки до очерченнаго круга. — Лебедушка ты моя, — продолжалъ онъ, заломивъ руки:— да полно, разжалобись до меня, выдь сюда, поѣдемъ! Кони лихіе, сани ковромъ укрыты!

— Да и мнѣ зазорно будетъ, — продолжала она, успокоившись нѣсколько: — засмѣютъ, застыдятъ подружки: неужто ты мнѣ ничего не принесъ гостинца? Безъ подарочковъ отъ суженаго дѣвка замужъ нейдетъ.

— Говори, павочка моя, за гостинцемъ ли дѣло станетъ? Проси, чего хочешь, все есть, все готово.

— Сарафанъ матерчатый,—сказала она медленно и со страхомъ: — коли не поскупишься, да шубейку штофную на бѣлкахъ, да, смотри, на голубенькихъ, чтобы не стыдно было изъ-за тебя глазъ показать... кокошничекъ, чтобъ было подъ чѣмъ русу косу схоронитъ, оплакавъ свою дѣвью красу, какъ пойду я за тебя, своего разорителя... платъ шелковый, да хоть нитокъ пятокъ жемчугу...

Она остановилась, оробѣвъ; языкъ и губы ея шевелились, но духъ захватило, и голосъ осѣкся. Суженый доставалъ изъ подъ полы, ровно изъ сундука, каждую вещь, которую она называла, и клалъ передъ нею на

приступокъ полка, довольно ярко освѣщаемый двумя свѣчами. Она испугалась, что такъ поспѣшно назвала сподрядъ все, что приходило ей на умъ, потому что ей слѣдовало удержать суженаго до вторыхъ пѣтуховъ, иначе онъ могъ ее увезти, и удержать, именно заговаривая его спросомъ подарковъ; но по два раза нельзя было назвать при этомъ ни одной вещи. Она знала также, что если осѣнить украдкою крестнымъ знаменіемъ каждый подарокъ, то онъ оставался при ней, послѣ того какъ суженый пропадалъ; но Груша не рѣшилась на это, потому что считала грѣхомъ и что, сверхъ того, по разсказу одной знающей старушки, всѣ вещи эти бываютъ краденыя, и хозяева легко могли бы опознать на ней свое добро. Ей хотѣлось только испытать ворожбу и гаданье это, увидать своего суженаго и уйти. Но какъ теперь отъ него отдѣлаться? Онъ начиналъ приставать все смѣлѣе и настойчивѣе, положилъ уже на лавку, по новому требованію Груши, нѣсколько денегъ, коты, поясокъ златотканный, серьги, перстень, чулочки. . болѣе она въ страхѣ ничего не могла придумать, стала въ ужасѣ оглядываться, будто искала какого-нибудь спасенія,—и суженый, то съ ласкою, то съ угрозой, приступалъ все ближе, укорялъ ее, что онъ все исполнилъ, ему пора ѣхать, а онъ безъ нея не поѣдетъ, и протягивалъ за нею руки... У нея до этого осталось столько памяти, что она сидѣла на мѣстѣ, гдѣ зачуралась и очертилась, но голова ея шла кругомъ, она теряла сознаніе и соображеніе... Вдругъ увидѣла она около себя мѣшокъ, потянула его къ себѣ и стала давить и щипать пѣтуха, чтобы вымозжить изъ него спасительный крикъ; но пѣтухъ упорно молчалъ и разъ только подалъ какой-то невѣрный голосъ, болѣе похожій на крикъ преслѣдуемой курицы. Суженый захохоталъ недобрымъ смѣхомъ, лицо его начинало из-

мѣняться, пріемы его дѣлались болѣе смѣлыми и рѣшительными, слова дерзкими... Бѣдная Груша взглянула на него и, увидавъ какую-то перекосившуюся, страшную рожу, до того испугалась, что вскрикнувъ бросилась къ дверямъ и безъ памяти грохнулась объ полъ.

Суженый кинулся на нее, какъ дикій звѣрь на добычу, задулъ свѣчи, а ее взялъ на руки, спѣшно выскочилъ съ нею изъ бани, бросился въ парныя сани, стоявшія на задворьѣ — и лошади помчали ихъ черезъ коноплянникъ, огородъ, мимо гуменъ и въ чистое поле. Что бы было съ Грушей, куда бы она дѣвалась,—не знаю; но въ это время вдругъ громко закричалъ пѣтухъ, сидѣвшій подъ полостью на однихъ съ ними саняхъ. Вскочивъ въ банѣ съ мѣста, Груша въ безпамятствѣ ухватила съ собою мѣшокъ съ пѣтухомъ и съ нимъ упала, сжавъ его судорожно въ рукахъ; суженый не догадался, что, усаживая свою Грушу, усаживаетъ съ нею вмѣстѣ и другого, незванаго гостя, недруга своего, который и былъ спасителемъ ея.

Вмѣстѣ съ крикомъ пѣтуха, суженаго какъ будто подкинуло изъ саней на сажень; кони, сани и возница словно провалились въ землю—и все вокругъ затихло.

Груша обомлѣла, но она слышала все, что около нея дѣлалось, и слышала сладкое, спасительное пѣніе пѣтуха. Долго еще не могла она пошевелиться; наконецъ, пришла въ себя, тяжело и мѣрно вздохнула нѣсколько разъ, стала оглядываться и ощупываться и, убѣдившись въ спасеніи своемъ, горько зарыдала. Между тѣмъ, стужа стала сильно донимать ее; она привстала и увидѣла, что сидѣла на черной овчинѣ, мѣста же вокругъ себя опознать не могла: все пусто, темно и дико вокругъ, и прямо передъ нею глубокій яръ. Ей чудилось даже, будто въ оврагѣ этомъ слышны какіе-то дикіе голоса и свистъ, а по

временамъ блещетъ пара огненныхъ глазъ; но она быстро отвернулась, взяла своего вѣрнаго пѣтуха, укуталась шубейкой и скорыми шагами пошла отъ пропасти въ противную сторону. Долго она плутала въ холодную и темную ночь эту, наканунѣ Новаго года; она сама постепенно остывала, крестилась, молилась и готовилась на смерть. Пѣтухъ, котораго она не покидала, а грѣла объ него руки, запѣлъ опять: онъ услышалъ чуткимъ ухомъ своимъ отдаленный крикъ своихъ товарищей, и Груша, прислушавшись хорошенько, услышала то же. Сердце ея ожило, она поспѣшила въ ту сторону и скоро подошла къ своему селу. Укутавшись, сколько могла, чтобы кто-нибудь не узналъ ея, она скорыми шагами дошла домой, гдѣ никто не искалъ ея, считая ее на святочныхъ посидѣлкахъ. Тихо вошла она въ избу, бросилась на полъ передъ образами и долго съ плачемъ молилась. Тутъ же подняли ее утромъ: она шесть недѣль пролежала въ горячкѣ.

II

СЫНЪ

Жена по мужѣ плачетъ—поводокъ шумитъ; сестра по братѣ—мелкимъ дождичкомъ; мать по сынѣ—тихой росой, да день за день, утренней и вечерней зарей; нѣтъ родимаго дружка супротивъ родной матушки; матерня молитва со дна моря вынимаетъ. Отцовское благословленіе напутствуетъ умомъ-разумомъ, а матернее — душу въ сердце влагаетъ. Но и гнѣвъ оскорбленной матери страшенъ: отцовское проклятіе коренитъ (искореняетъ), а матернее сушитъ; весь свѣтъ пройдешь, а отъ него не уйдешь; въ могилѣ отъ него не скроешься, и на томъ свѣтѣ оно тебѣ отзовется.

Былъ недобрый сынъ, жившій одинъ съ матерью Онъ остался сиротой отъ отца еще младенцемъ; мать вспоила и вскормила его, живучи сама въ нуждѣ, въ нищетѣ; она много лѣтъ билась одна, работала въ крестьянскомъ хозяйствѣ за двоихъ: за бабу и за мужика; сама ѣла ль не ѣла ль, а сынъ былъ сытъ. Она учила его всякому добру, что только сама знала, обувала, одѣвала, кругомъ обшивала—да въ бѣдѣ и сиротствѣ своемъ не въ мѣру его любила и причудамъ его потакала. Подрастаетъ онъ — и стала у него память

коротѣть со дня на день; не сталъ онъ помнить заботъ матери, а все съ нею зубъ-за-зубъ, ровно съ недругомъ, и за все, что ему неладно, пеняетъ на нее. Молчитъ мать, только ину пору, поплакавъ, станетъ усовѣщивать его да стыдить, что при чужихъ людяхъ онъ ей то и то сказалъ — такъ въ комъ совѣсть, въ томъ и стыдъ; а въ комъ совѣсти нѣтъ, нѣтъ и стыда. Много ли, мало ли, а все-таки обиходное крестьянское хозяйство у нея было, и ничего она для сына не жалѣла, а сталъ онъ, какъ подросъ, полнымъ хозяиномъ въ домѣ: «возьми, сказала она, то все твое, что отцовское было, что мое — все одно, все копили не для себя, а для тебя.»

Сидятъ они разъ за ужиномъ; а сынъ въ этотъ день былъ сердитъ и ужъ не разъ принимался браниться съ матерью; а все пуще вышло изъ-за того, что мать подала нищему ломоть хлѣба. Такъ-сякъ, она успокоила его и все думаетъ: «авось пройдетъ, надумается, вспомнитъ, что онъ мнѣ сынъ.» Сѣли за ужинъ—онъ молчитъ, насупивъ брови, и какъ тянется ложкой къ горшку, такъ и то не глядитъ. Протянула мать руку—словно ложки ихъ столкнулись: мать выждала, сынъ досталъ щецъ и хлебнулъ—а самъ молчитъ; потянулась она опять—и въ другой разъ то же; что такое это, подумала она, и всилу перевела духъ... протянула руку въ третій разъ, а онъ ея ложку оттолкнулъ своею, такъ что чуть не выбилъ ее изъ рукъ.—«Сынъ мой, Богъ съ тобою,»сказала она: «что ты это дѣлаешь?»—А онъ ей: «будетъ съ тебя, полно; на тебя не напасешься этакъ, а я не батракъ тебѣ, чтобъ на тебя работать да тебя кормить.»—Старушка встала, положила ложку, перекрестилась, прошептала что-то и пошла вонъ. Только ее и видѣли; ночь была темная, никто изъ сосѣдей не случился видно на улицѣ, — словомъ, никто не зналъ и не видалъ, куда

II

СЫНЪ

Жена по мужѣ плачетъ—поводокъ шумитъ; сестра по братѣ—мелкимъ дождичкомъ; мать по сынѣ—тихой росой, да день за день, утренней и вечерней зарей; нѣтъ родимаго дружка супротивъ родной матушки; матерня молитва со дна моря вынимаетъ. Отцовское благословленіе напутствуетъ умомъ-разумомъ, а матернее — душу въ сердце влагаетъ. Но и гнѣвъ оскорбленной матери страшенъ: отцовское проклятіе коренитъ (искореняетъ), а матернее сушитъ; весь свѣтъ пройдешь, а отъ него не уйдешь; въ могилѣ отъ него не скроешься, и на томъ свѣтѣ оно тебѣ отзовется.

Былъ недобрый сынъ, жившій одинъ съ матерью Онъ остался сиротой отъ отца еще младенцемъ; мать вспоила и вскормила его, живучи сама въ нуждѣ, въ нищетѣ; она много лѣтъ билась одна, работала въ крестьянскомъ хозяйствѣ за двоихъ: за бабу и за мужика; сама ѣла ль не ѣла ль, а сынъ былъ сытъ. Она учила его всякому добру, что только сама знала, обувала, одѣвала, кругомъ обшивала—да въ бѣдѣ и сиротствѣ своемъ не въ мѣру его любила и причудамъ его потакала. Подрастаетъ онъ — и стала у него память

коротѣть со дня на день; не сталъ онъ помнить заботъ матери, а все съ нею зубъ-за-зубъ, ровно съ недругомъ, и за все, что ему неладно, пеняетъ на нее. Молчитъ мать, только ину пору, поплакавъ, станетъ усовѣщивать его да стыдить, что при чужихъ людяхъ онъ ей то и то сказалъ — такъ въ комъ совѣсть, въ томъ и стыдъ; а въ комъ совѣсти нѣтъ, нѣтъ и стыда. Много ли, мало ли, а все-таки обиходное крестьянское хозяйство у нея было, и ничего она для сына не жалѣла, а сталъ онъ, какъ подросъ, полнымъ хозяиномъ въ домѣ: «возьми, сказала она. то все твое, что отцовское было, что мое — все одно, все копили не для себя, а для тебя.»

Сидятъ они разъ за ужиномъ; а сынъ въ этотъ день былъ сердитъ и ужъ не разъ принимался браниться съ матерью; а все пуще вышло изъ-за того, что мать подала нищему ломоть хлѣба. Такъ-сякъ, она успокоила его и все думаетъ: «авось пройдетъ, надумается, вспомнитъ, что онъ мнѣ сынъ.» Сѣли за ужинъ—онъ молчитъ, насупивъ брови, и какъ тянется ложкой къ горшку, такъ и то не глядитъ. Протянула мать руку—словно ложки ихъ столкнулись: мать выждала, сынъ досталъ щецъ и хлебнулъ—а самъ молчитъ; потянулась она опять—и въ другой разъ то же; что такое это, подумала она, и всилу перевела духъ... протянула руку въ третій разъ, а онъ ея ложку оттолкнулъ своею, такъ что чуть не выбилъ ее изъ рукъ.—«Сынъ мой, Богъ съ тобою,»сказала она: «что ты это дѣлаешь?»—А онъ ей: «будетъ съ тебя, полно; на тебя не напасешься этакъ, а я не батракъ тебѣ, чтобъ на тебя работать да тебя кормить.»—Старушка встала, положила ложку, перекрестилась, прошептала что-то и пошла вонъ. Только ее и видѣли; ночь была темная, никто изъ сосѣдей не случился видно на улицѣ, — словомъ, никто не зналъ и не видалъ, куда

она пошла, куда дѣвалась; знать, живая легла въ могилу.

Сынъ остался и не поглядѣлъ за нею вслѣдъ. «Поди себѣ, подумалъ онъ, сшей суму, такъ авось еще годокъ прокормишься, и будетъ съ тебя. Нестолѣтъ тебѣ жить, чужой вѣкъ заѣдать, пора и честь знать. Я хозяинъ дома, все добро—отцовское наслѣдство и мое.

Между тѣмъ сынъ все хлебаетъ да хлебаетъ и рѣжетъ хлѣбъ, ломоть за ломтемъ. Погодя немного, принимаясь опять за ножъ, онъ подумалъ: «что за притча за такая, отчего я сегодня такъ проголодался? кажись, обѣдалъ и полудновалъ какъ всѣ люди, и теперь поѣлъ за двоихъ—а все ѣсть хочется.» Принялся опять; нѣтъ, словно порожнюю ложку въ ротъ несетъ; таки что ни укуситъ, да ни хлебнетъ—то пуще прежняго на ѣду позываетъ, ровно крещенскаго волка.

Покончилъ онъ горшокъ щей весь, нагнулъ его и поглядѣлъ туда, посвѣтивъ еще лучиной, — все, нѣтъ ничего, а кажись было сварено на двоихъ, да еще и такъ, чтобы утромъ стало на завтракъ. Пожалъ онъ плечами, отставилъ щаной горшокъ, да придвинулъ къ себѣ кашу—а его голодуха вотъ такъ и пробираетъ... «Что за пропасть, подумалъ онъ, это словно диво какое: вонъ, полъ пирога хлѣба съѣлъ и щи выхлебалъ всѣ, а на брюхѣ ровно третьи сутки ни крохи, ни капли не было...»

Принялся онъ за кашу; сперва было положилъ масла, наклавъ ее въ чашку, а тамъ, видитъ, что не беретъ этакъ, пододвинулъ горшокъ, да давай его очищать. Догорѣла лучина, того гляди, погаснетъ, хозяинъ мой впотьмахъ останется—такъ не сможетъ отъ каши оторваться, такъ его и тянетъ на ѣду; покосился еще на лучину, ухватилъ ломоть хлѣба на дорогу, выскочилъ изъ-за стола, да бѣгомъ къ свѣтцу; вставилъ новую лучину и опять на свое мѣсто... Захотѣлось ему

пить, взялъ жбанъ квасу; какъ приставилъ къ губамъ, такъ все бычкомъ и осушилъ разомъ, а самъ кричитъ: «пить хочу!...» Опять ухватилъ ложку, да въ горшокъ—только постукиваетъ: пусто. Онъ за краюху, да давай ее уписывать—только сопитъ... Покончилъ, глядитъ въ обѣ ладони—нѣтъ ничего, а ѣсть хочется до смерти, а пить—такъ вотъ и палитъ-жжетъ... Какъ кинется онъ вонъ изъ своей избы, да къ сосѣдямъ подъ окно: «дайте христа-ради хлѣбца!» — Тѣ смотрятъ — кто это? Андрей? — Онъ и есть... «Дайте хлѣбца...» Тутъ дѣвка идетъ съ ведрами отъ колодца, несетъ воду: онъ какъ кинется на нее: «дай испить!»—«Пей—говоритъ она:—на здоровье»,—и остановилась... Пьетъ мой Андрей, какъ быкъ пыхтитъ, а легче нѣтъ; опорожнилъ ведро; дѣвка насилу удержала коромысло на плечѣ, потому что другое ведро взяло было перевѣсъ.. «Да ты бы, Адрей, — говоритъ она ему: — ходилъ на водопой что ли; а то на тебя такъ не напасешься; не батрачка я на тебя работать, воду ведрами носить...»

Кинулся онъ опять подъ окно, проситъ хлѣба: ему подали да и смотрятъ въ окно, что будетъ изъ этого, что сосѣдъ Андрей подъ окнами побирается, хлѣба проситъ... Онъ не успѣлъ съѣсть ломоть, держитъ его одной рукой, а другую ужъ протягиваетъ: «подайте еще!»—«А, чтобъ тебя разорвало!—сказала сосѣдка:—поди къ чорту»,—и затворила окно.

Андрей къ другой избѣ, къ третьей—и вездѣ то же: что больше ѣстъ, то больше хочетъ; и пьетъ, пьетъ—хоть въ него бадьями лей. Стали гнать его то одинъ, то другой; говорятъ, Андрей взбѣсился, всю ночь напролетъ выходилъ по селу, никому спать не далъ, все просилъ хлѣба; а къ колодцу подошелъ, такъ вотъ черпакъ за черпакомъ,. ровно ложкой хлебаетъ, пилъ безъ устали до разсвѣта, и побѣжалъ опять просить хлѣба..

она пошла, куда дѣвалась; знать, живая легла въ могилу.

Сынъ остался и не поглядѣлъ за нею вслѣдъ. «Поди себѣ, подумалъ онъ, сшей суму, такъ авось еще годокъ прокормишься, и будетъ съ тебя. Нестолѣтъ тебѣ жить, чужой вѣкъ заѣдать, пора и честь знать. Я хозяинъ дома, все добро—отцовское наслѣдство и мое.

Между тѣмъ сынъ все хлебаетъ да хлебаетъ и рѣжетъ хлѣбъ, ломоть за ломтемъ. Погодя немного, принимаясь опять за ножъ, онъ подумалъ: «что за притча за такая, отчего я сегодня такъ проголодался? кажись, обѣдалъ и полудновалъ какъ всѣ люди, и теперь поѣлъ за двоихъ—а все ѣсть хочется.» Принялся опять; нѣтъ, словно порожнюю ложку въ ротъ несетъ; таки что ни укуситъ, да ни хлебнетъ—то пуще прежняго на ѣду позываетъ, ровно крещенскаго волка.

Покончилъ онъ горшокъ щей весь, нагнулъ его и поглядѣлъ туда, посвѣтивъ еще лучиной, — все, нѣтъ ничего, а кажись было сварено на двоихъ, да еще и такъ, чтобы утромъ стало на завтракъ. Пожалъ онъ плечами, отставилъ щаной горшокъ, да придвинулъ къ себѣ кашу—а его голодуха вотъ такъ и пробираетъ... «Что за пропасть, подумалъ онъ, это словно диво какое: вонъ, полъ пирога хлѣба съѣлъ и щи выхлебалъ всѣ, а на брюхѣ ровно третьи сутки ни крохи, ни капли не было...»

Принялся онъ за кашу; сперва было положилъ масла, наклавъ ее въ чашку, а тамъ, видитъ, что не беретъ этакъ, пододвинулъ горшокъ, да давай его очищать. Догорѣла лучина, того гляди, погаснетъ, хозяинъ мой впотьмахъ останется—такъ не сможетъ отъ каши оторваться, такъ его и тянетъ на ѣду; покосился еще на лучину, ухватилъ ломоть хлѣба на дорогу, выскочилъ изъ-за стола, да бѣгомъ къ свѣтцу; вставилъ новую лучину и опять на свое мѣсто... Захотѣлось ему

пить, взялъ жбанъ квасу; какъ приставилъ къ губамъ, такъ все бычкомъ и осушилъ разомъ, а самъ кричитъ: «пить хочу!...» Опять ухватилъ ложку, да въ горшокъ—только постукиваетъ: пусто. Онъ за краюху, да давай ее уписывать—только сопитъ... Покончилъ, глядитъ въ обѣ ладони—нѣтъ ничего, а ѣсть хочется до смерти, а пить—такъ вотъ и палитъ-жжетъ... Какъ кинется онъ вонъ изъ своей избы, да къ сосѣдямъ подъ окно: «дайте христа-ради хлѣбца!» — Тѣ смотрятъ — кто это? Андрей? — Онъ и есть... «Дайте хлѣбца...» Тутъ дѣвка идетъ съ ведрами отъ колодца, несетъ воду: онъ какъ кинется на нее: «дай испить!» — «Пей— говоритъ она:—на здоровье»,—и остановилась... Пьетъ мой Андрей, какъ быкъ пыхтитъ, а легче нѣтъ; опорожнилъ ведро; дѣвка насилу удержала коромысло на плечѣ, потому что другое ведро взяло было перевѣсъ.. «Да ты бы, Адрей, — говоритъ она ему: — ходилъ на водопой что ли; а то на тебя такъ не напасешься; не батрачка я на тебя работать, воду ведрами носить...»

Кинулся онъ опять подъ окно, проситъ хлѣба: ему подали да и смотрятъ въ окно, что будетъ изъ этого, что сосѣдъ Андрей подъ окнами побирается, хлѣба проситъ... Онъ не успѣлъ съѣсть ломоть, держитъ его одной рукой, а другую ужъ протягиваетъ: «подайте еще!»—«А, чтобъ тебя разорвало!—сказала сосѣдка:—поди къ чорту»,—и затворила окно.

Андрей къ другой избѣ, къ третьей—и вездѣ то же: что больше ѣстъ, то больше хочетъ; и пьетъ, пьетъ— хоть въ него бадьями лей. Стали гнать его то одинъ, то другой; говорятъ, Андрей взбѣсился, всю ночь напролетъ выходилъ по селу, никому спать не далъ, все просилъ хлѣба; а къ колодцу подошелъ, такъ вотъ черпакъ за черпакомъ, ровно ложкой хлебаетъ, пилъ безъ устали до разсвѣта, и побѣжалъ опять просить хлѣба..

Тогда только Андрей нашъ спохватился матери; тогда-то онъ принялся за нею причитывать и чествовать ее родною и родимою, кормилицей, и всѣми ласками, какія со страху могъ прибрать; да нѣтъ ея: никто ей не видалъ, никто не зналъ и не слышалъ, куда она дѣвалась...

Андрей ходилъ такъ до старости, и всѣ люди гоняли его отъ себя, какъ гоняютъ чужую собаку, потому что онъ оставался равно ненасытнымъ, хоть суй ему за щеку монастырскую ковригу, хоть не давай ничего. Люди привыкли къ этому, приложили ему прозвище *ненасыти*, ненасытной утробы, и дѣвки, идучи по воду, отгоняли его отъ себя хворостиной, потому что не могли напастись и наносить на него воды. Онъ ѣлъ все, что ни попадалось ему на улицахъ подъ-ноги: солому, отопки, навозъ, и пилъ по цѣлымъ суткамъ въ припадку изъ лужъ и водоямминъ. Завыванье голоса его раздавалось по ночамъ, отъ зари до зари, когда онъ, истомленный голодомъ и жаждой, гонимый отовсюду, поносимый всѣми, призывалъ въ отчаяніи безвѣсти пропавшую мать свою, ублажая ее всѣми извѣстными ему ласковыми словами.

Что было дальше съ Андреемъ, какъ и гдѣ скончался,—этого мы не знаемъ; но есть еще другое, подобное преданіе, которое говоритъ о томъ, что было съ такимъ сыномъ по смерти.

Въ одномъ мѣстѣ стали строить на кладбищѣ церковь, выбравъ для этого такое мѣсто, гдѣ похоронены были покойники съ незапамятныхъ временъ, и уже могилки почти всѣ сравнялись съ землею. Стали рыть канавы подъ закладку, и, натыкаясь мѣстами на гробы, увидѣли, что всѣ они погнили уже до тла, а труповъ почти и слѣдовъ не осталось, развѣ только кой-гдѣ была разсыпчатая, какъ сама земля, косточка. Но вдругъ работники стали: они дорылись до гроба, ко-

торый былъ еще цѣлъ и твердъ. Велѣли обрыть его и осторожно вынуть. Когда стали его подымать, то крышка свалилась — видно, деревянные гвозди сгнили и—работники съ испугу едва не уронили гробъ: мертвецъ лежалъ цѣлъ и свѣжъ, будто былъ погребенъ сегодня, только на лицо его было страшно смотрѣть: это было лицо человѣка въ страшныхъ, невыразимыхъ мукахъ. Много народу сошлось, всѣ смотрѣли и крестились — но никто не могъ узнать покойника, никто такого человѣка не могъ припомнить, и даже старики, сѣдые какъ лунь, пожимали плечами, глядя на этого неизвѣстнаго страдальца, и говорили: «Нѣтъ, на нашей памяти такого человѣка у насъ на селѣ не бывало.» Стали смотрѣть его ближе — а у него руки сложены и связаны женской косой... «Что это значитъ, кто что слышалъ, братцы, про такое диво, и зачѣмъ у покойника руки связаны косой, а въ косѣ виденъ кой-гдѣ сѣдой волосъ?..» Много народу сходилось изъ ближнихъ мѣстъ, много смотрѣли на покойника—никто ничего не могъ разгадать.

Вдругъ выходитъ изъ толпы старушка, ветхая, сухая, которой люди считали болѣе ста лѣтъ—а сама она давно счетъ годамъ своимъ потеряла—старушка, которая ужъ лѣтъ десятокъ почти не слѣзала съ печи—подошла къ покойнику, опершись на клюку свою, плюнула и отошла прочь. Народъ приступилъ къ ней: «бабушка, говори, кто такой это?»

— А это сынъ мой, — сказала она: — онъ померъ давно — еще вотъ Тимохи въ тѣ поры на свѣтѣ не было—а Тимоха стоялъ рядомъ со старухой и по виду былъ чуть ли не ровня ей годами. — Это сынъ мой: онъ держалъ меня у себя не какъ мать родную, а какъ закабаленную работницу свою, попрекая каждымъ кускомъ хлѣба и стращая день-деньской, что сгонитъ со двора. Разъ онъ осерчалъ на меня, ужъ я

и забыла за что, вскинулся, напустился, вскочилъ съ мѣста, ударилъ, да еще опровостоволосилъ и потаскалъ за косу. Я подступила къ нему и только посмотрѣла ему прямо въ глаза; онъ присмирѣлъ, оробѣлъ, замолчалъ, какъ воды въ ротъ набралъ, и, повѣсивъ голову, тутъ же предо мной сѣлъ на лавку. Я взяла ножъ, отрѣзала сѣдую косу свою и сказала: подай же сюда окаянныя руки свои, я ихъ свяжу, чтобъ онѣ у тебя впредь на мать не поднимались. Онъ протянулъ мнѣ руки, я ихъ сложила, связала косой своей и сказала: никому бъ ея безъ меня не развязать. Онъ молча прилегъ на лавку и Богу душу отдалъ; я его такъ и похоронила. Вотъ онъ и лежитъ, какъ лежалъ тогда.

Народъ сталъ просить старуху, чтобъ она сына простила и развязала ему руки. «Ты видишь, что съ нимъ дѣлается,—и сколько десятковъ лѣтъ онъ за грѣхи свои мучится...» Долго она не хотѣла снять проклятія своего; тогда стали уговаривать ее и увѣщевать. «Матушка, вѣдь и тебя оттого земля не принимаетъ, чт Господь карать тебя не хочетъ, а грѣхъ и на тебѣ есть: ты грѣха сыну не прощаешь; отъ этого ты вотъ и ходишь на землѣ, какъ живой мертвецъ... прости его!» Наконецъ ее упросили; она подошла ко гробу, и сама костлявыми, дрожащими руками своими развязала косу, сказавъ: «Господь съ собой, я тебя прощаю»— и въ тотъ же мигъ покойникъ и самый гробъ его разсыпались въ прахъ; старуха же присѣла, перекрестилась, потребовала попа и тутъ же спокойно скончалась. Весь народъ изумился; собрали прахъ сына и похоронили вмѣстѣ, въ одномъ гробѣ съ матерью, насыпавъ надъ ними небольшую могилу.—И много лѣтъ спустя, отцы и матери приводили на это мѣсто непокорныхъ дѣтей и тутъ разсказывали имъ, что нѣкогда случилось со старухой и сыномъ ея.

III

ОТЦОВСКІЙ СУДЪ

Въ новгородскомъ мятежѣ поселенныхъ войскъ, племянникъ стоялъ въ строю съ ружьемъ, противу толпы, которою ворочалъ родной дядя его, рыжій, огромный мужичина, который метался звѣремъ во всѣ стороны, кричалъ и вызывалъ всѣхъ за собой. Племянникъ былъ молодой солдатъ, изъ кантонистовъ; дядя увидѣлъ его и сталъ бранить, поносить и проклинать его, перезывая къ бунтовщикамъ. Племянникъ отвѣчалъ ему: «Я царю служу, по вѣрѣ и присягѣ; переходи ты къ намъ, а не то не подходи, не мечись на меня, убью.» «Что?—сказалъ дядя, который столько разъ диралъ племянника за уши и привыкъ, чтобы этотъ ему повиновался безъ слова:—что? Ты еще посмѣлъ мнѣ то сказать? Ахъ ты щенокъ! Поди-ка сюда!»— И пошелъ прямо на него съ дубиной. «Дядя, не ходи, убью!»—закричалъ племянникъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ приложился и положилъ своего дядю, разбойника, на мѣстѣ.

— У насъ было такое дѣло, — сказалъ олонецкій каменотосецъ:—недалече отъ нашей деревни, и было между отцомъ и сыномъ; что жъ, и Богъ, и царь простили старика, и міръ оправдалъ

«Мужика этого звали Сидоромъ Ивановымъ, а у него было четверо сыновей. Второй сынъ его Иванъ, съ малыхъ лѣтъ отъ рукъ отбился. Бывало, какая бѣда ни случится на деревнѣ, то ужъ и знали, что Сидоровъ Ванька. Парню всего годовъ восемь было, когда ни собакѣ, ни поросенку, ни овцѣ, ни птицѣ отъ него проходу не стало: камнемъ, такъ камнемъ, дубинкой, такъ дубинкой, по чемъ попало, такъ и душитъ. Разъ два его собака было загрызла, насилу люди отняли; сѣкли его за это что ни Божій день; отецъ бѣдный не наплачется, не наплатится, — нѣтъ, все неймется. Послѣ выдумалъ еще иное: настрогалъ мелкихъ деревянныхъ булавокъ, да гдѣ ни поймаетъ птицу, либо скотину мелкую, хоть свою, хоть чужую, то въ задъ и воткнетъ; та хилѣетъ день-другой и издохнетъ. Люди горюютъ, что какая-де чума напала на всякую живность, да ужъ насилу догадались и подстерегли Сидорова Ваньку. Не сходило ему все это съ рукъ: что объ него вицъ обломали, такъ счету нѣтъ; и запиралъ его отецъ, держалъ въ подклѣти одного по цѣлымъ недѣлямъ.

«Когда Ванька—поумнѣть не поумнѣлъ, а вошелъ во всѣ годы, выросъ, такъ не стало житья отъ него никому; всѣ его боялись. Не пройдетъ онъ мимо дѣвки либо бабенки, хоть каковой-нибудь, чтобъ ее не затронуть; а мужъ, либо братъ, либо кто другой вступится, такъ онъ и на драку готовъ и пожалуй на ножъ полѣзетъ. Не было на деревнѣ ни парня, ни мужика, ни бабы, чтобъ Ванька имъ не далъ какого прозвища: тотъ у него сопатый, тотъ костыль, тотъ мокруха; одного дядю своего сверчкомъ прозвалъ, другого моржемъ; на кого за что осерчаетъ, такъ ужъ ночь спать не будетъ, а гдѣ-нибудь подстережетъ его, да изъ-за угла голову раскроитъ; а какъ разъ мужикъ поймалъ его у себя на воровствѣ съ поличнымъ, да свелъ къ

отцу, да послѣ міромъ высѣкли его порядкомъ,—такъ онъ ночью перескочилъ во дворъ къ этому крестьянину, да скотину у него хуже волка перепортилъ: пересѣкъ у двухъ коровъ топоромъ поджилки; такъ и пропали, скорѣй зарѣзали.

«Терпѣлъ міръ долго, жалѣючи отца Ивана, старика Сидора, да ужъ не стало терпѣнья; стали говорить, что такъ ли, сякъ ли, а сбыть его надо. Посадили въ колодку, поклонились начальству, да мірскимъ приговоромъ и сдали его въ солдаты; тогда только и отдохнули.

«Прошло года съ полтора, какъ вдругъ у одного мужика, который въ тѣ поры больше всѣхъ стоялъ на томъ передъ міромъ, чтобъ сдать Ваньку въ солдаты, ночью загорѣлось на задахъ. Погорѣлъ мужикъ, да съ нимъ еще и сосѣдъ одинъ, и никто не могъ придумать, отчего могло загорѣться въ нежилой клѣти; всю ночь народъ остался на ногахъ, никто не спитъ— тутъ и прошла молва, что кто-то видѣлъ на пожарѣ Ваньку. Кто видѣлъ, гдѣ видѣлъ, допытываться—нашли человѣка, что, говоритъ, видѣлъ. Испугались мужики на смерть; благодарятъ старика Сидора за такого сына—а старикъ чѣмъ виноватъ? И самъ ину пору чуть отъ него не удавился. Прошло дня два, пастухъ приходитъ вечеромъ, да и говоритъ, что выходилъ къ нему изъ лѣсу Ванька, взялъ у него хлѣба, да наказывалъ принести еще. Коли принесешь, не трону тебя, не бось; а не принесешь, такъ убью. А на деревнѣ, говоритъ, скажи, чтобъ не трогали меня и не искали; сожгу всѣхъ. Пусть всякъ себя знаетъ; пусть высылаютъ мнѣ только хлѣбца съ тобой, да не замаютъ меня, и я ихъ не трону.

«Кому жъ не страшна такая угроза? Перекрестились мужики, чтобъ Господь ихъ помиловалъ, поплакались за это наказаніе, и стали высылать Ванькѣ

хлѣба съ пастухомъ. Такъ Ванька себѣ и жилъ и не трогалъ на деревнѣ никого; да прослышалъ объ немъ исправникъ, разспросилъ обо всемъ, какъ и что было, собралъ народу, да и посадилъ засаду около того мѣста, гдѣ указалъ пастухъ. Ванька вышелъ за хлѣбомъ, оглянулся, осмотрѣлся, никого не видать; подошелъ, да сталъ говорить съ пастухомъ—а тутъ съ двухъ сторонъ выскочили на него и окружили. Что жъ, кабы не самъ исправникъ, такъ не знаю, какъ бы и сладили; у Ваньки ножъ въ рукахъ и дрягалка; первый, кто подойдетъ, говоритъ, того и уложу на покой—а тамъ берите. Насилу одинъ молодецъ справился, ошеломивъ его дубиной по затылку.

«Сдали Ваньку опять и перевели духъ; все стало опять смирно, спокойно—да только опять не на долго. Прошелъ Ванька по зеленой улицѣ и опять отданъ на свое мѣсто, въ солдаты, и опять бѣжалъ. Какъ только прошла молва—и Богъ вѣсть откуда она взялась—что Ванька-де опять тутъ, то вся деревня такъ волкомъ и взвыла. Не прошло трехъ дней, какъ сгорѣлъ тотъ мужикъ, который перелобанилъ Ваньку, когда его ловили; а пастухъ отказался выгонять стадо, послали съ нимъ еще двоихъ, съ добрыми дрягалками, да и то со страхомъ Божіимъ пасли стадо и не смѣли уснуть, чтобъ не набѣжалъ окаянный на сонныхъ. Такъ ходили они цѣлую недѣлю, самъ-третей, да отдыхали на открытомъ мѣстѣ, и то посмѣнно.

Немного погодя, еще поджегъ Ванька старосту, да спасибо скоро захватили, погасили. Такой страхъ нагналъ онъ на всю деревню, что рады бъ просто взмолиться ему всѣ, только бъ знать, гдѣ его найти. Распустивъ стадо въ лѣсу, пастухи разошлись врознь искать корову: глядь, одинъ изъ нихъ и сталъ носомъ къ носу съ Ванькой. Пастухъ такъ и опѣшилъ — снялъ шляпу и стоитъ. «Не бось, сказалъ ему Ванька, я тебя

не трону. Дай хлѣба!» Тотъ отдалъ все, что было. «Послушай, сказалъ Ванька, чай, вамъ надоѣло это, да и мнѣ, признаться, надокучило: не сподручно вамъ со мной воевать. Скажи жъ ты своимъ старикамъ и скажи всѣмъ, коли хотятъ мириться со мной, такъ мириться, да чуръ безъ обману: пусть ловятъ, я прятаться не стану, да ужъ зато, какъ ворочусь въ третій разъ, такъ узнаютъ они Сидорова Ивана. Не троньте вы меня—и я васъ не трону; а только затронь кто-нибудь—выжгу всѣхъ и перерѣжу, вотъ-те крестъ.»

«Съ этой поры Иванъ жилъ подъ своей деревней, какъ у Христа за пазухой; не то чтобы ловить его, а подумать никто не смѣлъ, и бывало даютъ ему знать, коли выѣдетъ исправникъ. Этотъ бился, бился, ничего не сдѣлаетъ; соберетъ народъ, пройдетъ по лѣсу—найдутъ, не найдутъ, все одно: Иванъ тутъ же, ровно зоговоренный, между понятыми пройдетъ себѣ, будто по улицѣ прохаживается—только поздороваются съ нимъ, а никто ни слова больше. Хлѣба ему надо—вынесутъ; по ночамъ смѣло приходилъ въ деревню; подойдетъ къ любой избѣ, стукнетъ въ окно, ему и подадутъ всего, накормятъ и напоятъ, только поди съ Богомъ, никого не обижай. Между тѣмъ сталъ онъ грабить по дорогамъ; всѣ знаютъ, что это Иванъ, а никого нѣтъ, чтобъ къ нему приступиться.

«Между тѣмъ бѣдному Сидору, отцу Ивана, не было житья отъ проклятій. Ты-де народилъ, тебѣ бы и держать его въ рукахъ; а не училъ, пока поперекъ лавочки лежалъ, такъ ужъ, когда во всю вытянулся, не научишь. Наѣхалъ опять исправникъ, потому что Иванъ купца проѣзжаго зарѣзалъ, да отъ начальства строгія пошли приказанія, чтобъ хоть живого, хоть мертваго добыть его; созвалъ стариковъ, толковалъ, толковалъ, ничего не сдѣлалъ. «Власть ваша, говорятъ; коли вы насъ корить станете, такъ, вѣстимо, ваше

дѣло правое; да и наше такое жъ. Намъ послѣ отъ него не въ лѣсъ уйти, съ домами, да съ дѣтьми, а мы у него въ рукахъ завсегда. Два раза мы вамъ сдавали его на руки, два раза его опять на насъ выпускали; теперь боимся. Коли Государь прикажетъ порѣшить его тутъ же, подвѣсить на осинѣ, тамъ мы его найдемъ; а нѣтъ, такъ дѣлайте, что угодно.»

«Тогда исправникъ позвалъ отца Ивана и сталъ говорить съ нимъ глазъ-на̀-глазъ. «Какъ хочешь, говоритъ, а некому за это дѣло взяться, кромѣ тебя. На родного отца онъ руки не подыметъ; ты впередъ, другіе пойдутъ за тобой; долго ли еще этому грѣху быть тутъ?»

«Старикъ Сидоръ подумалъ, покачалъ головой, и прошибла его слеза. «Не пожалѣетъ онъ, сударь, отца,—сказалъ старикъ: — коли дѣло на то пойдетъ— я его знаю. Ну, да ужъ что будетъ, то будетъ; молчите, не сказывайте никому ничего.»

«На лѣтняго Ивана, рано утромъ, Ванька подкрался къ деревнѣ, осмотрѣлся и подошелъ прямо къ отцовской избѣ. Стукнувъ въ оконце, онъ опять отошелъ и оглядывался во всѣ стороны. Отецъ взглянулъ — такъ ему ровно сердце чѣмъ поворотило.— Что скажешь?

—«Да когда-то я въ этотъ день былъ именинникъ, — молвилъ Иванъ, а самъ тяжело вздохнулъ:— такъ я и пришелъ—что-то больно взгрустнулось мнѣ— я и подумалъ: пойду къ отцу, не покормитъ ли для праздника...

—«Поди,—сказалъ отецъ:—садись, да поѣшь.

—«Я въ избу не пойду, — сказалъ Иванъ:—волку не тамъ мѣсто. Коли будетъ твоя милость, такъ вынеси на зады, я тамъ прилягу на лужайкѣ подъ заборомъ.

«Отецъ вынесъ ему на лужокъ вина и пирогъ; а

Иванъ, не вѣря и родному отцу, стоялъ поодаль, поблагодарилъ, да и говоритъ: «поставь тутъ, батюшка, да ступай съ Богомъ въ избу.» Какъ отецъ ушелъ, такъ тотъ сѣлъ и принялся ѣсть.

«Сидоръ пришелъ въ избу, сталъ противъ ружья своего, которое висѣло на стѣнѣ — а старикъ Сидоръ былъ охотникъ — и долго на него глядѣлъ; потомъ перекрестился, снялъ ружье, взялъ его подъ полу, вышелъ въ заднія ворота на лужайку, и прямо пошелъ на сына. Увидѣлъ ли, нѣтъ ли этотъ ружье у отца, только что ѣсть пересталъ, сидитъ смирно и глядитъ прямо на него; отецъ подошелъ и, выстрѣливъ въ упоръ, положилъ его на мѣстѣ.

«Сдѣлавъ это, старикъ закинулъ ружье свое въ озеро, пошелъ самъ объявить обо всемъ начальству и приказалъ старостѣ посадить себя подъ караулъ. Судъ оправдалъ Сидора, а міръ въ голосъ сказалъ, что принимаетъ и грѣхъ и отвѣтъ на себя.»

IV

ХЛѢБНОЕ ДѢЛЬЦЕ

«Да скажите, пожалуйста, Иванъ Абрамычъ, откуда у васъ берутся подачки эти? Искусный вы человѣкъ, право. Не понимаю то есть, и не могу постигнуть, какъ это вамъ счастье везетъ... Да на какихъ же вы теперь опять дураковъ напоролись?»

— На ловца и звѣрь бѣжитъ, сударь мой. Дураковъ то у насъ непочатый уголъ—про это и говорить нечего; да дѣло тутъ не въ нихъ, почтеннѣйшій: на однихъ дуракахъ не далеко уѣдешь; нужно тутъ нашему брату быть не оплошнымъ да сумѣть подвести, какъ слѣдуетъ, дѣльце, чтобъ и умница радъ былъ попасть въ дураки — вотъ въ чемъ дѣло! Откуда берется? спрашиваете вы; да намъ, съ позволенія сказать, ину пору чортъ на хвостѣ приноситъ — мы и тѣмъ не брезгуемъ! А что дураки то они, не вовсе дураки, сударь мой, кто то есть чтитъ и чествуетъ и уважаетъ нашего брата; попались бы хоть вотъ и вы, благодѣтель мой, какъ напримѣръ, Амалія Кейзеръ — а это мужчина, хоть и Амалія, а она то тутъ лицо подставное, — такъ, не въ обиду вашей чести сказать, а были бъ и вы таковы..

— Ну вотъ, вотъ, Амалія-то Кейзеръ: объ этомъ то я и хотѣлъ спросить васъ, Иванъ Абрамычъ, пожалуйста, распотѣшьте, разскажите, а вотъ я еще за бутылочкой ренскаго пошлю..

— Да вотъ, сударикъ ты мой, у насъ, изволишь видѣть, заведеніе вообще такое, что дѣлишки какія набѣгаютъ, разбираются самимъ *имъ* по разборамъ— это ужъ *его* рукъ не минуетъ, и всякое дѣльце, прежде чѣмъ сдается и пойдетъ въ ходъ, соображается по достоинству, чего оно то есть стоитъ. Хорошее дѣло, хлѣбное, слѣдственный оставляетъ за собой и производитъ его подъ своимъ наблюденіемъ, самъ распоряжается и направляетъ его тамъ, куда и какъ слѣдуетъ; тутъ нашему брату поживы нѣтъ; много, много что достанется обрывать гривенники; а дѣлишки пустыя, второй и третьей руки, съ которыхъ поживы мало, раздаются прямо на нашу братью, мелкую сошку, съ обложеніемъ, по обстоятельствамъ, по достоинству дѣла; вотъ то-есть тебѣ дѣлишко, подай за него хоть пять, десять, двадцать цѣлковыхъ, а тамъ вѣдайся, выручка твоя; ужъ это твое счастье: что Богъ дастъ, это никто не отберетъ. Ину пору, кто не изловчился, того и гляди, что своихъ приплатишь, самъ насилу отвертишься; а ину пору, кому счастье счастьемъ, да подспорнись умѣньемъ, такъ и вымотаешь требушину и поживишься. Вотъ, сударикъ ты мой, нашъ братъ и бьется надъ этакимъ дѣломъ, и ухитряется, какъ бы изъ него соку повыжать, а разумѣется, что воля дана только на производство, пишешь только, куда и что по соображенію оказывается нужнымъ, а подпись все его же, ну ужъ онъ только не мѣшаетъ. И тутъ берегись одного: чтобъ все было шито и крыто, чтобъ его то есть не подвести подъ отвѣтъ, а то по шеѣ, тотчасъ вонъ, и пошелъ на мостовую въ ногти дуть, хоть самъ иди въ мазурики.

«Напримѣръ—сказать, то есть, такъ вамъ, на улицѣ случилась драка; драка простая, безъ грабежа, безъ злоумышленія, безъ увѣчья, безъ прикосновенности, ну вотъ хоть бы въ пьяномъ видѣ, и все только народъ черный; это дѣлишко пустое: подрались фабричные, все съ себя напередъ пропивши,— хвать ему въ карманъ, анъ дыра въ горсти; народъ предусмотрительный, взятки гладки. Вотъ такое то дѣльце, съ обложеніемъ однимъ цѣлковенькимъ, и сдается нашему брату. Надо выручить цѣлковенькій, да еще и себѣ не въ убытокъ, чтобъ, то есть, было изъ чего хлопотать и чтобъ какъ-нибудь прокормиться; вѣдь это, чай, нечего говорить вамъ, и сами вы знаете, что въ жалованьѣ, каково оно ни есть, только расписываешься, а и въ глаза его не видаемъ. Какъ тутъ быть? Ну, попридержишь маленько драчуновъ, чтобъ посбить съ нихъ спесь, позовешь къ допросу, постращаешь, прикрикнешь, а не беретъ, такъ опять управишь его туда же, чтобъ уходился. Позвавши въ другой разъ, ужъ и растолкуешь, въ чемъ сила: чтобъ, то есть, показаньице сдѣлалъ нужное, сослался хоть на свидѣтеля, съ котораго бы шерсти клокъ сорвать можно, какъ отпрашиваться станетъ, чтобъ не путали его. Напримѣръ, вотъ указали на такого то, что шелъ-де мимо, да не отворотилъ рыла; больше нѣтъ за нимъ ничего, только что видѣлъ—съ насъ и этого довольно; гдѣ больше взять? Требуется въ часть; знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, и не видалъ никакой драки и объ эту пору по улицѣ не ходилъ; ладно молъ, баринъ, оно и не въ томъ сила, а пожалуйте завтра пораньше, да на утро опять, а не пожалуете, такъ приведемъ. Пришелъ, посидѣлъ часа три, четыре; просится, молится — а мы: некогда теперь, недосугъ; что дѣлать: потерпите, дѣло нужное; а какъ отпустимъ, опять то же: пожалуйте завтра! Вотъ, батюшка, такими то

мизерными способами, глядишь — а все цѣлковенькій свой съ лихвой воротишь. Какъ отпустишь его совсѣмъ, анъ на повѣрку выходитъ, мы оба съ нимъ довольны остались! Что выжмешь, то и зашибаешь, такая должность наша.

«Ну, государь мой, а коли дѣльце въ силу уголовнаго уложенія поважнѣе, каково, напримѣръ, слѣдствіе, не для ради одной острастки, не слѣдствіе сокращаемое, а настоящее, на основаніи предписанія начальства, по воровству-кражѣ, либо по воровству-мошенничеству, а вѣдь ину пору и по убійству бываетъ; тогда вся штука въ сметкѣ, чтобъ притянуть, между дѣломъ, въ прикосновенности человѣка съ *подбоемъ*, которому бъ было чѣмъ раздѣлаться; вотъ его будто къ допросу; показывай онъ себѣ что хочешь, намъ все равно, только ври больше; а мы все пишемъ да пишемъ, а тамъ опять допрашиваемъ, да опять себѣ пишемъ; сличивъ на досугѣ всѣ показанія его, и выведешь противорѣчіе; вотъ дѣло то ужъ принимаетъ другой оборотъ. Тутъ прочитаешь ему относящіяся до этого обстоятельства статьи, объ уликахъ, очныхъ ставкахъ, о ложномъ показаніи свидѣтелей и о прочемъ. Ну, разумѣется, кто же самъ себѣ ворогъ, не каменная душа въ человѣкѣ, размякнетъ; иной жмется долгонько, все ужъ подъ конецъ подастся; вотъ мы и на переговоры, и подоимъ его маленько; а всѣ допросы эти и показанія изъ дѣла вонъ, да въ успокоеніе его при немъ начетверо; потрохи эти, видишь, и къ дѣлу то не идутъ, а подкладываются временно, для одной только острастки. Вотъ, государь мой, и тутъ сноровка нужна немаловажная, чтобъ дѣло то вести въ два порядка и не спутывать ихъ, а помнить, въ какомъ показаніи про что поминать, а о чемъ умалчивать, либо о чемъ отбирать показаніе особо, въ видѣ дополнительнаго; это то мы и называемъ *потрохами*,

ихъ то и можно, въ случаѣ чего, по боку, а дѣло все идетъ да идетъ себѣ своимъ порядкомъ; такъ и плетемъ.»

Слушатель съ жадностью и завистью внималъ наставленіямъ этимъ, вздохнулъ, наполнилъ стаканчикъ своего гостя и сказалъ:

— А дѣльце Амаліи Кейзеръ, Иванъ Абрамычъ, сдѣлайте одолженіе...

— Дѣльце Амаліи Кейзеръ, — началъ тотъ, — о которомъ вы давеча помянули, или бишь я, то есть, помянулъ, а вы напросились на него... Разболтался я больно нынѣ для праздничка... Ну, да ужъ быть такъ! Да-съ, это дѣльце выдалось хлѣбное, нечего сказать.. богатѣйшее! Нашему брату, мелкой сошкѣ, рѣдко на вѣку такое достается... А вѣдь для незнающаго человѣка плевое дѣло было, гроша не стоило; чего, вѣдь ужъ нашъ слѣдственный не новичекъ, не олухъ, не промахъ, ужъ онъ то есть видывалъ виды, и знаетъ толкъ, и зубы съѣлъ на этомъ, да и тотъ, взглянувъ на дѣльце это, на явочное прошеніе по вздорной покражѣ, сунулъ его мнѣ, по *обиходной*, по нашему, то есть, и всего то за три цѣлковыхъ... Да, три!! Да въ другихъ рукахъ оно и трехъ гривенниковъ не стоило, а недѣльки черезъ двѣ не тремя запахло; въ моихъ то рукахъ, любезнѣйшій, оно, то есть, вотъ какъ развернулось, что, пожалуй, къ тремъ то и два нолика безъ грѣха приписать бы можно, — вотъ что. Ну такъ вотъ, послушайте-ка.

«У графа Трухина-Соломкина — знаете, въ Волошской, отъ моста третій домъ, какая-то прачка ли, судомойка ли, украла батистовый платочекъ. А кто воруетъ да концовъ хоронить не умѣетъ, тотъ нашего брата кормитъ. Ее прислали въ часть. Ну, первое дѣло, извѣстно, понавѣдаться въ домъ графа для разныхъ допросовъ; бываетъ и въ такомъ домѣ, что впу-

тается кто-нибудь сторонній, да пожелаетъ раздѣлаться по-пріятельски, чтобъ въ такомъ дѣлѣ не было его имени на бумагѣ; бываетъ, что струситъ, какъ закинешь намекъ, что слѣдуетъ-де васъ въ часть потребовать, снять показаньице; а нѣтъ, такъ просто надоѣшь частыми приходами да разспросами; ужъ тутъ самому скучать никакъ нельзя. Вотъ иному барину безпокойно покажется, и онъ тебя, то есть, съ моимъ удовольствіемъ поблагодаритъ, только не безпокой его. Вотъ недавно, также по воровству, стали потаскивать день за день, для допроса, то кучера, то комнатнаго, то повара,—глядишь, а баринъ-то день безъ лошадей, день безъ обѣда, день безъ чищеннаго платья и сапогъ—и пропажѣ своей не радъ! «Бросьте, говоритъ, дѣло, я не желаю продолжать иска.»—«Нельзя, говоримъ: слѣдствіе должно идти своимъ порядкомъ; въ убыткахъ вы вольны прощать вора, а въ уголовномъ дѣлѣ — нѣтъ, не ваша воля, да и не наша, и мы не въ правѣ.» Вотъ баринъ-то и видитъ, что надо раскошеливаться; двадцать пять и поднесъ, только оставь его въ покоѣ да не таскай людей; да, вишь, не, мнѣ достались они, а *самому*.

«Ну, такъ о нашемъ-то дѣлѣ: тутъ, въ этомъ домѣ, ничего то есть не далось, самая сущая бездѣлица, потому знаете, что это домъ не такой: тутъ надо съ осторожностью поступать и деликатно. Тутъ даже и поличнаго не приложили, то есть платка батистоваго, какъ дѣвку при объявленіи отправили въ часть, а вѣдь ужъ это первое, чтобъ поличное было на лицо: хоть оно и не важное дѣло—платочекъ, а все годится.. но тутъ и этого не удалось, домъ не такой, нельзя было и настаивать очень, надо быть осмотрительнѣе... А ину-пору, вотъ и въ прошломъ году, только что также намъ по усамъ текло, а въ ротъ не попало — двѣ серебряныя ложки сряду выудилъ *нашъ* изъ дому,

послѣ покражи серебра, для сравненія, а ужъ за третьей не посмѣлъ идти, такъ и бросилъ дѣло... А въ другой разъ, шубку украли въ домѣ; онъ меня и взялъ съ собою, для допроса, да и сталъ было приставать, чтобъ всѣ примѣты записать, и все опять допрашиваетъ... «Ну, говоритъ хозяинъ, ужъ извините, я вижу, чего вамъ хочется, да у меня другой такой шубы для сравненія нѣтъ...» Срѣзалъ злодѣй!

«Ну, сударь мой, такъ-то я вижу, что толку нѣтъ, на подметки не выбѣгаешь, незачѣмъ и ходить къ графу. Какъ быть, а три цѣлковенькихъ задано, надо умудряться. Вотъ я вечеромъ опять взялся за дѣло, за производство то есть, поглядѣлъ на него—съ котораго конца ни приступись и гроша ни стоитъ, не только трехъ рублей. Если что-нибудь съ дѣвки сорвать — такъ бездѣлица, едва ли и расходы воротишь, а ужъ тогда выпустить надо и порѣшить дѣло. Не хочется, убыточно. Ну, думаю, не поищешь, не постараешься, такъ и не найдешь. А потерять свое жаль. Брось, говорятъ товарищи, ничего не доищешься, хоть и не перечитывай; да и стали еще подсмѣиваться да подшучивать надо мною, мигнувъ другъ другу, да вполголоса: «вотъ зашибетъ человѣкъ копѣйку, такъ зашибетъ!»

«Ну, ладно. Перепустилъ листы еще разокъ промежъ пальцевъ — чего смотрѣть, явочная отъ управителя графскаго, да адресный билетъ Матрены этой, да два листка отобранныхъ мною показаній,—только и есть. Какъ ни верти, не вывертишь, а вывертѣть надо. Гляжу—такъ вотъ глазами и напоролся тебѣ на аттестацію подсудимой, по прежнему мѣстопребыванію, на адресномъ то есть билетѣ: во-первыхъ, подпись не засвидѣтельствована въ кварталѣ; а во-вторыхъ, аттестація подписана твердою, скорописною мужскою рукою: *Амалія Кейзеръ*. Врешь, подумалъ я, Амаліи

Кейзеры такъ не пишутъ; и у меня почуяло что-то ретивое и будто бархатною рукою по сердцу провело. Поглядѣлъ еще и молчу; думаю, пусть посмѣются, а послѣдній смѣхъ будетъ лучше перваго.

«Вотъ, сударикъ ты мой, тотчасъ закинули мы, то есть, крючокъ туда, гдѣ жила прежде Матрена наша, да вытребовали управляющаго дома. Пришелъ. Мы ему адресный билетъ съ аттестатомъ на столъ: это молъ что? Глядитъ. У васъ-де въ домѣ жила такая-то и перешла на другое мѣсто; тамъ она прокралась и шибко попалась — дѣло уголовное: а тутъ вотъ и аттестатъ не засвидѣтельствованъ въ кварталѣ. «Виноватъ», говоритъ, какъ-нибудь не доглядѣли; дѣло прошлое, не вводите въ бѣду...» — Чего, не вводить, ты видишь, чай, что и безъ насъ самъ влѣзъ, и съ головою. Нынѣ время строгое, нашему брату за васъ не отвѣчать; чай, законы знаешь не хуже нашего: штрафу причтется за передержательство по полтора цѣлковыхъ за сутки, и всего за девяносто семь дней».

«Вотъ мой управляющій туда, сюда. «Поправьте какъ-нибудь, говоритъ, бѣду нашу; вѣдь тутъ худого умысла не было; просмотрѣли, а дѣвка ушла; гдѣ искать ее станешь? Возьмите по-христіански, да и концы въ воду.» — «Что долго толковать, сказалъ я, дѣло видимое, на ладонкѣ; либо по полтора цѣлковыхъ за девяносто семь дней, либо тридцать на столъ — больше и говорить не стану.» Почесался мой управляющій, однакожъ принесъ денежки. Мы послали билетъ отъ себя засвидѣтельствовать въ кварталъ,—и концы въ воду.

«— Ну, это кончено, — сказалъ я:—теперь примемся за другое.—Кто такая у васъ въ домѣ Амалія Кейзеръ?

«— Ну, говоритъ, ужъ про то сама она знаетъ, кто она; она и всего-то съ годъ какъ пріѣхала сюда,

не знать откуда: изъ Риги, либо изъ Ревеля, изъ Гамбурга, и больно щеголяетъ. Доходы она, видно, получаетъ знатные.

«— А по-русски знаетъ хорошо?

«— Гдѣ хорошо, черезъ пятое въ десятое ломаетъ.

«Есть поживишка, подумалъ я, теперь есть, не уйдетъ. Вотъ принесъ чортъ на хвостѣ, такъ принесъ! Пишемъ опять въ кварталъ: объявить Амаліи Кейзеръ, чтобъ соблаговолила пожаловать въ такую-то часть. Замѣтьте, это такъ пишется у насъ въ первый разъ: «объявить, чтобъ соблаговолила», потому что надо же не объ одномъ себѣ подумать, а выручить, при случаѣ, товарищей: по этому приглашенію она еще не явится, а мѣстный квартальный только что попользуется небольшимъ гостинцемъ. Сождали мы недѣльку, да черкнули другое приглашеніе: «представить немедленно въ часть для допроса.» Вотъ тутъ-то ужъ она, голубушка моя, не отвертѣлась отъ насъ, не тѣмъ голосомъ заговорила; отдавъ тамъ цѣлковенькій, чтобъ за великую милость позволили ей пріѣхать въ своемъ экипажѣ, а не водили съ городовымъ — вѣдь тоже анбиціантка есть, людей стыдится — изволила прикатить въ парной колясочкѣ, въ щегольской, сударь; а лошадки, хоть бы и не ей прокатиться, тысячныя; сама въ бархатѣ, въ шелку, въ перьяхъ... ну, вотъ глядѣть любо; этакихъ-то подай намъ больше, тутъ хоть щипкомъ урвешь, такъ на могарычи будетъ!

«Служила у васъ такая-то?» — «Слюшилъ.» — «А, слюшилъ — понимаемъ. Вы ее отпустили тогда-то?» — «Да, пустилъ.» — «Пустилъ, хорошо и это. А кто ей за васъ аттестатъ подписалъ на адресномъ билетѣ, извольте-ка посмотрѣть, коли эту грамоту знаете. Вы по-русски знаете читать и писать?» — «Нѣтъ, я не знай.» — «Не знай, такъ кто же это подписался: *Амалія*

Кейзеръ?» Позамялась было моя красавица, хотѣла прикинуться немогу-знайкой, да грѣхи слезами смыть; да у насъ на этой масти не выѣзжаютъ: мы ее къ ногтю; коли-де не угодно честью покаяться, такъ у насъ про вашу милость есть такое мѣстечко, что тамъ, на досугѣ, подумать можно... не угодно ли—и растворили ей двери въ каморку. Вотъ, сударикъ ты мой, полились слезы ручьемъ по шелку да по бархату, а легче нѣтъ. Вынула она бумажникъ да кошелекъ, все высыпала—и всего-то цѣлковыхъ съ двадцать. «Нѣтъ, говоритъ, больше ни гроша», только просится все: пусти, пусти. «Ну, молъ, сударыня, пустить мы пустимъ и тревожить тебя больше не станемъ; мы найдемъ такого, что и самъ за себя постоитъ, только изволь говорить правду, не то насидишься. Кто это писалъ?»—«Это писалъ одинъ мой знакомъ. Я дѣвушка бѣдная, иностранка, порядковъ вашихъ не знаю, я его и попросила написать что надо.» — «Да это все хорошо, съ вами-то ужъ мы раздѣлались, да онъ-то кто таковъ? Какъ зовутъ, гдѣ живетъ, чѣмъ занимается?

«Сколько ни жалась голубушка, а назвала виноватаго, этого знакомаго, то есть, франтика, щеголя, мотишку, да какъ раскланялись мы съ нею, такъ она тебѣ принялась присѣдать во всѣ стороны, и сторожамъ-то всѣмъ по низенькому поклону, да чуть въ плясъ не пошла отъ радости, до самой коляски своей! Ступай, Богъ съ тобой; наша пуля виноватаго сыщетъ.

«Что,—сказалъ я, глядя на товарищей: —кто кому посмѣялся? «Да кто же думалъ, дескать, тамъ искать, гдѣ ты нашелъ; дѣло о воровствѣ, а онъ приплелъ подпись адреснаго билета прежняго мѣста жительства.»— Въ томъ-то, сударики мои, и штука: не мудрено изъ готоваго выкроить; а ты самъ потрудись кудельку вычесать, да выпрясть, да основу высновать, да утокъ

проложить — да что тогда выкроишь, такъ ужъ это твоя работа, и никто тебя не смѣетъ попрекнуть. Вотъ что!

«Ну, на другой день навели мы справочку: оказалось, у этого Амалія Кейзера мать тутъ же въ городѣ на лицо; да что мать, у кого ея нѣтъ, какъ, то есть, кормить придется, а это такая, что сама кормитъ, а онъ-то только обираетъ. Богатая и знатная барыня, и въ сынѣ души не слышитъ, и разъѣзжаетъ съ нимъ все въ каретѣ, по самой знати, невѣстъ выбираетъ. Разузнавъ обо всемъ обстоятельно, отправляюсь къ ней. Сказать по правдѣ, что нашему брату, безъ привычки, даже трудно въ домъ такой войти; робѣешь, и самъ не знаешь отчего, на стѣны глядя, робѣешь. Ну, а мнѣ ужъ не впервые, ошмыгался, не стучитъ сердце, знаешь, зачѣмъ идешь.

«— Что надо?

«— Доложите барынѣ, что отъ слѣдственнаго чиновникъ пришелъ

— «Барыня приказала сказать, что некогда ей, занята, а, что нужно, скажите буфетчику, вотъ онъ доложитъ.

«— Нѣтъ, говорю, нельзя; доложите-ка барынѣ, что сама жалѣть будетъ, коли не переговоритъ со мною, да послѣ поздно будетъ; ужъ пусть лучше не побрезгаетъ, какъ быть; рѣчь поведемъ о сынѣ ея по важному дѣлу.

«И тотчасъ, братецъ ты мой, изволишь видѣть, растворяются двери и просятъ въ гостиную, и сажаютъ на кресла. Вотъ оно каково! Что жъ ты думаешь, не сѣлъ? сѣлъ, ей богу! А обои кругомъ все шелковые, и картины въ золотыхъ рамахъ, и подъ ногами такіе ковры разстилаются, что хоть бы тебѣ на праздничную жилетку! Ну, выходитъ моя барыня, маленько перепуганная, спрашиваетъ, что такое ста-

лось? — Да вотъ, сударыня, хоть и очень жаль васъ, а несчастьице съ сыномъ вашимъ приключилось. «Боже мой, что такое?»—Подъ чужую руку изволили подписаться. Сами изволите знать, что подлогъ и фальша такого рода—хоть оно и по невѣдѣнію можетъ статься, по молодости, но вѣдь законъ этого не разбираетъ...— Заломила руки старушка, проситъ объяснить все. — Есть, говорю, у нихъ одна знакомая дѣвица, должно быть что дѣвица, такъ, то есть, она себя показываетъ, родомъ изъ... изъ... изъ пріѣзжихъ, заграничныхъ мѣстъ; вотъ сынокъ вашъ, конечно, изъ угожденія только къ ней, не чая въ томъ худого, изволилъ за нее подписаться—вотъ, изволите видѣть, чай, знаете ручку своего сына, вотъ: *Амалія Кейзеръ*. Объ этомъ завелось у насъ дѣльце; дѣвица эта оказалась прикосновенною къ значительнымъ, и даже, можно сказать, государственнымъ преступленіямъ; дѣло и выходитъ самое уголовное. Вы, сударыня, простите меня, неуча, потому что мы вѣдь законовъ не пишемъ, а только исполняемъ ихъ, и что за это очень строго съ насъ взыскивается; а по закону такая подпись именуется поддѣлкой акта, и по суду приговаривается виновный къ лишенію правъ состоянія... вотъ, извольте видѣть, я и томикъ этотъ со статьею захватилъ и нарочно для васъ заложилъ закладкой...

«Перепугалась барыня моя на-смерть, такъ что чуть не пришлось мнѣ оттирать ее. А тамъ, братецъ ты мой, кругомъ ковры персидскіе, разные мраморы и бронзы, зеркала-трюмы, богатство такое, что въ другое время не наглядѣлся бы, ну, а тутъ не до того. Вотъ она, какъ ни безтолкова, какъ ни привыкла себѣ барничать, да нашего брата похуже своего блюдолиза считать, однако смирилась, шелковая стала, хоть вокругъ пальца обмотай. Послала она за сыночкомъ — прилетѣлъ въ такихъ прическахъ, да такимъ

козыремъ, что бѣда. Какъ послышалъ, однако, о чемъ рѣчь идетъ, да по своему, по французски переговорили что-то съ мамашей, такъ и побѣлѣлъ, что твое полотенце. А, подумалъ я, вотъ то-то: видно пословицу-то про кошку да зайца люди не съ вѣтру взяли.

«Такъ-то, государикъ мой, побалагурили мы недолго, а дѣло сдѣлали хорошее, и всѣ остались довольны. Взялъ я, получилъ, то есть, съ позволенія сказать, три сотенки серебромъ — да, да, хошь не гляди на меня комомъ, гляди розсыпью — зашибъ таки и я, за свое старанье, на бѣдность, получилъ триста, да и разорвали мы на мировую адресный билетъ съ аттестаціею на мелкіе клочки, чтобъ его и помину не было

«Такъ вотъ, государикъ ты мой, какъ ину пору судьба милостями своими человѣка взыскиваетъ, хоть она и гнететъ ину пору нашего брата — ухъ, какъ гнететъ! Дѣльце-то и всего снято было за три, по *обиходной*, то есть, да и того-то оно въ другихъ рукахъ не стоило, анъ вся сила вышла не въ батистовомъ платочкѣ графа Трухина-Соломкина, а въ Амаліи Кейзеръ: ее-то намъ нелегкій и принесъ на хвостѣ!»

— Чудесно!—замѣтилъ собесѣдникъ:—истинныя чудеса. Да чѣмъ же вы покончили дѣло? Что сталось у васъ по дѣлу о покражѣ?

— Экъ онъ о чемъ заботится! Да развѣ тутъ объ этомъ рѣчь? Плюнули, да и бросили. Вытребовали изъ адресной подлинный паспортъ ея, сунули ей въ зубы— и ступай на всѣ четыре стороны.

ОТВОДЪ

Прочитавъ или прослушавъ разсказецъ Ивана Абрамовича, который мы назвали его же словами: *хлѣбнымъ дѣльцемъ*, одинъ веселенькій и бывалый старичокъ сказалъ:

— Эки времена пришли, что ужъ вамъ и этако дѣло на диво!

«Нѣтъ, мы видывали виды и почище этого. Въ наше время полиція держала себя такъ, что у нея всякое дѣло было страхомъ огорожено, и безъ воли ея приступу не было никому и ни къ чему. Бывало, у кого какая пропажа случится, такъ и воръ то не такъ таится съ нею, какъ тотъ, у кого украли. Заботились, бывало, только о томъ, чтобъ все было благополучно, то-есть тихо, и никакихъ случаевъ не оглашалось; а кто проврется на сторонѣ, что обокрали его, да полиціи сверху дадутъ нагоняя, такъ сейчасъ закипитъ слѣдствіе такое, что обокралъ ты самъ себя, вещи то-есть скрылъ, а самъ съ назолу, да отъ должниковъ отвиливая, распускаешь несообразные съ дѣломъ слухи и жалобы. Вотъ тогда и узнаешь, каково вслухъ плакаться на обиду свою.

«Жилъ небольшой чиновникъ на Махровой улицѣ, внизу, такъ что подоконники приходились мало повыше росту человѣка. Окна выходили на улицу, а супротивъ одного простѣнка стоялъ фонарный столбъ. Проснувшись ночью отъ какого то стука, онъ выглянулъ съ постели изъ-за ширмъ и видитъ, что кто-то возится съ улицы, у окна. Онъ всталъ потихоньку, ухвативъ бутылку за кистень мѣста, и подошелъ сбоку къ окну; тутъ онъ очень ясно увидѣлъ вотъ что: фонарщикъ подставилъ лѣсенку свою къ окну, растворилъ какъ-то плохо притворенную форточку, засунулъ туда руку и шарилъ по окну. Не долго думавъ, чиновникъ бросилъ кистень свой, да кинувшись поймалъ вора за руку, а самъ, упершись ногами въ стѣну, сталъ тащить его къ себѣ и кричать караулъ; а тотъ вырывается изо всей мочи, словно капканъ этотъ не по нраву ему пришелся. Такъ они, сердешные, оба бились, бились, ночь глухая, чиновникъ жилъ одиноко, изъ дому некому выбѣжать на помощь; по улицѣ, знать, прохожихъ не случилось, а ино и были да обходили: кто въ такое дѣло станетъ впутываться? Ни тотъ, ни другой не одолѣетъ: нельзя чиновнику протащить вора за руку въ форточку, этотъ поперекъ коломъ повернулся да упирается, и стекла перебилъ, и свободную руку обрѣзалъ, и вырваться-то нѣтъ силъ, видно, хорошо его прихватили. Однако выбился изъ силъ чиновникъ, видитъ, что не удержитъ; онъ потянулъ своего ворога на себя что есть мочи, да вдругъ и отпустилъ его вовсе; этотъ сорвался, упалъ на каменную плиту, да и не встаетъ. Выглянувъ въ форточку и увидавъ его тутъ, чиновникъ наскоро одѣлся, разбудилъ дворника, поднялъ тревогу и послалъ за полиціей. Пришли, все осмотрѣли, покачали головой, тотчасъ отобрали допросы, а фонарщика, у котораго оказалась одна нога переломленною, отправили. Чиновникъ мой успокоился,

сколько могъ, похрабрился, что поймалъ вора, загородилъ, какъ и чѣмъ могъ, разбитое окно, и, не могши болѣе уснуть, сталъ выжидать дня.

«Рано утромъ является опять полицейскій, за новымъ осмотромъ и новыми допросами. Ему рады все показывать, хоть десять разъ сряду, не замѣчая, къ чему дѣло клонится.

«Послушайте», сказалъ наконецъ блюститель порядка, разузнавъ и разспросивъ все: «все это такъ, да вѣдь хлопотъ вамъ много будетъ по этому дѣлу и безпокойно; оно, знаете, съ одной стороны, не хорошо и непріятно для насъ и для начальства, что случилось это съ полицейскимъ служителемъ, а съ другой стороны, что вамъ пользы заводить такое дѣло? Пропажи у васъ, слава Богу, не произошло; за разбитыя стекла мы взыщемъ съ него, и это все поправимъ; право такъ, вѣдь онъ же бѣднякъ и ногу сломилъ—а что ни говорите, все онъ солдатъ, человѣкъ казенный, искалѣчился, долженъ въ неспособные попасть — знаете, оно и для васъ будетъ хлопотно и непріятно...»

«Мой чиновникъ глядѣлъ на этого чиновника, вытараща глаза, и слушалъ эту тарабарщину, не понимая ни слова. Какое это соболѣзнованіе о бѣднякѣ, сломившемъ ногу, когда бѣднякъ этотъ влѣзъ въ чужое окно; что тутъ можетъ быть нехорошаго, особенно для того, къ кому онъ было влѣзъ; какая тутъ связь съ будущею неспособностью этого вѣрнаго служиваго,— ничего онъ не понималъ, а отвѣчалъ съ нѣкоторымъ негодованіемъ, что онъ не видитъ никакой причины для такого потворства мошенникамъ, крайне удивляется такому совѣту со стороны полицейскаго чиновника и проситъ вести дѣло своимъ порядкомъ, хотя бы ему, хозяину, и пришлось вставить стекла на свой счетъ.

«Какъ вамъ угодно», отвѣчалъ тотъ: «мое дѣло сторона, я только такъ сказалъ.»

«На другой день чиновникъ полиціи является къ нашему чиновнику уже не съ тѣмъ лицомъ и не съ тѣми пріемами. Кроткая улыбка его подцвѣчена какою-то немножко лукавою ужимкою. Онъ сообщилъ второму, что дѣло запутывается и въ нѣкоторомъ родѣ принимаетъ совсѣмъ новый видъ. Служитель подалъ уже просьбу, вслѣдъ за согласнымъ съ нею первымъ показаніемъ своимъ, слѣдующаго содержанія:

«Съ такого-то на такое-то число текущаго мѣсяца, находясь ночью при отправленіи должности своей, по званію фонарщика Махровой улицы, примѣрно, часу въ третьемъ, и проходя мимо такого-то дома, усмотрѣлъ я въ окнѣ нижняго жилья растворенную форточку. Обязанный, вслѣдствіе неоднократныхъ приказаній и подтвержденій своего начальства, способствовать при ночныхъ обходахъ своихъ всемѣрно предупрежденію и пресѣченію безпорядковъ, въ особенности же воровства, я счелъ полезнымъ затворить форточку, дабы не подала она поводъ неблагомыслящему и не ввела въ соблазнъ неразсудительнаго; а потому, приставивъ лѣстницу свою и убѣдившись, что въ квартирѣ сей огня нѣтъ, и жильцы уже покоятся, какъ и должно было полагать по времени ночи, я сталъ осторожно притворять форточку. Но въ это самое мгновеніе, неизвѣстный мнѣ человѣкъ, кинувшись на меня изнутри комнаты съ необычайною лютостью, столкнулъ меня сильнымъ ударомъ въ грудь съ лѣстницы, отчего я упалъ навзничь на плитнякъ и, кромѣ значительнаго поврежденія ушибомъ затылка и становой кости, переломилъ правую ногу, повыше щиколодки, съ изломомъ, какъ голенной, такъ и берцовой костей, отчего должно послѣдовать укороченіе ноги сей, если только Богу угодно будетъ спасти на сей разъ меня отъ смерти, и неспособность моя къ дальнѣйшей службѣ. Что и показалъ по сущей справедливости» и пр.

«Этотъ нечаянный оборотъ дѣла до того всполошилъ нашего чиновника, что онъ вовсе ничего не могъ отвѣчать и не могъ даже опомниться и сообразиться. Онъ бросился къ своему начальству, пылая негодованіемъ, разсказалъ все дѣло и оборотъ, который ему теперь даютъ, послѣ безуспѣшнаго совѣта помириться и прекратить искъ. Начальство выслушало все это съ терпѣніемъ, вниманіемъ и соболѣзнованіемъ, если хотите, даже и съ негодованіемъ; но затѣмъ, пожавъ плечами, сказало: «А что я тутъ сдѣлаю? Какою властью вмѣшаюсь, какими средствами изобличу мошенничество? Вы знаете, что участіе мое по такому дѣлу ограничивается отряженіемъ на слѣдствіе, по требованію полиціи, депутата. Очень тяжело мнѣ присоединиться совѣтомъ своимъ къ совѣту полицейскаго чиновника, склонявшаго васъ къ мировой, но я прибавлю къ этому одно только опасеніе: не было бы поздно.»

«Что было дѣлать? Запутаютъ въ такую непроходимую, что жизни не будешь радъ; подобное дѣло тянется годы; будешь подъ слѣдствіемъ, подъ судомъ, ни дня покою, отписка, хлопоты, придирки, непріятности начальству, которое, чего добраго, предпочтетъ отдѣлаться отъ всего этого увольненіемъ подсудимаго въ отставку, замаранный формуляръ, сомнительный исходъ, послѣ томительнаго ожиданія,—все это невыносимо тяжело; и дѣло, вслѣдствіе всѣхъ разсужденій этихъ, приняло опять новый оборотъ: чиновникъ нашъ сталъ самъ просить мировой, а противная сторона, изувѣченный фонарщикъ, не мирился, требуя уплаты за увѣчье и за безчестье.. Чиновникъ отдалъ годовое жалованье и служилъ, вслѣдствіе этого, два года на половинномъ...»

— Къ слову пришлось, — сказалъ старичокъ: — такъ ужъ выслушайте и другой случай, не хуже этого

«Такой же мелкій чиновникъ шелъ ночью откуда-то домой. Проходя въ тѣни и потемкахъ, насупротивъ церкви своего прихода, онъ видитъ, при свѣтѣ тусклаго фонаря, у воротъ церковныхъ, видитъ довольно ясно человѣка, который копается около кружки. Прижавшись къ стѣнкѣ, прохожій сталъ всматриваться и убѣдился, что надъ кружкой работаетъ будочникъ. Постоявъ еще немного въ изумленіи и страхѣ, онъ также видитъ своими глазами и послѣдствія этихъ стараній: служба, отломавъ кружку, уноситъ ее прямо въ свою будку, стоявшую близенько, за угломъ. Лишь только прохожій остался одинъ, какъ опрометью бросился къ приходскому священнику, съ которымъ былъ и лично хорошо знакомъ, разбудилъ его и разсказалъ ему все, что видѣлъ. Послали тотчасъ за полицейскимъ чиновникомъ, который не зналъ, о чемъ идетъ рѣчь, и всѣмъ причтомъ отправились къ церкви. Здѣсь кружки не было, и всѣ осмотрѣли и ощупали, что она выломана. Чиновникъ нашъ, прихожанинъ этой же церкви, горячился, не зная мѣры своему негодованію, и, въ полномъ убѣжденіи правоты и чистоты своихъ дѣйствій, первый бросился къ будкѣ, которая была немедленно обыскана въ присутствіи причта и нѣсколько растерявшагося квартальнаго. Онъ видѣлъ крайнюю необходимость сдѣлать какой-нибудь отводъ этому дѣлу и не оглашать его, но не зналъ, какъ это сдѣлать, не успѣвъ къ тому приготовиться и сообразиться. Покуда онъ приговаривалъ: «Позвольте, позвольте,» общій говоръ толпы покрывалъ нерѣшительные возгласы его; всѣ шли впередъ и уже обыскивали, между тѣмъ какъ онъ совался туда и сюда и старался въ испугѣ переговорить нѣсколько словъ глазъ на глазъ съ будочникомъ. Въ эту минуту кружка была найдена въ самой будкѣ. Съ торжествомъ и крикомъ была она вынесена; всѣ осмотрѣли и освидѣтельствовали ее; она была

еще цѣла. Священникъ взялъ ее съ собою, пославъ тотчасъ причетника за церковнымъ старостою, у котораго находились ключи, и пригласивъ съ собою чиновника; а полицейскій остался распорядиться, по усмотрѣнію, около будки; это уже до прочихъ не относилось.

«Казалось бы, случай этотъ таковъ, что не подлежалъ ни сомнѣнію, ни даже какому-либо существенному искаженію: прохожій видѣлъ, что будочникъ выломилъ кружку, и она, имъ и всѣмъ причтомъ, въ присутствіи полицейскаго, отыскана была въ будкѣ. Объ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ и былъ заключенъ актъ за общею подписью; а относительно перваго принято объявленіе отъ чиновника.

«На другой день, къ крайнему изумленію чиновника, началась точно та же продѣлка, что и по поводу фонарщика. Свидѣтеля стали убѣждать бросить дѣло это, не оглашать его и замѣнить первое объявленіе свое другимъ, въ которомъ дать дѣлу такой оборотъ, что онъ только видѣлъ кружку въ рукахъ будочника, когда проходилъ мимо, но не видѣлъ, какъ онъ ее отламывалъ. Но этотъ чиновникъ былъ не такъ сговорчивъ, какъ первый; онъ отвергъ все это съ негодованіемъ, говорилъ и кричалъ объ этомъ всюду и настаивалъ положительно на томъ, что видѣлъ. А будочниками подано было между тѣмъ вотъ какое объявленіе:

«Ночью на такое-то число, примѣрно часу во второмъ, стоялъ я, такой-то, на часахъ у такой-то будки; услышавъ подозрительный стукъ у воротъ церкви, я пошелъ туда, вызвавъ напередъ товарища, подчаска, а этотъ, услышавъ вслѣдъ затѣмъ крикъ мой, вызвалъ и третьяго, прибѣжавъ ко мнѣ на помощь. Я же увидѣлъ, что какой-то человѣкъ, въ шинели и фуражкѣ, отломавъ уже церковную кружку, только-что сунулъ

ее подъ шинель; когда я закричалъ и бросился на него, то онъ подбѣжалъ, кинувъ кружку, которую я тотчасъ подобралъ; мы преслѣдовали его до такого-то мѣста, гдѣ вовсе потеряли изъ вида и воротились, взявъ кружку до утра въ будку. Подчасокъ сталъ одѣваться, чтобы дать знать объ этомъ квартальному, какъ вдругъ нагрянулъ на насъ толпою весь причтъ и съ ними еще нѣсколько постороннихъ людей, которые, не спрашивая насъ ни о чемъ и не слушая г. квартальнаго, который ихъ неоднократно останавливалъ, силою ворвались въ будку, съ причиненіемъ часовому побоевъ, и взявъ оттуда кружку, съ шумомъ и крикомъ ее унесли. Къ чему имѣемъ еще присовокупить, что преслѣдованный нами грабитель по одеждѣ своей походилъ на гражданскаго чиновника, и что мы узнали его тотчасъ въ томъ самомъ человѣкѣ, который первымъ ворвался въ будку, оттолкнувъ силою часового, о чемъ и объявляли мы тогда же, но, за общимъ шумомъ и при запальчивыхъ дѣйствіяхъ всей толпы, никто насъ не слушалъ. По удаленіи же прочихъ съ кружкою, мы тотчасъ объявили обо всемъ прописанномъ г. квартальному надзирателю.»

«Слѣдствіе тянулось два года; чиновника истомили до отчаянья, и не менѣе того онъ былъ преданъ уголовному суду, «за отломаніе церковной кружки». Могъ ли онъ оставаться послѣ этого при мѣстѣ? Онъ былъ уволенъ. Судъ оправдалъ его, оставивъ будочниковъ въ «сильномъ подозрѣніи»; но это участи бѣдняка не облегчило. Болѣе этого судъ и не могъ сдѣлать, потому что основываетъ приговоры свои на слѣдствіи, а оно-то постоянно находится въ рукахъ полиціи».

VI

СТАРИНА

О старина святая, какимъ ты чудищемъ громоздишься позади насъ, среди развалинъ и гробовъ, подъ маревомъ тлѣнія, подъ полупрозрачнымъ облакомъ своего бытія, въ веригахъ предубѣжденій и суевѣрій!.. и ты была рабыней приличій, и надъ тобою господствовалъ обыкъ, называемый нами нынѣ модой, и ты отличала, что идетъ, что не идетъ, что кстати а что не кстати, но все это велось у тебя по-своему, а не по-нашему; понятія вѣковъ объ этомъ дѣлѣ не сходятся. Но, какъ нынѣ, такъ и тогда, законодателемъ и двигателемъ всего было—тщеславіе и самолюбіе.

Раздолье и разгулъ, о которыхъ теперь слышимъ развѣ только въ сказкахъ, не токмо были нѣкогда въ живомъ поминѣ, въ народной памяти, но и дѣялись и творились на самомъ дѣлѣ. Польша и Литва, можетъ быть, были вожаками предковъ нашихъ, въ изступительномъ изъявленіи радости и печали, въ безумной роскоши, великолѣпіи и расточительности, въ шуткахъ, играхъ и забавахъ, вовсе непохожихъ на то, что у насъ нынѣ принято называть этимъ словомъ. Увеселенія эти всегда почти были весьма накладны для тѣхъ,

которымъ, по отношеніямъ своимъ, суждено было послужить утѣхой сильному; а сильный помнилъ, зналъ, любилъ и чтилъ только самого себя и необузданную волю свою.

Вотъ какъ, по сохранившемуся преданію, одинъ вельможа западнаго края нашего принималъ у себя коронованную особу, почтившую владѣнія и домъ его своимъ посѣщеніемъ. Здѣсь, конечно, въ угодность кроткой государынѣ, не происходило, впрочемъ, ничего, могущаго, по тогдашнимъ понятіямъ, возмутить чувства человѣчества; это только образецъ тогдашней роскоши и великолѣпія, неизвѣстныхъ нынѣ въ частномъ быту.

Въ пятнадцати верстахъ отъ замка, на самой границѣ владѣнія, поставлены были торжественныя ворота, для проѣзда подъ ними, искусно и красиво сложенныя изъ телѣгъ, дровней, боронъ, сохъ, плуговъ, косъ, граблей, лопатъ, вилъ и другихъ земледѣльческихъ орудій; кругомъ, снаружи и снутри, огромныя, просторныя ворота эти украшены были разными частями крестьянской одежды яркихъ цвѣтовъ; наверху, на воротахъ, надъ самымъ сводомъ, стояла четверка живыхъ лошадей съ вожатыми въ шлемахъ и латахъ; по всей поверхности воротъ, также снаружи и подъ сводомъ, разставлены и разсажены были на земледѣльческихъ орудіяхъ множество красиво одѣтыхъ дѣтей, которыя прокричали привѣтствіе и обсыпали поѣздъ цвѣтами.

Начиная отъ воротъ этихъ, гдѣ начинались и владѣнія вельможи, вся дорога, перемежкою, то уставлена и усыпана была цвѣтами, привезенными за большія деньги изъ окружныхъ садовъ и теплицъ, то устлана сукномъ или бархатомъ яркихъ цвѣтовъ; все это, по проѣздѣ высокой гостьи, отдавалось на расхищеніе народу. На каждой полуверстѣ устроена была какая-

нибудь нечаянность: либо хоръ пѣвчихъ, либо музыканты, либо цыганскій таборъ, во всей праздничной пестротѣ своей, либо конный отрядъ ловчихъ съ рожками; старцевъ съ волынками, кобзарей, гусляровъ, гудочниковъ и прочее; надо было еще проѣхать подъ торжественными воротами особеннаго устройства, почти сплошь изъ живыхъ изваяній; сотни дѣвушекъ, всѣ въ бѣлыхъ тонкихъ платьяхъ и въ зеленыхъ и въ цвѣточныхъ вѣнкахъ, покрывали собою ворота эти во всю вышину и ширину ихъ, снутри и снаружи; всѣ онѣ стояли неподвижно, покрывая собою одѣтыя малиновымъ бархатомъ ворота, снизу до верху; когда поѣздъ сталъ приближаться, то всѣ онѣ дружно и согласно запѣли, и затѣмъ опять цвѣты посыпались со всѣхъ сторонъ на колесницу высокой гостьи и на дорогу.

На границѣ усадьбы своей, за этими воротами, вельможа встрѣтилъ почетную гостью свою, стоя у дороги съ шапкою въ рукахъ и припавъ на одно колѣно. Поѣздъ остановился, гостью просили пересѣсть въ огромныя сани, хотя дѣло и было среди теплаго лѣта, а глаза ея, при взглядѣ впередъ по дорогѣ, ослѣплены были блескомъ свѣжаго бѣлаго снѣга. Сани, устроенныя корабликомъ, обитыя листовымъ серебромъ, завѣшанныя собольими и бобровыми полстями, съ серебряными и золотыми лапами и пастями, стояли тутъ, какъ судно на водѣ, съ мачтою и оснасткой, съ флагомъ высокой гостьи, и были запряжены шестеркою огромныхъ медвѣдей. Медвѣди красовались въ наборныхъ серебромъ по алому бархату шлеяхъ, съ множествомъ бубенчиковъ и съ большими пучками страусовыхъ перьевъ на головахъ. Дорога отсюда, на нѣсколько верстъ, до владѣльческаго замка, усыпана была на четверть мелкою бѣлою солью, которая и замѣняла снѣгъ. Соль, какъ извѣстно, въ томъ краю, удаленномъ отъ водяного сообщенія, довольно дорога, а въ

то время была еще дороже. Хозяинъ усадилъ подъ руки дорогую гостью свою, гайдуки стали на запятки, онъ принялъ возжи, усѣвшись на козлы, и поѣздъ, подъ почетнымъ прикрытіемъ сотни мѣстныхъ дворянъ, въ однообразной, великолѣпной одеждѣ своей и вооруженіи, тронулся. Медвѣди пошли изрядною иноходью, вели себя во всю дорогу чинно и честно: дерзкая и опасная самонадѣянность не обманула хозяина. Вслѣдъ за поѣздомъ несмѣтныя толпы народа съ жадностью сгребали цѣнную соль, которая, отбывъ необычайную службу свою, въ должности заурядъ-снѣга, поступила такимъ образомъ на крестьянскія кухни цѣлаго округа, а сани корабликомъ все быстро неслись впередъ.

Послѣ разныхъ причудъ, которыя устроены были тутъ и тамъ, на разстояніи этого послѣдняго перегона, прибыли къ дѣдовскому замку владѣльца. Хозяйка съ дочерьми стояла на низшей ступени вновь-сооруженнаго огромнаго крыльца, въ родѣ какой-то площади, сплошь покрытой малиновымъ бархатомъ, съ золотыми галунами, кистями, гербами владѣльца и другими украшеніями. Лѣстница, широкая и отлогая, какъ бы для въѣзда, а не для входа, вела прямо со двора во второй ярусъ дворца или замка; весь рядъ покоевъ этихъ обращенъ былъ въ непрерывный садъ или связь садовъ, съ рѣдкими и дорогими плодовыми кустами и деревьями, съ заморскими цвѣтниками, съ птицами всѣхъ родовъ и величинъ, со звѣринцемъ, и наконецъ даже со свѣтлыми прудами, въ которыхъ плавала рыба по золотистому или серебристому песку, съ водопадами и водометами.

Когда высокая гостья прошла, въ почтительномъ сопровожденіи хозяевъ своихъ, по возвышенному, богато украшенному помосту и остановилась у входа во дворецъ, чтобъ окинуть глазомъ окружную мѣстность,

то, по незамѣтно данному знаку, весь помостъ этотъ будто ожилъ, зашевелился, бархатъ взволновался, помостъ разсыпался, и вся наклонная площадка подъ нимъ покрыта была народомъ, который стоялъ на второмъ низшемъ помостѣ и громогласно привѣтствовалъ гостью, прошедшую по этому народу.

Почивальня устроена была въ видѣ возвышенной бесѣдки среди обширной палаты, вся, сверху до низу, снутри и снаружи украшенная золотыми сосудами, ожерельями и толстыми кистями самокатнаго жемчуга. Благовонія затѣйливо били ключами и взметывались отвѣсными струйками,—словомъ, остальное вамъ легко будетъ дополнить изъ тысячи одной ночи.

Это особенный, исключительный случай изъ прежняго быта, напоминающій потемкинскіе пиры и празднества; но не менѣе любопытенъ бытъ, пиры и прогулки въ тогдашней частной жизни буйныхъ баръ, о которыхъ можно сказать, что свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ...

Вельможа, жившій въ усадьбѣ своей посреди огромныхъ вотчинъ, любилъ жить такъ, будто на цѣломъ свѣтѣ никого не было, кромѣ него, или, по крайней мѣрѣ, будто все, что есть, создано и сотворено одному ему въ угоду, въ услугу и на потѣху. Если баринъ расположенъ былъ печалиться и огорчаться чѣмъ-нибудь, то все, что было вкругъ него живое, должно было сочувствовать ему и плакать; бѣда тому, у кого бы могли быть въ это время свои собственныя радости, и кто бы посмѣлъ нарушить боярскую кручину неумѣстнымъ весельемъ: за такую выходку, сказываютъ, даже глупая корова поплатилась однажды своею шкурой: безтолковая скотина эта, во время хандры барской, вздумала повеселиться на свою руку, заревѣла съ-дуру и, вскинувъ хвостъ, пустилась по двору чуть не въ присядку, по-крайности въ припрыжку, козломъ.

За это, въ страхъ прочимъ, и чтобъ, глядя на нее, другимъ такъ дѣлать было неповадно, ее казнили и сняли съ нея шкуру... Если же вельможа былъ въ духѣ и хотѣлъ веселиться, то кстати ли, не кстати было это для другихъ, а подъ страхомъ такой же кары всякому запрещалось вздыхать, задумываться или нарушать степеннымъ видомъ своимъ барское веселье; всякъ приглашался, волей и неволей, радоваться и веселиться съ изступленіемъ, съ неистовствомъ, безъ числа и мѣры и безъ оглядки: радоваться, хотя бы, напримѣръ, тому, что вельможа самъ веселъ.

Образованіе надѣляетъ человѣка силою сдерживать похоти и страсти свои, выравнивать и сглаживать нравъ, охраняя его отъ всѣхъ унижающихъ человѣчество неистовыхъ порывовъ и страстныхъ, крутыхъ переходовъ. Дикій, вѣрнѣе, одичавшій человѣкъ безспорно ближе къ звѣрю, чѣмъ образованный; имъ владѣетъ слѣпой произволъ и самоуправство, какъ животнымъ владѣетъ слѣпая побудка; въ томъ и въ другомъ случаѣ нѣтъ того, что отличаетъ или образуетъ человѣка: разсудка и милосердія, истины и любви.

Одинъ изъ вельможъ такихъ жилъ, сказываютъ, среди прочихъ помѣщиковъ не какъ между собратами, а какъ между подданными среднихъ вѣковъ. Воля его, какъ бы ни была она безсмысленна и самовластна, исполнялась почти всегда безпрекословно; спорить съ нею не было по силамъ никому. Всякая минутная причуда его, всякая придуманная отъ бездѣлья шутка, какъ бы умна или глупа она ни была, кому и чего бы ни стоила, немедленно приводилась въ исполненіе. И самъ вельможа этотъ — назовемъ его Усмановымъ, нельзя же не назвать его—самъ Усмановъ, во всѣхъ безпутныхъ похожденіяхъ этихъ не жалѣлъ и самого себя, не только имущества и добра своего, если что разъ сказалъ и хотѣлъ послѣ поставить на своемъ

У Усманова былъ сосѣдъ, надъ которымъ онъ нерѣдко потѣшался, но всегда въ извѣстной мѣрѣ, называя его своимъ задушевнымъ другомъ. Это былъ владѣлецъ мелкопомѣстный, почти бѣднякъ, въ лѣтахъ, домосѣдъ, человѣкъ тихій и скромный, всегда удалявшійся отъ шумныхъ и буйныхъ сборищъ, но не смѣвшій никогда и ни въ чемъ отказывать могучему и своевольному сосѣду; онъ даже являлся къ нему съ повинною каждый разъ, когда былъ, нельзя сказать, приглашаемъ, а призываемъ на пиры и погулки. Услышавъ, что къ этому сосѣду пріѣхалъ погостить зять, человѣкъ свѣтскій, но столичный житель, Усмановъ послалъ звать ихъ къ себѣ убѣдительно и вѣжливо. Онъ скучалъ вѣчно съ одними и тѣми же лицами, и радъ былъ всякому заѣзжему. Сосѣдъ уговорилъ зятя ѣхать по зову. Усмановъ давно привыкъ къ раболѣпству, и спокойное, свободное обращеніе гостя, человѣка посторонняго и независимаго, нѣсколько затронуло его властолюбіе. Кажется, это одинъ изъ вольнодумцевъ, сказалъ онъ, это непокорный. Своенравный хозяинъ, составившій себѣ такое понятіе о гостѣ, тотчасъ, послѣ первыхъ, обычныхъ привѣтствій, тутъ же подумалъ, что не худо бы этого столичнаго гостя немного проучить, посбить съ него министерской замашки, какъ онъ выразился. Онъ, между прочимъ, пригласилъ гостей посмотрѣть лошадей и велѣлъ тутъ же заложить четверку коурыхъ рядомъ въ коляску. Коурые глядѣли звѣрьми, наливали и закатывали бѣлки. «Не угодно ли немножко прокатиться?» спросилъ Усмановъ вкрадчивымъ голосомъ своимъ молодого гостя, «хоть поглядите на нашу деревенскую пріѣздку». Тотъ поблагодарилъ, не выразивъ этимъ ни да, ни нѣтъ. «Не опасается ли дорогой гость мой этихъ лошадокъ?» продолжалъ хозяинъ, «мои лошадки смирны и скромны, кучеръ надежный, выѣзжены порядочно,

дороги у насъ ровны: право, нисколько не опасно; онѣ ходятъ у меня, какъ у ребенка жукъ на ниточкѣ: куда захочу, туда и потяну. Сядемте вмѣстѣ,» прибавилъ онъ, понуждая его въ коляску, «хоть полюбуемся побѣжкою моихъ коуренькихъ, вѣдь это дѣтки мои!»

Сѣли и поѣхали со двора малою рысью, Хозяинъ привставалъ, указывая то на ту, то на другую лошадь и обращая вниманіе дорогого гостя на качества и свойства ихъ. Кучеръ, будто ужъ зналъ, что дѣлаетъ, запускалъ ихъ все шибче и шибче; пристяжныя давно ужъ разстилались, но дышловыя покуда все еще неслись крупною рысью. Вдругъ прикатили къ порядочной рѣчкѣ, въ крутыхъ и высокихъ берегахъ; лишь только открылась она, какъ радушный хозяинъ говоритъ тѣмъ же нѣжнымъ голосомъ кучеру: «спусти по-свойски, Ильюша, потѣшь гостя!» Смотавъ и связавъ всѣ возжи въ одинъ узелъ, Ильюша вдругъ привсталъ на подножкѣ, бросилъ со всего размаху этотъ узелъ возжей лошадямъ въ головы, замахалъ руками и загаркалъ самымъ дикимъ, отчаяннымъ голосомъ.

Четверка понесла во весь духъ съ крутой горы, прямо въ рѣку, и вынеслась вихремъ на противоположный, не менѣе крутой берегъ. Ильюша присѣлъ на козлы и сказалъ только: «птру!»—и коурые стали, какъ вкопанные. Кучеръ проворно соскочилъ, разобралъ возжи, спустился обратно шагомъ, проѣхалъ бродъ и спокойно привезъ господъ домой Говорятъ, что гость, вспомнивъ во время продѣлки этой, что у него есть дома жена и дѣти, хотѣлъ было выскочить изъ коляски и, конечно, сломилъ бы себѣ шею; но хозяинъ, приготовившись уже къ этому, удержалъ и осадилъ его сильною рукою. Нахохотавшись до сыта, онъ только спросилъ: «Что это, вы, кажется, чело-

вѣкъ молодой, а не любите скорой ѣзды; или, можетъ быть, вы только не жалуете съ горки на горку?»

Разъ какъ то къ Усманову собралось около десятка гостей, подъ стать и масть; подгулявъ и покутивъ на всѣ лады порядкомъ, они, въ угоду хлѣбосольному милостивцу своему, вошли въ такое изступительное веселье, что готовы были, по первому призыву его, покуситься на какое угодно сумасбродное дѣло. «А для чего не пріѣхалъ ко мнѣ сегодня собака Мухортый?» спросилъ хозяинъ скромнымъ голосомъ своимъ. Отвѣчали, что тотъ, кому Усмановъ далъ такую кличку, не могъ пріѣхать сегодня потому, вѣроятно, что ему на дняхъ Богъ далъ сына и, какъ слышно, жена очень нездорова. «Я его однакоже очень просилъ», продолжалъ тотъ, «и думаю, что одно дѣло другому не мѣшаетъ. Такъ какъ же вы думаете, господа, слѣдовало ли ему уважить просьбу мою или нѣтъ?» Рѣшили единогласно, что слѣдовало. «И я съ вами въ этомъ согласенъ», продолжалъ хозяинъ, «коли прошено о чемъ, такъ можно бы уважить. Жена дѣло домашнее, это не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ, успѣлъ бы и съ нею намиловаться. Такъ какъ же вы думаете, не велѣть ли сѣдлать лошадей, да, забравъ артиллерію, не отправиться ли намъ самимъ, для прогулки, за неучливцемъ?» Предложеніе это, какъ и все, что предлагалъ Усмановъ, принято было съ крикомъ ура. Осѣдлали коней, посадили съ полсотни стремянныхъ, ловчихъ, доѣзжачихъ на конь, запрягли шесть пушекъ и отправились за пятнадцать верстъ къ сосѣду. Послали впередъ переговорщика, который случайно былъ до того пьянъ, что вломился въ домъ, какъ шальной, и, кромѣ бранныхъ словъ, не могъ произнести ни слова. Перепуганные домочадцы, охраняя больную родильницу, съ трудомъ выпроводили его, увѣряя, что барина нѣтъ дома. Раздраженная этимъ буйная

шайка, полагая, что собака Мухортый струсилъ и притаился, открыла страшную пальбу изъ пушекъ песочною картечью, выбила всѣ окна въ домѣ, а кой-кому и глазъ, и, выломивъ ворота, бросилась на приступъ Храбрые воины до того забылись и остервенились, что усадьба была разграблена до чиста, какъ взятая съ бою непріятельская крѣпость. Хозяинъ, воротившись съ поля, куда преспокойно ѣздилъ осматривать работы, нашелъ домъ свой разореннымъ, дѣтей въ страхѣ и плачѣ, почти въ помѣшательствѣ, а жену при послѣднемъ издыханіи.

Нѣсколько времени спустя, у Усманова шла опять такая же погулка и попойка, на которую также силою привезенъ былъ старичокъ-сосѣдъ, только что выпроводившій своего зятя. Онъ пожимался, глядя на безобразное общество, въ которое его завели, но не смѣлъ и подумать о возвращеніи: скорѣе бы связали его и положили подъ столъ, чѣмъ позволили бы обезчестить такимъ образомъ хозяина. Глядя на старичка и друга своего, который заботливо и съ видимымъ безпокойствіемъ порывался домой, Усманову пришло въ голову наказать этого гостя за то, что онъ нарушаетъ такими безчинствами — то есть вспоминая домъ свой — общее веселье. «Я тебя выучу, сидя у меня за столомъ, вздыхать по своей навозной кучѣ», пробормоталъ онъ и, вслѣдъ за тѣмъ, подзывалъ онъ нѣсколькихъ изъ прихлебниковъ своихъ, говорилъ имъ что-то на ухо и подмигивалъ. Всякій, кому была довѣрена тайна эта, выходилъ изъ себя отъ удовольствія и смѣха, изъ чего и должно бы заключить, что тутъ шла рѣчь о крайне замысловатой шуткѣ, хотя все дѣло состояло, на первый случай, въ томъ, чтобъ напоить старичка мертвецки пьянымъ. Всѣ принялись, чтобъ исполнить это во что бы ни стало; отъ него не отходили ни на шагъ, его окружали, какъ дорогого гостя, какъ плѣн-

ника, какъ ребенка, наконецъ, какъ дорогую игрушку, отъ которой ждали много потѣхи; его нудили, силили, неволили и наконецъ успѣли въ замыслѣ своемъ вполнѣ. Проснувшись на другое утро послѣ такого необычайнаго для него состоянія, онъ долго не могъ придти въ себя; его уговорили выпить чайку съ ромомъ; общество опять нахлынуло, старика развеселили, опять напоили и, заливая день и ночь виномъ, продержали трои сутки въ безпамятствѣ. Тогда дали ему спокойно выспаться, отрезвиться и отвести душу на огуречномъ разсолѣ. Старику надоѣло это все до такой степени, что, стыдясь себя, онъ наконецъ объявляетъ положительно, что ѣдетъ домой. Общій хохотъ отвѣчаетъ ему на дикую выходку эту, потому, какъ всѣ, одинъ за другимъ, начинаютъ увѣрять его, что у него нѣтъ дома, коимъ онъ бредитъ съ похмѣлья, нѣтъ и деревеньки, о которой поминаетъ, и никогда ни того, ни другого не бывало; такой деревни даже за память людскую нигдѣ въ окружности не бывало. Старикъ считаетъ покуда еще все это дурною, пошлою и весьма докучливою шуткою; онъ настаиваетъ съ сердцемъ, чтобъ отвязались отъ него и отпустили его домой; но оказывается, что онъ бредитъ также санями своими, лошадьми, кучеромъ, коихъ здѣсь никогда не бывало. Всѣ люди въ домѣ, вся прислуга смѣются ему при такомъ требованіи въ глаза и не понимаютъ его. Ему говорятъ, что онъ вѣкъ свой жилъ и живетъ у Усманова приживалкой и, спившись съ кругу, вѣроятно, впалъ въ бѣлую горячку; что саней, лошадей и кучера Василья у него никогда не бывало, и о такой деревенькѣ, какую онъ называетъ, отродясь никто не слыхивалъ.

Старикъ начинаетъ хвататься за голову, на своихъ ли она плечахъ, начинаетъ припоминать прошлое: не спитъ ли онъ, не пьянъ ли, не бредитъ ли и въ самомъ

дѣлѣ послѣ этихъ безобразныхъ оргій? Подумавъ, однако, онъ вдругъ беретъ трость и шапку свою и идетъ. «Куда?» спрашиваютъ его. «Домой.» Общій хохотъ изумленія былъ этому отвѣтомъ. Хозяинъ самъ, державшійся доселѣ нѣсколько въ сторонѣ, вмѣшивается разсудительно въ дѣло и говоритъ уже вовсе не шуточнымъ голосомъ любезному сосѣду: «Послушай: да что же ты въ самомъ дѣлѣ проказишь?»— Я иду домой, отвѣчалъ тотъ, задыхаясь негодованіемъ.—Постой же, любезный, лучше поѣдемъ вмѣстѣ, ты намъ укажешь и домъ и деревеньку свою: всѣмъ намъ любопытно будетъ на нихъ посмотрѣть. Пѣшкомъ тебя и одного пустить нельзя: ты, въ помѣшательствѣ своемъ, и Богъ вѣсть куда забредешь. Велите подавать сани!»

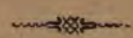
Цѣлый поѣздъ саней подъѣзжаетъ къ крыльцу; въ переднія, огромныя розвальни, садится самъ хозяинъ съ гостемъ своимъ, отъискивающимъ вотчину, и еще нѣсколько человѣкъ, и просятъ его указывать дорогу въ этотъ Черный-Рогъ или Чортовъ-Острогъ, котораго никто во всей губерніи не знаетъ, и на который всѣмъ чрезвычайно желательно поглядѣть. Прочіе гости слѣдуютъ за ними, то обгоняя, то рядомъ, съ крикомъ, шумомъ и смѣхомъ

Ѣдутъ; старикъ еще крѣпится кой-какъ, указываетъ дорогу, называетъ всѣ мѣста и урочища, направо и налѣво, мѣста, гдѣ онъ родился и выросъ, и говоритъ наконецъ: «Ну, вотъ она, сейчасъ за этимъ бугромъ.» Но вслѣдъ за тѣмъ лицо его вдругъ принимаетъ какое то страшное выраженіе; онъ сперва начинаетъ безпокоиться, повертываться, оглядываться; большіе глаза его со страхомъ обращаются во всѣ стороны, потомъ онъ схватываетъ себя за грудь, за голову... Чернаго-Рога нѣтъ. Онъ приказываетъ остановиться, воротиться, объѣхать сюда, туда, стоитъ въ

саняхъ блѣдный, чуть живой—глядитъ, и уже ничего не видитъ... Вся мѣстность, всѣ урочища тутъ, какъ на ладонкѣ; Черный-Рогъ ищутъ, какъ булавочку, а его нѣтъ!

Его и въ самомъ дѣлѣ ужъ не было. Ради шутки, Усмановъ приказалъ снести деревушку эту въ продолженіе трехъ сутокъ, что продержалъ хозяина ея въ плѣну и безпамятствѣ, снести до основанія и засыпать городище снѣгомъ, чтобъ и помину и слѣдовъ ему не было. Потѣха была удивительная. Къ счастію, старику, однакожъ, не дали рехнуться окончательно, а повернули въ другую сторону и вскорѣ остановились передъ новымъ поселеніемъ, гдѣ стройка избъ шла и кипѣла при помощи тысячи рукъ. Здѣсь полуодурѣвшій старичокъ нашъ встрѣтилъ всѣхъ крестьянъ своихъ и своего старосту, который и донесъ, что ихъ надѣлили новой землицей, по милости Усманова, что къ нимъ приселяютъ еще нѣсколько семей изъ его же вотчинъ и надѣляютъ всѣмъ нужнымъ. Выгнали до тысячи рабочихъ и, должно быть, черезъ недѣльку новое поселеніе поспѣетъ...

То старина, то и дѣянье!



VII

ПОДПОЛЬЕ

Мы встрѣтили по большой дорогѣ отрядъ ссыльныхъ, въ головѣ коего шелъ одинъ *прутъ*, такъ называемыхъ строгихъ или опасныхъ, подъ особымъ конвоемъ. Прутомъ называютъ одну шеренгу или одинъ порядокъ, какъ идутъ въ рядъ, гдѣ каждый человѣкъ примкнутъ правымъ плечомъ, повыше локтя, къ желѣзному пруту. Мѣра эта принимается только противу злонамѣренныхъ преступниковъ и явно угрожающихъ побѣгомъ. Пропуская отрядъ этотъ мимо себя, мы невольно обратили вниманіе на человѣка, который былъ головою выше всѣхъ товарищей своихъ: видное лицо его ничѣмъ особеннымъ не отличалось; окладистая борода съ просѣдью только показывала, что онъ уже пожилъ на свѣтѣ, а весь складъ изобличалъ избытокъ силы и здоровья.

«Что» сказалъ спутникъ мой, «вы, я вижу, также замѣтили нашего Мокрецова? Этотъ человѣкъ примкнутъ къ отряду въ нашемъ городѣ, онъ оттуда. Я его знаю хорошо; да кто, впрочемъ, его у насъ и не знаетъ; ему ужъ не впервые доводится прогуляться такимъ порядкомъ поперекъ всей матушки Россіи,

нѣсколько тысячъ верстъ въ одинъ конецъ, не считая обратной путины, которую онъ совершаетъ съ большею свободой, не скованный, и по своей волѣ. Но онъ самъ мнѣ говорилъ, что находитъ передній путь, туда, болѣе удобнымъ, чѣмъ задній, то есть оттуда, потому, что на вольномъ путешествіи своемъ не обезпеченъ привалами, ночлегами и пищей, а нерѣдко приходится идти до сумерекъ на тощакъ, не зная еще, въ который день недѣли достанется поѣсть, или на какомъ распутьи придется ночевать.

Я сталъ любопытствовать и спутникъ мой разсказалъ слѣдующія подробности о похожденіяхъ Мокрецова.

«Я узналъ его впервые, когда онъ уже былъ комиссаромъ, или классныгъ вахтеромъ; въ званіе это онъ попалъ, за выслугу лѣтъ, изъ портовыхъ музыкантовъ; говорятъ, онъ хорошо игралъ на нѣсколькихъ инструментахъ, особенно жъ былъ скрипачомъ. По выслугѣ чина, онъ уже не могъ оставаться въ музыкантахъ, а потому и получилъ мѣсто и званіе комиссара. Первымъ дѣломъ Мокрецова, по принятіи присяги на чинъ и по облаченіи особы своей въ мундиръ со шпагою и темлякомъ, было разбить скрипку свою вдребезги объ ножку кровати и положить зарокъ, что во всю свою жизнь не возьметъ въ руки ни гудка, ни дудочки. Видно, они ему надоѣли, или онъ считалъ братство съ ними себѣ не по чину. Его приставили куда-то къ лѣсу и къ дровамъ. Когда я его узналъ, то онъ уже лѣтъ пятокъ мѣрилъ саженями, считалъ, принималъ и отпускалъ дрова для отопленія всѣхъ казенныхъ зданій. Онъ былъ на счету порядочныхъ людей, хотя и съ нимъ, какъ со всѣми грѣшными, случалось, что онъ затягивался не одною трубкою. Но это, въ его званіи, считалось до того обиходнымъ дѣломъ, что сходило ему съ рукъ, доколѣ не было замѣчено упущеній по службѣ.

Акимъ Мокрецовъ считался въ своемъ кругу хорошимъ хозяиномъ, человѣкомъ, который, въ небольшихъ оборотишкахъ своихъ водитъ счастье просто на веревочкѣ. Около костра не только можно руки погрѣть, но хорошо и щепу огребать. Акимъ разжился, обзавелся домкомъ и занимался на досугѣ торговлишкой По какому-то нечаянному случаю—кажется, съ прибытіемъ новаго начальника—вздумали считать и повѣрять его; оказалось, что дровяная часть у бывшаго музыканта была въ такомъ устройствѣ, какъ у большей части дровяниковъ—музыкальная. Не было никакой возможности распутать и очистить книги и счеты Мокрецова и разъяснить настоящее положеніе дровяной отчетности его, потому что въ книгахъ и счетахъ этихъ, кромѣ обширныхъ пробѣловъ и какихъ-то безграмотныхъ крючковъ, въ родѣ нотъ, не было ни толку, ни смысла. На скрипача начли столько досокъ, жердей, плахъ и полѣнъ, что все нажитое добро его—домикъ съ палисадничкомъ и со дворомъ, вымощеннымъ досками—все пошло на покрышку недостачи; остальная часть взыску пала на двухъ покойниковъ. На мертваго сваливать хорошо. Впрочемъ, Мокрецовъ говорилъ близкимъ людямъ, что онъ обоихъ товарищей этихъ похоронилъ въ гробахъ изъ казенныхъ досокъ, а потому-де и имъ теперь можно, за услугу эту, принять поклепъ, который возвели на нихъ именно, какъ на покойниковъ. Комиссаръ былъ уволенъ по суду, отставленъ съ тѣмъ, чтобъ впередъ болѣе нигдѣ не служить.

Отъ службы не отказывайся, а на службу не напрашивайся,—сказалъ Акимъ Андреевичъ. Что ему, однако, теперь дѣлать и куда дѣваться? Иной пропалъ бы на его мѣстѣ, но онъ нашелся. Торговыя и промышленныя дарованія его, убитыя на цвѣту невольнымъ служеніемъ вольному искусству—музыкѣ, проснулись въ немъ всею силою самобытности своей и

выручили его изъ бѣды. Онъ началъ торговать — конечно, не подъ сводами и не за зеркальными окнами, также не посылалъ онъ и кораблей за море — онъ началъ торговать на рогожкѣ ломомъ, старыми гвоздями и подковами. Вскорѣ появились тутъ и замки, и ножи, и топоры; вслѣдъ за тѣмъ и табакерки, и мѣдныя задвижки, и подсвѣчники; по временамъ что-нибудь изъ носильнаго платья, домашней утвари, книжонки— словомъ, всякая всячина, что только случалось Мокрецову купить задешево у отъѣзжающаго, промотавшагося, или за излишествомъ и негодностью. Вскорѣ начали появляться, рядомъ съ рогожей, вещи болѣе громоздкія: дрожечки, саночки; и не успѣли люди оглянуться, какъ Акимъ Андреевичъ, при необычайной смѣтливости и счастіи своемъ, расторговался на диво всѣмъ прахамъ, кулакамъ и переторжникамъ, которые не вѣрили глазамъ своимъ, когда Акимъ Андреевичъ, черезъ годъ со днемъ отъ постигшаго несчастія—насчетъ, то есть, повѣрки дровъ по книгамъ и въ наличности, и продажи, вслѣдствіе того, дома его съ молотка—опять обзавелся домишкомъ и даже опять попрежнему – что за причуда! вымостилъ дворъ свой досками, хотя теперь уже казенныхъ досокъ, ни даже на гробъ другу, у него не было. Несмотря на такой недостатокъ мостовыхъ средствъ, дворъ былъ вымощенъ, подъ предлогомъ, что мѣсто сырое, необжитое, такъ какъ Мокрецовъ на сей разъ удалился въ глушь слободки. Домикъ его быстро выросталъ и видимо улучшался: пять оконъ на улицу, зеленыя ставеньки и рѣзные наличники, сверху солнышкомъ, снизу вѣеромъ, съ опрятнымъ палисадникомъ, въ которомъ столбики были красные, головки на нихъ зеленыя а ребрышки бѣлыя, перекладины желтыя, тычинки зеленыя съ бѣлыми маковками и бѣлою середкой, образовавшей, въ черной рамкѣ, на каждомъ звенѣ палисад-

ника изящный косоугольникъ—все это начинало возбуждать зависть и даже отчасти клевету.

Нѣсколько лѣтъ жилъ и процвѣталъ Акимъ Мокрецовъ такимъ образомъ, расторговавшись съ подковныхъ и подбойныхъ гвоздей, будучи по временамъ предметомъ зависти и удивленія, но не подавая повода къ гласнымъ нареканіямъ. Счастье везло, торговля на рогожѣ и ручная, разнаго рода, у него процвѣтала; онъ жилъ въ довольствѣ, даже не безъ прихотей; дѣтей у него не было, только жена, но пріятелей угощалъ онъ иногда отлично.

Въ такомъ положеніи были дѣла Мокрецова, когда заѣхалъ къ нему старый товарищъ по музыкѣ, также выслужившійся до шпаги съ темлякомъ; заѣхалъ по пути проѣздомъ, переведенъ будучи изъ одного сосѣдняго городка въ другой. Навѣстивъ стараго друга и погостивъ у него, заштатный контрабасъ упомянулъ въ разговорѣ, что ему надо еще купить себѣ недорогой смушчатый тулупъ; здѣсь, говорятъ, они подешевле, да и ночи становятся холодноваты. «Постой,—отвѣчалъ запасливый хозяинъ;—я тебя надѣлю, что вѣкъ благодарить будешь. Обожди.»

Пришло время отъѣзда, и гость напомнилъ хозяину объ обѣщаніи его. Акимъ Андреевичъ отвѣчалъ, что тулупъ припасенъ, пошелъ въ какую-то кладовую, которыхъ у него, какъ у торговаго человѣка, было нѣсколько, вынесъ готовый, крытый, смушчатый тулупъ. «Вотъ, братъ, находка твоя: за пятнадцать цѣлковыхъ возьми.» Пріятель поглядѣлъ и, убѣдившись, что тулупъ стоитъ втрое дороже, сказалъ «спасибо» и отдалъ деньги. Пообѣдавъ, собрался онъ въ дорогу; напились еще разъ чаю или кофе; а хозяинъ вздумалъ проводить друга и присѣлъ къ нему въ повозку.

Путь лежалъ имъ мимо гостинаго двора. Вспомнивъ о какой-то бездѣльной надобности, контрабасъ

вдругъ проворно соскочилъ, закричалъ ямщику стой, и пробѣжалъ бѣгомъ до первой лавки. Мокрецовъ, которому выходка эта почему-то не понравилась, какъ-то встревожился, но не успѣлъ удержать пріятеля, а потому отправился слѣдомъ за нимъ и, остановясь въ дверяхъ лавки, сталъ уговаривать его кончить скорѣе дѣло и ѣхать. Какъ онъ ни торопилъ его, но одинъ изъ приказчиковъ, всматриваясь зорко въ тулупъ, подошелъ ближе къ проѣзжему, еще посмотрѣлъ, подалъ знакъ товарищу, и чрезъ минуту лавка наполнилась сосѣдними купцами и сидѣльцами. Контрабасъ сталъ оглядываться въ недоумѣніи, рѣшился было послѣдовать неотступной просьбѣ Мокрецова и уѣхать, но уже было поздно: ему, съ гостинодворскою вѣжливостью, заступили дорогу, покорнѣйше прося обождать, не торопиться; а когда онъ сталъ было пробираться понастоятельнѣе, то и собесѣдники сдѣлались болѣе настойчивыми, и наконецъ, безъ обиняковъ, просили объяснить, отколѣ де взялся этотъ тулупчикъ? Теперь только чиновный контрабасъ понялъ, въ чемъ дѣло, и струсилъ безъ мѣры. Увидавъ, что попался въ просакъ, и что миновать объясненій нельзя, Мокрецовъ вошелъ смѣло въ лавку и попытался отдѣлаться наглымъ крикомъ и угрозами, но у купцовъ, правду сказать, человѣкъ этотъ былъ давненько на примѣтѣ: его подозрѣвали въ чемъ-либо недобромъ, какъ торгаша, слишкомъ легко и скоро разживающагося, и глухая намолчка винила его въ какихъ-то запутанныхъ и сложныхъ шашняхъ. Толпа обступила обоихъ, очевидно, чтобъ задержать ихъ, а вскорѣ вошелъ въ лавку приставъ, передъ которымъ всѣ разступились. Сняли на мѣстѣ показанія — и сняли также роковой тулупъ съ плечъ контрабаса — который, по предъявленіи подорожной своей и вслѣдствіе принятія Мокрецовымъ всего дѣла на себя, былъ отпущенъ и уѣхалъ. Не такъ легко

отдѣлался Акимъ: онъ изъ лавки этой не нашелъ дороги домой, а попалъ совсѣмъ въ иное мѣсто, о которомъ народъ говоритъ, что оно и крѣпко, да кто ему радъ?

Дѣло было вотъ какое: мѣсяца за три до этого случая, въ сосѣднемъ городѣ была ярмарка, на которой промысловый народъ — портные, что шьютъ деревянными иглами по большимъ дорогамъ, опорожнили цѣлую лавку, подломавъ или подкопавъ балаганъ. Товару украдено было на большую сумму, и о немъ доселѣ ни слуху, ни духу; полагали, что воры успѣли спустить все либо въ Москву, либо на Донъ, и по какимъ-то темнымъ слухамъ подозрѣвали тутъ Мокрецова, о чемъ и самъ онъ доселѣ не зналъ. Въ числѣ покраденаго товара былъ и роковой тулупъ, опознанный тотчасъ хозяевами лавки, въ которую судьба принесла Мокрецова товарища.

Завязалось дѣло.

Акимъ путался, но настойчиво утверждалъ, что купилъ тулупъ у носячаго, котораго хотя и не зналъ, но помнилъ по примѣтамъ и надѣялся признать его, лишь бы гдѣ увидѣть. Подъ этимъ предлогомъ онъ настоятельно требовалъ свободы, доказывая, не безъ правдоподобія, что въ заключеніи своемъ ничего для открытія воровъ сдѣлать не можетъ. Дѣло считалось весьма важнымъ, по значительности всей покражи, къ которой принадлежалъ и тулупъ. Весь домъ Мокрецова обысканъ при понятыхъ, отъ чердаковъ до подполья, но никакихъ уликъ не найдено. Въ кладовыхъ, правда, было много хламу, но краденыхъ вещей не было признано; въ немногихъ только случаяхъ сослался онъ на покойниковъ, большею же частью указывалъ прямо и вѣрно на людей, отъ коихъ каждая вещь была имъ получена. Многіе начинали убѣждаться въ невинности Мокрецова, хотя и были голоса, утверждавшіе,

что осторожный и опытный передатчикъ держитъ краденыя вещи не у себя, а гдѣ—того никто не зналъ. Такимъ образомъ, несмотря на множество злорадчиковъ, завистниковъ и недоброжелателей своихъ, Мокрецовъ сталъ *править*ся судомъ: тулупъ отдали хозяину, а подсудимаго отпустили на поруки, для приведенія дѣлъ своихъ въ порядокъ и, главное, для отъисканія человѣка, у котораго роковой тулупъ былъ купленъ.

Но хозяинъ украденнаго тулупа и цѣлой опорожненной лавки былъ рѣшеніемъ и распоряженіемъ этимъ вовсе недоволенъ. Онъ увѣрялъ всѣхъ, что Акимъ Мокрецовъ первый въ мірѣ воръ, мошенникъ и передатчикъ, и старался высвободиться изъ подъ стражи для того только, чтобъ на свободѣ скрыть послѣдніе слѣды своихъ беззаконій. Обвиненіе это было голословное, и потому не могло быть уважено.

Скорбя съ необычайною назойливостью объ утратѣ своей, а еще болѣе горя ненавистью къ ворамъ, хозяинъ этотъ самъ пошелъ въ сыщики по своему дѣлу и сталъ слѣдить за Мокрецовымъ неотступно: онъ нанялъ двухъ особыхъ сторожей въ сосѣднихъ домахъ, для надзора въ день и въ ночь за каждымъ шагомъ заклятаго врага своего, съ тѣмъ, чтобы ночной надзоръ этотъ производился сквозь щели деревяннаго забора, чтобъ наблюдать постоянно, что дѣлается во дворѣ Акима, гдѣ, по какимъ-то темнымъ давнишнимъ слухамъ, по ночамъ ходили домовые. Однажды сторожъ такъ удачно занялъ притинъ свой, подмостившись на сосѣднемъ дворѣ подъ заборомъ, что сталъ свидѣтелемъ вовсе неожиданнаго приключенія. Вскорѣ по полуночи, сквозь ставень показался свѣтъ въ домѣ, стукнули двери, а потомъ и другія, и человѣкъ необыкновеннаго роста, въ которомъ легко было признать хозяина дома, вышелъ на дворъ, подошелъ къ тому са-

мому углу, гдѣ, позади забора, сидѣлъ притаившись соглядатай, и началъ осторожно, безъ всякаго стука, разбирать и растаскивать въ сторону ломаныя телѣги и дровни, колеса, полозья и другой хламъ, сваленный тутъ въ одну кучу. Покончивъ работу эту, отставной скрипачъ и вахтеръ поднялъ такъ же осторожно двѣ небольшія половицы, какими вымощенъ былъ весь дворъ, и оказалась тутъ какая то яма, пустота.

Вздохнувъ послѣ трудовъ этихъ, хозяинъ отправился въ домъ, откуда воротился съ фонаремъ подъ полою и, не выпуская свѣту, спустился въ свою преисподнюю. Жадно лазутчикъ впился глазами въ мутный свѣтъ, окинувшій потайное подземелье. Что онъ увидѣлъ тамъ — того было съ него довольно; соскочивъ тихонько съ примоста, онъ тотчасъ же пустился бѣгомъ къ тому, кто поставилъ его на часы, разбудилъ купца и звалъ его съ собою. Спѣшно отъискали еще полицейскаго чиновника и—на всякаго мудреца довольно простоты — Акимъ Андреевичъ, не чая никакой опасности, прокопался столько времени въ подвалѣ своемъ, что его тамъ застали и захватили врасплохъ. Не успѣлъ онъ образумиться, какъ подвалъ его наполнился незваными гостями, которые, чтобъ не потревожить его стукомъ въ ворота, тайкомъ перелѣзли черезъ сосѣдній заборъ, по примосткамъ.

Такого открытія никто не ожидалъ, но оно рѣшило судьбу Мокрецова. Погребъ былъ наполненъ вещами и запасами всякаго рода, начиная отъ подсвѣчника и кастрюли до бронзовой люстры и серебрянаго супника, чайника и подноса; отъ сюртуковъ и тулуповъ, до цѣльныхъ половинокъ сукна и мѣховъ; отъ перстенька и булавочки, до алмазныхъ серегъ и часовъ всякаго разбора и вида—словомъ, это былъ богатый и многолѣтній складъ товаровъ всякаго рода, въ которомъ не только тотчасъ нашли часть опорожненной

на ярмаркѣ лавки, но множество вещей, украденныхъ въ городѣ за много лѣтъ. Весь кладъ этотъ состоялъ изъ пріюченнаго здѣсь на время украденнаго въ окружныхъ городахъ и селеніяхъ товара. Очевидно, что заведеніе это было давнишнее, что выгодная торговля эта составляла всегда главный источникъ дохода Акима. Товаръ продавался всегда лежалый, много времени спустя послѣ покражи, при томъ обыкновенно въ другомъ городѣ; для этого у Мокрецова были обширныя связи и сношенія, которыхъ доселѣ никто не подозрѣвалъ. Краденый товаръ пересылался туда и сюда, на обмѣнъ, иногда передѣлывался, гдѣ это было можно, и продавался осторожно, выслушавъ напередъ всѣ базарные слухи и убѣдившись что такая-то покража не была въ свѣжей памяти, и никто подъ нея не подъискивался.

Вотъ источникъ зажиточности несчастнаго, котораго вы видѣли на желѣзномъ прутѣ, и о которомъ я вамъ говорилъ, что онъ уже не впервые путешествуетъ по бѣлу свѣту такимъ порядкомъ. Прибавлю къ этому, что, по поводу открытія подземелья въ новомъ домѣ Мокрецова, пошли и осмотрѣли хорошенько старый, проданный въ чужія руки домъ его: и тамъ, подъ настилкой, открыто было подземелье, о которомъ и не зналъ новый хозяинъ; но оно было пусто: Акимъ Андреевичъ успѣлъ своевременно повытаскать или распродать все, бросивъ тамъ кой-какую дрянь, перегнившую, истлѣвшую рухлядь.

При такомъ поличномъ, Мокрецову осталось только смириться, сложить съ себя заработанный усердною апликатурой чинъ и собираться волей-неволей въ дальній путь.

О немъ говорили нѣсколько времени, а тамъ, замолчавъ, позабыли бы вовсе, еслибъ онъ не позаботился вскорѣ освѣжить память по себѣ: внезапно пронесся

слухъ, что огромный Акимъ, выросшій, какъ увѣряли, едва ли не на четверть, бѣжалъ съ пути ссылки, явился снова по близости своего жительства и отъ ремесла утайщика и передатчика перешелъ теперь къ ремеслу промышленниковъ, о которыхъ упомянуто выше: портныхъ, съ вязовыми иглами, съ кистенемъ замѣсто утюга. Онъ портняжилъ такимъ образомъ то на перекресткахъ, гдѣ лѣсистая и песчаная мѣстность была сподручна какъ для укрывательства, такъ и для удобнѣйшаго остановленія проѣзжихъ, вынужденныхъ ѣхать шагомъ, то сидя подъ какимъ-нибудь мосткомъ, гдѣ онъ на ночь вынималъ пару мостовинъ, поправляя опять самъ порчу эту къ разсвѣту. Товарищей онъ не держалъ, а набѣжавъ на повозку, въ ту минуту, когда она или лошади обрушивались въ устроенную имъ ловушку, онъ до того озадачивалъ оплошнаго ѣздока, что успѣвалъ отбирать у него кошелекъ и бумажникъ, прежде чѣмъ тотъ могъ дать себѣ отчетъ въ томъ, что съ нимъ случилось. Затѣмъ Мокрецовъ тотчасъ уходилъ въ лѣсъ, довольствуясь на время этою добычей и появляясь чрезъ нѣсколько ночей вовсе въ иномъ мѣстѣ. Всѣ пути, дороги, перекрестки, все мѣстоположеніе края были ему коротко знакомы, и онъ въ одно лѣто успѣлъ запугать три уѣзда до того, что одно имя Мокрецова на всякаго наводило трепетъ. Полиція по себѣ, безъ должной и дружной помощи жителей, въ подобныхъ случаяхъ почти ничего не можетъ сдѣлать, а обыватели до того бываютъ запуганы местью злодѣя, что укрываютъ его сами. Несмотря на это, участь всѣхъ подобныхъ людей бываетъ одинакова: ни одинъ изъ нихъ вѣку не изживалъ въ лѣсу и подъ мостами: наскакиваетъ каждая коса на камень. Та же судьба съискала и Акима Мокрецова. Ѣхалъ незначительный чиновникъ, одинъ и въ небольшой кибитченкѣ; онъ прибылъ ночью на станцію, гдѣ Акимъ по близости

сшилъ себѣ ужъ не одну шубу, какъ выражались ямщики, и гдѣ, по расположенію мѣстности, ему было весьма удобно хозяйничать. Проѣзжаго не только остерегали, но упрашивали выждать бѣлаго дня, потому что слухъ вечеромъ пронесся, будто кто-то видѣлъ по близости Мокрецова, легко узнаваемаго по необычайному росту. Путникъ объявилъ, что съ нимъ нѣтъ никакихъ богатствъ, могущихъ соблазнить такого знаменитаго сборщика податей, а есть про запасъ пара добрыхъ пистолетовъ; и, не смущаясь никакими разсказами опасливыхъ ямщиковъ, что Акимъ нынѣ уже началъ выпрягать лошадей у ямщиковъ, ѣдущихъ обратно порожнемъ, путникъ сѣлъ и поѣхалъ. Но онъ сѣлъ не въ кибитку, которую прикрылъ запономъ, а съ ямщикомъ, на козлы. Доѣхавъ впотьмахъ до опаснаго мостика, опытный ямщикъ пріостановился, чтобъ сперва разсмотрѣть, нѣтъ ли тутъ волчьей ямы и засады, и въ это самое время, мужичище огромнаго роста будто изъ земли выросъ, ударилъ соскочившаго ямщика дубиной такъ, что тотъ—вѣроятно, болѣе изъ предосторожности, зная, что лежачаго не бьютъ — присѣлъ на мѣстѣ; Акимъ прямо кинулся къ кибиткѣ, спѣшно отрывая запонъ. Проѣзжій выхватилъ пистолетъ и, обратившись на козлахъ, выстрѣлилъ въ разбойника почти въ упоръ; этотъ отшатнулся и упалъ, а лошади понесли. Съ трудомъ неопытный кучеръ успѣлъ подобрать возжи и мало-по-малу осадить лошадей, а потомъ воротиться на мѣсто побоища. Одинъ, раненый или контуженный, былъ уже на ногахъ и бѣгомъ нагонялъ повозку, которую теперь и встрѣтилъ; другой сидѣлъ, не могши подняться, и былъ уложенъ поперекъ кибитки. Рана, однакожъ, оказалась не опасною и зажила къ тому же времени, какъ кончилось новое слѣдствіе, судъ и приговоръ. Послѣдствія всего этого вы видѣли сегодня своими глазами. Во все время,

что Мокрецовъ содержался въ острогѣ, жители не были спокойны, и безпрестанно возобновлялась молва: «онъ бѣжалъ». Теперь остается желать только одного: чтобъ Акиму Андреевичу не удалось пробраться еще разъ на родину свою, иначе онъ—въ этомъ всѣ увѣрены—по отчаянному озлобленію людей подобнаго рода, начнетъ жечь. Воръ хоть стѣны да крышу покидаетъ; поджигатель—одинъ только пепелъ.

VIII

ПОДКИДЫШЪ

«Не плачь, Аннушка, не ломай рукъ, Анна Алексѣевна, сдѣлай милость, пожалуйста, ну, что безъ пути себя убивать? Богъ милостивъ, Господь не оставитъ насъ, право, не оставитъ. Ну, послушай же меня, Анна Алексѣевна: ну видано, слыхано ли гдѣ на Руси, чтобъ люди съ голоду пропадали? Такъ ли, сякъ ли, пробьемся. Вотъ и начальникъ, глядя на бѣдность мою (при этомъ Семенъ Ивановичъ оглянулся на локти свои) обѣщалъ маленькое награжденіе. Ну, бѣдность наша— конечно, бѣдность; да вѣдь «Богъ-то милостивъ, не дастъ пропасть...»

— Наказалъ онъ насъ по грѣхамъ нашимъ, — продолжала плакать слабымъ голосомъ бѣдная роженица, жена губернскаго секретаря, служащаго въ столѣ по счетной части: — куда мы съ ними дѣнемся? Семеро было, малъ-мала-меньше: и тѣ ходили голодные и холодные; а теперь, двое разомъ... Господи, Создатель мой милосердый!

Семенъ Ивановичъ, служившій, какъ мы сказали, въ столѣ по счетной части, но не дошедшій еще до крайняго и высшаго предмета страстныхъ своихъ на-

деждъ — до штатной должности, былъ бѣднякъ, какъ говорится, убитый судьбою, котораго бѣда и горе постоянно преслѣдовали по пятамъ. Сколько онъ себя помнилъ, всегда онъ, либо переводилъ духъ послѣ недавняго несчастія, либо стоялъ, растопыривъ всѣ десять пальцевъ, сраженный неожиданною неудачей, либо не досыпалъ и не доѣдалъ, ожидая неминучаго удара. Къ этому онъ до того привыкъ, что лицо его, разъ навсегда, приняло выраженіе испуга и недоумѣнія, и такъ ходилъ онъ по праздникамъ и по буднямъ и съ этимъ же лицомъ постоянно въ восемь часовъ утра являлся къ должности. Если какія-нибудь необычайныя обстоятельства вызывали улыбку на этомъ залубенѣвшемъ подъ вліяніемъ изумленія и страха лицѣ, то она до того не шла къ нему, что казалось, будто на столь знакомомъ лицѣ Семена Ивановича какимъ-то подлогомъ поселилась улыбка чужая. Знали ли вы такихъ тружениковъ бумажнаго производства, или вѣрнѣе истребленія, такихъ жертвъ письменнаго порядка или безпорядка, у которыхъ вся совокупность умственныхъ способностей вмѣсто того, чтобъ выходить изъ головы раструбомъ наружу, для объема всего, что человѣка окружаетъ, всего, что доступно уму и чувствамъ его, принимаетъ видъ обратный, съ обращеніемъ раструба внутрь, а узкой и тѣсной вершиной наружу, на одинъ только предметъ—на лежащую передъ очкомъ этимъ бумажку или счетъ? Все, что расположено внѣ этого тѣснаго круга зрѣнія, внѣ очка, эти люди не видятъ и видѣть не могутъ, какъ мы не видимъ того, что дѣлается въ противномъ полушаріи. Весь міръ для нихъ усохъ въ одинъ комочекъ, въ одну засушенку, и во время вдохновенія и самаго смѣлаго полета воображенія онъ развивается на пространствѣ графлёнаго листа бумаги. Что тутъ не умѣщается, того нѣтъ и не бываетъ, и о томъ не можетъ быть рѣчи.

Таковъ былъ Семенъ Ивановичъ. Нѣтъ для него рѣчей, кромѣ входящихъ въ составъ приходныхъ и расходныхъ статей и срочныхъ, разнаго именованія, счетовъ; нѣтъ для него никакого различія въ повышеніи и пониженіи голоса, въ способѣ выраженія, какъ различія по отношеніямъ степеней началія и подчиненности; нѣтъ звуковъ, не только музыки, кромѣ брякотни счетовъ. Онъ исписалъ, кромѣ всѣхъ форменныхъ счетовъ и отчетовъ, толстую тетрадь объяснительными цифрами и замѣчаніями, съ отмѣтками, гдѣ карандашомъ, гдѣ красными чернилами, на случай смерти, какъ онъ объяснилъ ближайшему товарищу своему, чтобъ преемникъ его ни въ чемъ не затруднился, и чтобъ не палъ на Семена Ивановича укоръ, будто онъ покинулъ дѣла свои въ безпорядкѣ. Это было какое-то служебное духовное завѣщаніе. Кромѣ этихъ служебныхъ отношеній, Семенъ Ивановичъ зналъ одни только домашнія: здѣсь нужда и бѣдность, одолѣвая его на каждомъ шагу, заглушали почти всѣ иныя чувства, впечатлѣнія и взаимныя сообщенія; жена и семеро дѣтей — легко сказать, а кормить, одѣвать и обувать ихъ куда какъ тяжело! Анна Алексѣевна, тоже дочь чиновника, въ молодости своей, правда, что помотала порядкомъ (сколько можно мотать изъ ста рублей въ годъ), но теперь ужъ давно выстрадала эти грѣхи молодости. И она, какъ прочія, искала все счастье жизни въ шелковомъ салопѣ, въ бархатной шляпкѣ, въ цвѣткахъ, лентахъ и перьяхъ; и ей казалось, въ свое время, что безъ обѣда сидѣть не только можно, но и должно въ послѣднюю четверть каждаго мѣсяца, въ ожиданіи жалованья; но что жить безъ бурнуса, мантона, мантильи, или какъ весь хламъ этотъ именуется, нельзя, а остается только сидѣть дома и выть передъ мужемъ, покуда не добудетъ онъ такого тряпья, какое навѣсили на себя другія. Но все это

деждъ — до штатной должности, былъ бѣднякъ, какъ говорится, убитый судьбою, котораго бѣда и горе постоянно преслѣдовали по пятамъ. Сколько онъ себя помнилъ, всегда онъ, либо переводилъ духъ послѣ недавняго несчастія, либо стоялъ, растопыривъ всѣ десять пальцевъ, сраженный неожиданною неудачей, либо не досыпалъ и не доѣдалъ, ожидая неминучаго удара. Къ этому онъ до того привыкъ, что лицо его, разъ навсегда, приняло выраженіе испуга и недоумѣнія, и такъ ходилъ онъ по праздникамъ и по буднямъ и съ этимъ же лицомъ постоянно въ восемь часовъ утра являлся къ должности. Если какія-нибудь необычайныя обстоятельства вызывали улыбку на этомъ залубенѣвшемъ подъ вліяніемъ изумленія и страха лицѣ, то она до того не шла къ нему, что казалось, будто на столь знакомомъ лицѣ Семена Ивановича какимъ-то подлогомъ поселилась улыбка чужая. Знали ли вы такихъ тружениковъ бумажнаго производства, или вѣрнѣе истребленія, такихъ жертвъ письменнаго порядка или безпорядка, у которыхъ вся совокупность умственныхъ способностей вмѣсто того, чтобъ выходить изъ головы раструбомъ наружу, для объема всего, что человѣка окружаетъ, всего, что доступно уму и чувствамъ его, принимаетъ видъ обратный, съ обращеніемъ раструба внутрь, а узкой и тѣсной вершиной наружу, на одинъ только предметъ—на лежащую передъ очкомъ этимъ бумажку или счетъ? Все, что расположено внѣ этого тѣснаго круга зрѣнія, внѣ очка, эти люди не видятъ и видѣть не могутъ, какъ мы не видимъ того, что дѣлается въ противномъ полушаріи. Весь міръ для нихъ усохъ въ одинъ комочекъ, въ одну засушенку, и во время вдохновенія и самаго смѣлаго полета воображенія онъ развивается на пространствѣ графлёнаго листа бумаги. Что тутъ не умѣщается, того нѣтъ и не бываетъ, и о томъ не можетъ быть рѣчи.

Таковъ былъ Семенъ Ивановичъ. Нѣтъ для него рѣчей, кромѣ входящихъ въ составъ приходныхъ и расходныхъ статей и срочныхъ, разнаго именованія, счетовъ; нѣтъ для него никакого различія въ повышеніи и пониженіи голоса, въ способѣ выраженія, какъ различія по отношеніямъ степеней началія и подчиненности; нѣтъ звуковъ, не только музыки, кромѣ брякотни счетовъ. Онъ исписалъ, кромѣ всѣхъ форменныхъ счетовъ и отчетовъ, толстую тетрадь объяснительными цифрами и замѣчаніями, съ отмѣтками, гдѣ карандашомъ, гдѣ красными чернилами, на случай смерти, какъ онъ объяснилъ ближайшему товарищу своему, чтобъ преемникъ его ни въ чемъ не затруднился, и чтобъ не палъ на Семена Ивановича укоръ, будто онъ покинулъ дѣла свои въ безпорядкѣ. Это было какое-то служебное духовное завѣщаніе. Кромѣ этихъ служебныхъ отношеній, Семенъ Ивановичъ зналъ одни только домашнія: здѣсь нужда и бѣдность, одолѣвая его на каждомъ шагу, заглушали почти всѣ иныя чувства, впечатлѣнія и взаимныя сообщенія; жена и семеро дѣтей — легко сказать, а кормить, одѣвать и обувать ихъ куда какъ тяжело! Анна Алексѣевна, тоже дочь чиновника, въ молодости своей, правда, что помотала порядкомъ (сколько можно мотать изъ ста рублей въ годъ), но теперь ужъ давно выстрадала эти грѣхи молодости. И она, какъ прочія, искала все счастье жизни въ шелковомъ салопѣ, въ бархатной шляпкѣ, въ цвѣткахъ, лентахъ и перьяхъ; и ей казалось, въ свое время, что безъ обѣда сидѣть не только можно, но и должно въ послѣднюю четверть каждаго мѣсяца, въ ожиданіи жалованья; но что жить безъ бурнуса, мантона, мантильи, или какъ весь хламъ этотъ именуется, нельзя, а остается только сидѣть дома и выть передъ мужемъ, покуда не добудетъ онъ такого тряпья, какое навѣсили на себя другія. Но все это

давно прошло, какъ сонъ; бѣдность и какая-то искра здраваго разсудка и самостоятельности, запавшія, какъ священные останки, въ душу ея, постепенно заставили ее очнуться и осѣсться. Конечно, и она, какъ прочія, и понынѣ не умѣла подать семьѣ своей никакой болѣе помощи въ положеніи этомъ, какъ ту, чтобъ водить ее въ грязи и отрепьяхъ, да жить завтрашнимъ днемъ, а не вчерашнимъ, то есть брать впередъ жалованье, сколько можно выпросить у казначея, и брать въ долгъ припасы, сколько дадутъ во всѣхъ сосѣднихъ лавочкахъ. Но чтожъ дѣлать, коли она лучшаго не знала, не видѣла и придумать не умѣла; зато на себя она ужъ не тратила ничего. Не будучи самовластною, она однакожъ привыкла управлять мужемъ и домомъ неограниченно, какъ потому, что мужа почти весь день не было дома, такъ и по отсутствію всякой самостоятельности въ немъ и исключительной способности по счетамъ и отчетамъ по службѣ. Занятый день и ночь, во снѣ и на яву однимъ только этимъ, онъ сегодня въ половинѣ восьмого утра отправился, ничего не зная и не чая, на службу; а воротившись оттуда къ обѣду домой, встрѣченъ былъ вѣстью, что въ отсутствіе его Богъ далъ двойней... Постоянно удивленное лицо его усвоило себѣ внезапно еще какую-то улыбку испуга и изумленія, а глаза какъ бы застыли въ томъ положеніи, какъ застала ихъ врасплохъ эта нечаянная вѣсть... Озадаченный подаркомъ этимъ, онъ старался утѣшить Анну Алексѣевну только словами, а въ головѣ и на сердцѣ у него было—не знаю, что: такая пустота, такой холодъ, такой страхъ, что этого нельзя описать словами. Онъ и не замѣчалъ, что утѣшительныя рѣчи его вовсе не шли къ отчаянному, растерянному виду и всей наружности его. Онъ говорилъ: «Богъ милостивъ, Богъ поможетъ», а самъ похожъ былъ на человѣка, готоваго сейчасъ утопиться или удавиться. Онъ

стоялъ передъ страдалищей, какъ пришелъ, въ крѣпко-заношенномъ вицмундиришкѣ, выпучивъ глаза, стиснувъ губы, опустивъ неловко голову, будто она была свихнута, и волосъ, казалось, подымался на ней дыбомъ; растопыривъ всѣ десять пальцевъ, онъ, съ какимъ-то тупымъ участіемъ, почти похожій на посторонняго зрителя, смотрѣлъ на все, что вокругъ дѣлалось; переворотъ, происшедшій такъ внезапно въ бѣдномъ жильѣ его во время отсутствія его на службѣ, перевернулъ весь жилой уголокъ его вверхъ дномъ; принадлежности разнаго рода, необходимыя при такомъ чрезвычайномъ случаѣ, или бывшія тутъ и тамъ помѣхою и сунутыя на скорую руку куда ни попало, лежали ворохами въ комнатѣ, а комната эта была у него однимъ одна, только перегорожена ветхими бумажными ширмами пополамъ; ребятишки всѣхъ величинъ и размѣровъ, всѣ подгодки, визжали, пищали и ревѣли на ворохахъ этихъ и подъ ворохами; на что ни взгляни — все грязь и лохмотья. Добрая пріятельница, сосѣдка, принявшая, изъ состраданія, на это тяжкое время хозяйство (разумѣется, что прислуги тутъ никакой не было), управлялась кой-около чего, а озадаченный отецъ, истощивъ въ немногихъ словахъ все свое краснорѣчіе утѣшенія, уставилъ мутные глаза на то мѣсто постели, гдѣ, рядомъ съ роженицею, что-то накрыто было лохмотьями... Онъ не рѣшался приподнять уголъ завѣтнаго лоскута, будто страшась убѣдиться своими глазами въ Божьей милости — какъ поселяне наши называютъ двѣ довольно противоположныя вещи: «дѣтей или урожай и пожаръ отъ грозы»

Для бѣдняка Семена Ивановича это, кажется, была Божья милость въ родѣ послѣдней, то есть крестъ и искушеніе. Онъ былъ пораженъ этимъ случаемъ не менѣе того, какъ еслибъ, пришедъ со службы, нашелъ, вмѣсто жилья своего, одно только пепелище.

Добрая сосѣдка вмѣшалась въ бесѣду или разноголосицу супруговъ и разсудила, что Семенъ Ивановичъ и точно правъ, и Бога гнѣвить грѣшно: Господь милостивъ; коли своего старанія приложитъ, такъ все исправитъ. Сужденіе это подкрѣплено было приличными примѣрами.

Семенъ Ивановичъ почесался за ухомъ — значитъ, пришелъ въ себя, опомнился маленько, но, не отводя мутныхъ глазъ своихъ отъ покрытой лохмотьями кучки на постели, подумалъ про себя: «Господь старанья приложитъ, поправитъ — приберетъ, стало быть, по милосердію Своему; конечно, двойни не жильцы, не живучи... да и то не знаю, какъ и чѣмъ похоронить, безъ расходовъ все нельзя...» Лицо его начинало опять принимать прежнюю, отчаянную складку, и голова стала топорщиться головной щеткой... «А крестины?» Испугавшись этого двойного, непосильнаго расхода, онъ, будто вдругъ проснувшись, потеръ лобъ и, чтобъ разсѣять себя, спросилъ: «Не хочешь ли чего, Анна Алексѣевна, селедочки или шалфейку напиться? У меня вѣдь, вотъ видишь, и гривенничекъ и мѣдныхъ немножко есть... сходить?»

Анна Алексѣевна какъ-то значительно покачала головой и отвернулась молча въ другую сторону. Опять Семенъ Ивановичъ остался въ недоумѣніи, и опять выручила его сосѣдка. Покончивъ дѣла свои, она объявила, что надо ей теперь идти домой, а Семену Ивановичу оставаться при роженицѣ до утра, пославъ записку въ палату, что онъ нездоровъ, съ тѣмъ, чтобъ отдохнуть днемъ; а съ утра она опять придетъ ихъ провѣдать. На все это онъ согласился безпрекословно, замѣтивъ только, что онъ больнымъ сказываться не станетъ, а ужъ развѣ прямо напишетъ, по правдѣ,— какое случилось несчастье, хотѣлъ было онъ прибавить, но опомнился и поправился:—какую то есть

Богъ далъ радость, выговоривъ, однакожъ, послѣднее слово съ такимъ тяжелымъ вздохомъ, что радость эта отзывалась горькимъ горемъ.

Супруги остались одни. Нѣсколько времени слышались только шаги Семена Ивановича, прибиравшаго кой-что, да вздохи и стоны роженицы, не столько отъ боли, какъ по безвыходности бѣдственнаго положенія семьи; затѣмъ два прибылые нахлѣбничка стали повизгивать, чередуясь, будто перекликаясь и перекоряясь взапуски. Семенъ Ивановичъ присѣлъ и, сложивъ руки, сталъ прислушиваться къ этому двоегласію. «У одного погуще голосокъ» сказалъ онъ тихонько, «побасистѣе, и какъ будто этакъ — одинъ выноситъ, а другой подхватываетъ...»

— Чтожъ ты долго этакъ сидѣть будешь да вслушиваться?—спросила Анна Алексѣевна:—бери, да дѣвай, куда хочешь, твои вѣдь!

— Помилуй, матушка, куда же мнѣ-то дѣть ихъ? Мои, вѣстимо, что наши, и твоихъ черевъ урывочекъ...

— Нѣтъ, твои, твои! Я что съ ними дѣлать стану? Кормилицу что ли найму? Корову купимъ? И одного-то кормить, такъ, чай, напередъ самой поѣсть надо. Бери, бери, неси, куда знаешь!

Семенъ Ивановичъ подошелъ вплоть къ кровати, опѣшивъ до послѣдней степени; онъ не зналъ, что и говорить. — Помилуй, помилуй, Анна Алексѣевна, я то есть лягу, пожалуй, я къ себѣ ихъ положу, а вы отдохните...

— Куда ты ихъ къ себѣ положишь? Бредишь что ли? Ты опомнись, встряхни голову:—вонъ, семеро по угламъ лежатъ, и тѣ, почитай, не ѣвши уснули, а тутъ еще двое? Богъ съ тобою, голодомъ да холодомъ не вспоишь, не вскормишь никого; наготы да босоты у насъ и безъ нихъ вдоволь. Бери, да неси, куда знаешь.

— Куда знаешь, куда знаешь,—повторилъ онъ.— Помилуй, Богъ милостивъ, все найдется, то есть все пройдетъ, дастъ Богъ, благополучно; вы не робѣйте только...

Но бесѣда эта, несмотря на такую увѣренность Семена Ивановича въ Божьей милости и помощи, кончилась тѣмъ, что ужъ онъ сталъ только отпрашиваться выждать ночи, потому что днемъ нельза же нести куда-нибудь подъ порогъ ребенка. Привыкнувъ въ домашнемъ быту во всемъ подчиняться Аннѣ Алексѣевнѣ, Семенъ Ивановичъ, при растерянномъ соображеніи своемъ, тупо и безсознательно подчинился отчаянному требованію ея и, повѣсивъ носъ, замолчалъ. Онъ сдѣлалъ было еще попытку отстоять хоть одного изъ двойней, но когда Анна Алексѣевна положительно повторила: «обоихъ, обоихъ», то онъ и тутъ опять выговорилъ себѣ только ту льготу, чтобъ разнести ихъ порознь, а не обоихъ за одинъ разъ, потому, говорилъ бѣднякъ, что съ двумя никакъ не сообразишься.

Сошедшись на этомъ, чета наша бесѣдовала и совѣтовалась о томъ, куда нести ребятъ, а наконецъ согласились и въ этомъ: одного къ откупщику, другого къ купцу Лизунову. Къ откупщику потому, что у этихъ-де людей денегъ пропасть, не считаютъ счетомъ, а гарнцами пересыпаютъ—и Семенъ Ивановичъ самъ ужаснулся картинѣ этой, когда выговорилъ такія слова, и растопырилъ пальцы; къ Лизунову потому, что онъ бездѣтенъ, а человѣкъ съ достаткомъ, и жена его женщина добросердая и богомольная; скучая безъ дѣтокъ, она не разъ уже развозила вклады по церквамъ и монастырямъ, вымаливая Божьяго благословенія.

Ночь настала; ребятишки всѣ давно поснули, гдѣ кто растянулся или свернулся; свѣчу и не зажигали, а лампадка подъ кивотцемъ тускло просвѣчивала въ

цвѣтное стеклышко. Эти цвѣтныя *насадочки* на лампадку, которыя Семенъ Ивановичъ также называлъ *кольнцами*, составляли всю утѣху и развлеченіе домашняго вечера его; на эту роскошь онъ позволилъ себѣ исподволь поистратиться и передъ молитвою перемѣнялъ шкалики всѣхъ цвѣтовъ и любовался ими, или наставлялъ одинъ цвѣтъ другимъ, для чего и были у него шкалики съ искусно-отрѣзанными донцами. Эту продѣлку производилъ онъ самъ, по табельнымъ днямъ, посредствомъ зажигаемой на шкаликѣ сѣрной нитки.

Поужинавъ въ углу тюрьки, то есть хлѣбца съ кваскомъ, и приправляя трапезу свою отрывочнымъ разсказомъ о томъ, какую онъ хорошую рѣдьку видѣлъ сегодня на базарѣ, когда шелъ отъ должности, онъ перекрестился и сталъ какъ-то тревожно ощупываться, чувствуя, что отчаянный часъ для него насталъ. Анна Алексѣевна проговорила:

— Чтожъ, пора тебѣ, собирайся.

Бѣднякъ такъ перетревожился, что лицо его пришло почти въ такой же безобразный видъ, какъ при первой встрѣчѣ нежданнаго Божьяго благословенія.

— А вотъ — охъ, Анна Алексѣевна! — а вотъ сейчасъ—не знаю, не грѣшно ли будетъ?

— Какое тутъ раздумье! — завопила Анна Алексѣевна въ досадѣ и изнеможеніи: — бери, говорятъ тебѣ, да неси.

— Ну, благослови Богъ, прости насъ грѣшныхъ, прости—да котораго же?.. да они у тебя...

Теперь только Семенъ Ивановичъ вспомнилъ, что онъ, за испугомъ и недосугомъ, не спросилъ еще, *что Богъ далъ*.

— Да они у тебя, того,—началъ онъ было опять, но мать поняла его и перебила:

— Не у меня, а у тебя, оба въ тебя, мальчишки Бери любого напередъ. Все равно. Неси, неси, я ужъ благословила.

На дворѣ стало темно, словно въ дубинкѣ, но тепло и тихо. Крадется кто-то подъ заборами, закутанный въ шинелишку — хоть и не совсѣмъ было по погодѣ такъ тепло одѣваться — и, дошедъ до перекрестка, остановился, будто робѣя перейти поперекъ улицу. И темно и безлюдно, и ставеньки всѣ приперты, а все чудится, что кто-нибудь увидитъ. Въ сторонѣ послышался одинокій стукъ колесъ, и прохожій робко бросился назадъ, будто ему, съ ношею подъ мышкой, безопаснѣе было идти по одному направленію, чѣмъ по другому. Опять все затихло. Только что пѣшеходъ хотѣлъ было выступить изъ-за угла, какъ неугомонный хозяинъ, оберегая полуразрушенный домишко свой отъ воровъ и пожара, ударилъ посошкомъ въ ворота, и звучная, рѣзкая дробь на время огласила окрестность. Этотъ случай до крайности напугалъ нашего бѣдняка: ему померещилось, что бьютъ въ набатъ, что вотъ сейчасъ весь городишко сбѣжится вокругъ него, и преступная тайна его обнаружится. Затихла и эта тревога. Вздохнувъ тяжело, перешелъ онъ улицу, мелькнулъ какъ тѣнь, и опять скрылся подъ заборомъ. Дома черезъ три онъ снова остановился: у него захватило духъ. Перекрестившись мысленно нѣсколько разъ, потому что руки были не свободны, онъ подался впередъ, подошелъ къ крылечку, надъ коимъ, по неизмѣнному, однообразному обычаю того города, былъ небольшой навѣсъ съ узорочнымъ деревяннымъ подзоромъ — распустилъ плащъ, высвободилъ руку, перекрестился, вступилъ тише тѣни на крылечко и наклонился...

Семеро старшенькихъ ребятишекъ Анны Алексѣевны, какъ я сказалъ, храпѣли и сопѣли по угламъ

и по ворохамъ, гдѣ кто свалился и свернулся; восьмой, то-есть одинъ оставшійся изъ двойней, лежалъ молча у матери, подлѣ опустѣвшаго гнѣздышка своего братца, ушедшаго такъ рано въ гости или въ чужіе люди. Все было тихо, теплилась лампада въ синемъ шкальчикѣ подъ образами, да ребятишки по временамъ бредили несвязно или постукивали въ безпокойномъ снѣ то локтемъ, то лбомъ, то затылкомъ въ полъ, да иногда слышались стоны, охи и вздохи роженицы. Среди тишины этой раздались шаги въ сѣняхъ,—Анна Алексѣевна перекрестилась; слава Богу: одного сбыли... Семенъ Ивановичъ вошелъ, крѣпко запыхавшись, но она не могла еще видѣть его изъ-за ширмъ.

— Ну что, благополучно? Съ Богомъ, бери другого...

— Ахъ, Анна Алексѣевна, ахъ!..— проговорилъ онъ и остановился, не досказавъ ничего.

— Бери, Семенъ Иванычъ, бери скорѣе и другого, ужъ заодно, не миновать—неси. Что мы съ нимъ тутъ дѣлать станемъ?... Твой вѣдь, бери, бери...

Вмѣсто отвѣта, Семенъ Ивановичъ вошелъ къ ней за ширму—съ двойною ношею противъ той, съ которою вышелъ изъ дома, подъ обѣими мышками, и молча положилъ передъ роженицей, вмѣсто одного, двухъ новорожденныхъ. Онъ былъ въ такомъ страхѣ, въ такомъ испугѣ, что весь дрожалъ; зубы стучали у него, какъ въ лихорадочномъ ознобѣ, глаза безтолково мигали; онъ подергивалъ туда и сюда губами пепельнаго цвѣта, будто собираясь говоритъ, но не доискивался словъ. Затѣмъ сталъ онъ судорожно перебирать пуговицы вицмундиришка своего (сюртука у него въ заводѣ не бывало) и, оторвавъ одну, висѣвшую на вершковой ниткѣ, сталъ ее внимательно разсматривать.

— Господи! да что это?—проговорила испуганная на смерть Анна Алексѣевна.

— Богъ знаетъ, и самъ не знаю, что такое,—отвѣчалъ онъ заикаясь.

Роженица съ трудомъ приподнялась и, ощупавъ торопливо тотъ и другой свертокъ, убѣдилась, что Семенъ Ивановичъ безъ всякихъ шутокъ, подлога или обмана принесъ домой двоихъ младенцевъ: того самаго, котораго понесъ было въ люди, и еще дружку ему Первый былъ обернутъ все въ тѣ же лохмотья, въ какихъ его унесли, второй — въ порядочномъ одѣялѣ, какого у Анны Алексѣевны никогда еще не бывало въ домѣ. Послѣдній начиналъ кряхтѣть и пищать.

— Что это? какъ это съ тобою случилось? да говори!

— И самъ не знаю, видитъ Богъ, не знаю; такъ вотъ вдругъ...

Посторонній слушатель могъ бы заключить изъ безтолковыхъ отвѣтовъ Семена Ивановича, что и въ самомъ дѣлѣ ему самому, то есть самолично, Богъ послалъ милость или благословеніе это, по примѣру того, какъ случилось то же съ Анной Алексѣевной. Но дѣло исподволь объяснилось иначе. Лишь только онъ наклонился, бережно опуская кровную ношу свою на деревянное крылечко откупщика, какъ этотъ самъ, собираясь куда-то со двора, вышелъ изъ калитки; онъ остановился, взглянулъ на незванаго гостя, кинулся на него и, ухвативъ за воротъ подозрительнаго посѣтителя, закричалъ о помощи во дворъ, откуда тотчасъ выбѣжало еще два человѣка. «Кто тутъ?» спросилъ онъ, «что дѣлаешь?»

Семенъ Ивановичъ, растопыривъ, по обычаю своему, всѣ десять пальцевъ, съ большой натугой прошепталъ: «Я ничего-съ.»—«Какъ ничего?» продолжалъ хозяинъ, оглядываясь зорко впотьмахъ: «у тебя было что-то въ рукахъ. Гдѣ укралъ, куда дѣвалъ?» Семенъ Ивановичъ начиналъ вздрагивать всѣмъ тѣломъ, а хо-

зяинъ, отыскавъ и разсмотрѣвъ свертокъ, закричалъ: «Что это? Э, братъ, да это вотъ что! Не нашелъ что ли другого мѣста, куда щенятъ своихъ закидывать—а? Сейчасъ забирай ихъ, да съ глазъ долой, не то я тебя...» и замахалъ надъ нимъ тростью.

Семенъ Ивановичъ поспѣшно кинулся впередъ, наклонился и, поднявъ своего несчастнаго ребенка, хотѣлъ было бѣжать безъ оглядки, но хозяинъ, поднявъ надъ нимъ грозно палку, закричалъ: «Обоихъ, обоихъ!»

Никакая божба, ни клятвы испуганнаго на смерть Семена Иваныча не могли убѣдить озлобленнаго хозяина, что бѣднякъ нашъ принесъ одного только, а не двоихъ; никакое: «помилуйте» не могло разжалобить жестокосердаго; пойманный съ поличнымъ Семенъ Ивановичъ ничѣмъ не могъ отдѣлаться; трость надъ нимъ извивалась, и хотѣли, сверхъ того, отправить его и съ щенятами въ полицію, чтобъ отдать подъ судъ.

Почти утративъ всякое сознаніе и память, бѣдный Семенъ Ивановичъ долженъ былъ подобрать и другого ребенка, Богъ-вѣсть кѣмъ и откуда незадолго до него подкинутаго, и нести обоихъ безъ оглядки домой. Его напутствовали брань и угрозы барина съ камышевою тростью.

— Божья воля, Анна Алексѣевна, — закончилъ онъ:—власть ваша, а все Божья воля...

Самъ въ изнеможеніи опустился на облупленное ветхое кресло, закрылъ лицо обѣими руками и поставилъ оба локтя на столъ, потомъ прошепталъ: «все за грѣхи наши, все по грѣхамъ.»

Нѣсколько минутъ длилось мертвое молчаніе. Бѣднякъ ничего не видѣлъ и не слышалъ, а тупо корпѣлъ надъ безвыходнымъ положеніемъ своимъ. Онъ вдругъ опомнился и пробудился отъ раздавшихся около него шаговъ. Несмотря на забытье свое, онъ въ то же мгновеніе сообразилъ, что ходить тутъ было некому и

быстро выпрямился, открывъ глаза: Анна Алексѣевна была на ногахъ и въ заботахъ около трехъ, рядомъ положенныхъ младенцевъ. Онъ вскочилъ съ кресла и, въ страхѣ, сталъ ее уговаривать улечься и успокоиться, приговаривая: «Помилуйте-съ, не хорошо, ей-ей не хорошо.» Но она молчала, а рѣшительные пріемы ея вскорѣ убѣдили его, что онъ можетъ отложить благонамѣренные совѣты и увѣщанія свои до другого раза. Ихъ, казалось, никто и не слышалъ, не только не слушалъ. А когда Анна Алексѣевна приходила въ такое расположеніе, то слѣдовало оставлять ее въ покоѣ — это онъ зналъ. Забывъ всѣ страданія и самое положеніе свое, она, съ какою-то отчаянною рѣшимостью, осмотрѣла, едва ли не въ первый разъ, двойней своихъ, отъ которыхъ доселѣ отворачивалась въ негодованіи, и съ тѣмъ же материнскимъ участіемъ и заботливостью развернула и перепеленала третьяго младенца; потомъ уложила ихъ опять, приготовила имъ соски изъ жеванаго хлѣбца, и тогда только опять спокойно улеглась. Взглянувъ на изумленнаго до степени своей безсмысленной улыбки мужа, который стоялъ, сложивъ руки и скрестивъ пальцы, слѣдя мутными глазами, тупымъ и тревожнымъ взглядомъ за всѣми движеніями жены, Анна Алексѣевна сказала рѣшительно:

— Перекрестись, да ложись съ Богомъ; ты правъ: отъ Божьяго гнѣва да отъ Божьей милости не уйдешь. Ложись, говорю тебѣ, отдохни. Станемъ сами кормить и тройней.

Не соображая впередъ ничего, какъ это вообще было не въ природѣ Семена Ивановича, онъ, однакожъ, видимо успокоился и просвѣтлѣлъ въ лицѣ отъ такого неожиданнаго спокойствія своей супруги. Отвѣчать на это было нечего, развѣ только: «ну, слава Богу, слава Богу;» жерновъ отвалилъ у него отъ сердца. Образумившись, онъ спросилъ еще: «не надо ли пригото-

вить на ночь, или принести того-другого?» помолился и легъ. Домовой принялся было душить его, послѣ этой коротенькой отрады, отчаянною думкою насчетъ способа кормленія семьи, но онъ откашлялся и заснулъ въ изнеможеніи, бормоча про себя: «Богъ милостивъ; съ голоду пропасть нельзя, никакъ нельзя: Богъ милостивъ.»

На другой же день вѣсть о тройняхъ разнеслась по всему городу, съ разными обстановками, прикрасками и дополненіями; но сущность оставалась неискаженною: «У Семена Иваныча тройни.»—«Совсѣмъ не то: Семенъ Иванычъ завелъ у себя воспитательный домъ.» — «И это совсѣмъ не то: Богъ благословилъ Анну Алексѣевну двойнями, а Семену Иванычу показалось мало, онъ и добылъ третьяго» и проч. Новость эта заняла весь городъ; отъ нечего дѣлать, всѣ приняли живое участіе въ судьбѣ бѣднаго счетнаго чиновника, и двѣ недѣли къ ряду люди не встрѣчались и не здоровались иначе въ городкѣ этомъ, какъ вопросомъ: «А послали вы что-нибудь на зубокъ тройнямъ нашимъ?»

Этого мало: черезъ недѣлю Семену Ивановичу подкинули—не бойтесь, не ребенка, а записочку, съ приложеніемъ ста рублей и съ обѣщаніемъ присылать ежегодно по стольку же, доколѣ принятый имъ младенецъ будетъ живъ, потому что былъ предназначенъ зажиточному человѣку, а не бѣдняку, которому и самому ѣсть нечего. У Семена Ивановича задрожали руки и пепельнаго цвѣта губы, и лицо дурацкимъ порядкомъ перекосилось; потомъ слезы брызнули и покатились покатомъ по щекамъ. Онъ, родясь, не держалъ въ рукахъ своихъ ста рублей, хоть и пересыпалъ сотни тысячъ, какъ горохъ, на счетахъ. Но вотъ что важно: одинъ изъ сослуживцевъ, а за нимъ и двое сторожей, прибѣжали поздравить его съ полученіемъ

штатнаго мѣста. И этимъ онъ обязанъ былъ тройнямъ: обративъ по сему поводу вниманіе на безотвѣтнаго и безсловеснаго Семена Ивановича, начальникъ сжалился надъ нимъ и повысилъ его — по понятіямъ самого Семена Ивановича — чуть не въ министры. Семенъ Ивановичъ, когда ходилъ благодарить за милость эту, воспользовался благосклонностью начальника и испросилъ заблаговременно позволеніе опредѣлить тройней своихъ, когда подрастутъ, дастъ Богъ, прибавилъ онъ, писцами въ то же мѣсто, гдѣ самъ онъ служилъ. Это его окончательно успокоило.

Вамъ грустно стало по прочтеніи первой половины этого разсказа—не правда ли? А мнѣ едва ли не грустнѣе стало теперь, когда, для полноты и правдивости, долженъ прибавить еще нѣсколько словъ. Вамъ бы хотѣлось видѣть теперь картину довольства и порядка въ домѣ и хозяйствѣ Семена Иваныча послѣ столькихъ лѣтъ горя, нужды и голода? Да, и я бы далъ за это дорого. Но этого не было и быть не могло. Не голодали, а жили, впрочемъ, въ такомъ же свинствѣ и грязи, а хозяйничали безтолковѣе прежняго. Семенъ Ивановичъ напередъ всего позаботился о платкахъ и шляпкахъ и другихъ тряпкахъ для Анны Алексѣевны; она же, съ своей стороны, ничего не умѣла сдѣлать на пользу хозяйства и огромной семьи своей, какъ отсчитывать мелкія деньги да посылать разъ по десяти на день одного изъ дѣтей своихъ въ лавочку.

IX

ЧУДАЧЕСТВО

Если мы встрѣчаемъ между людьми высшаго и средняго общества чудаковъ, то, конечно, приписываемъ это прихотямъ, причудамъ, которыя, какъ извѣстно, являются тамъ только, гдѣ есть изъ чего причудничать, то есть при жизни болѣе или менѣе роскошной и изобильной. Но къ удивленію нашему и отчасти къ опроверженію этого мнѣнія, мы находимъ и въ самомъ низшемъ слоѣ общества чрезвычайно много чудаковъ, и потому едва ли не должны признать чудачество врожденнымъ свойствомъ человѣка, выраженіемъ свободной воли и независимости, дошедшимъ до нѣкоторой крайности. Видно, душа не всегда мѣру знаетъ.

Я зналъ одного простого, невзрачнаго, безграмотнаго крестьянина, и именно въ Оренбургской губерніи, который поистинѣ ни въ чемъ не уступалъ знаменитому до нашихъ временъ на весь міръ Діогену, который чествуется всѣми нами подъ именемъ мудреца. Крестьянинъ этотъ тѣмъ еще безспорно бралъ верхъ

надъ мудрецомъ греческимъ, что жилъ не тунеядцемъ, не лежалъ на боку, а работалъ; во-вторыхъ, онъ всѣхъ людей оставлялъ въ покоѣ, не бранился съ ними, не осмѣивалъ ихъ за то, что они живутъ не по обычаю, но самъ строго держался правилъ своихъ, принятыхъ имъ, какъ говорили, еще смолоду, и до которыхъ онъ дошелъ безспорно своимъ умомъ или самодурью.

Онъ не позволялъ себѣ никогда и никакой роскоши, забавы, излишества, лакомства или удовольствія; поэтому онъ носилъ только самое необходимое платье, и шапки или шляпы у него не было въ заводѣ; за это его и звали Аѳоней безшапочнымъ, и прозваніе безшапочныхъ перешло на его дѣтей. Не будучи вовсе ни ханжой, ни изувѣромъ, онъ былъ однакоже сухоядецъ, то есть никогда не ѣлъ горячаго, и питался однимъ только хлѣбомъ и водой; ничѣмъ нельзя было заставить его отвѣдать водки, пряника, чаю, лакомства, или даже какого бы то ни было приготовленнаго кушанья: онъ благодарилъ, кланялся и приговаривалъ только: «не надо.» Но онъ жилъ въ одной избѣ съ женатымъ сыномъ и давалъ ему полную волю жить по-людски; даже, какъ сынъ и сноха увѣряли, ни разу не уговаривалъ ихъ слѣдовать его примѣру, не только за это не бранился.

У насъ есть люди глупые и до безсмысленности суевѣрные, налагающіе проклятіе на табакъ, картофель, на мясо дичи, зайца и проч., но и этого за Аѳоней не было; если допытывались у него причины странностей его, то онъ, пожимая плечами, отвѣчалъ, что бѣды и грѣха отъ этого никому нѣтъ; а не хочетъ онъ того или другого потому, что этого ему не надо. Его любили въ домѣ и на деревнѣ, какъ смирнаго и работящаго мужика, и говорили, смѣючись, про сына Аѳони: «хорошо ему жить, поневолѣ богатъ будетъ—вишь, у

него работникъ какой въ домѣ живетъ, пить-ѣсть не проситъ, а дѣло у него спорится.»

Желательно было бы знать въ подобномъ случаѣ, что именно можетъ заставить бѣднаго человѣка, который и безъ того уже поставленъ въ ограниченное положеніе, стѣснить и ограничить себя произвольно еще болѣе? Иногда это бываетъ, какъ я уже сказалъ, суевѣріе; иногда также изувѣрство; можетъ быть и природное чудачество, но безспорно въ иныхъ случаяхъ это есть убѣжденіе разума и сила воли.

Вотъ другой примѣръ, относящійся, впрочемъ, кажется, не до разумнаго убѣжденія, а до суевѣрія и чудачества.

Въ Костромской губерніи жилъ еще очень недавно старикъ лѣтъ подъ 90, который, съ незапамятныхъ для нынѣшняго поколѣнія временъ, ходилъ по міру, но не приставалъ конюкой къ прохожимъ, не садился на большихъ дорогахъ, не толкался на погостахъ, даже рѣдко ходилъ подъ окнами, а обхаживалъ въ теченіе года большое пространство, то есть много селъ и деревень, завертывая не болѣе какъ по два раза въ годъ къ одному и тому же крестьянину, и, не выпрашивая денегъ, довольствовался тѣмъ, если его накормятъ. Но онъ вовсе не бѣгалъ отъ горячаго, а напротивъ искалъ только того, чтобы гдѣ похлебать щецъ. За эту нестяжательность его любили и нигдѣ не отказывали ему въ кускѣ хлѣба, о которомъ онъ, впрочемъ, просилъ тогда только, когда бывалъ голоденъ. У него были двѣ поговорки, безъ которыхъ онъ не начиналъ и не оканчивалъ рѣчи: *вотъ-те* на грошъ,—и Варвара безсережная. Онъ между прочимъ гнушался картофелемъ въ такой степени, что считалъ ту посуду поганою, въ которой картофель варился, и убѣждалъ всѣхъ не ѣсть этой, противной Богу, пищи. О табакѣ онъ не могъ и слышать равнодушно, хотя и не принадлежалъ

къ раскольничьему толку. Онъ былъ богомоленъ, очень тихъ и кротокъ, любилъ дѣтей и часто съ ними забавлялся, говоря о нихъ: «вонъ, онъ Бога и не знаетъ, а Богъ его любитъ.» Но если бывало кто заспоритъ съ нимъ о табакѣ или картофелѣ, то можно было крѣпко разсердить дѣдушку Василія, и онъ выходилъ изъ себя. На немъ всегда была пребольшая сума, порядочно чѣмъ-то набитая; многіе дивились этому, зная именно нестяжательность его, и спрашивали, для чего онъ проситъ хлѣба, говоря, что голоденъ, когда у него сума набита хлѣбомъ?—Тогда онъ отвѣчалъ: «Варвара безсережная, это хлѣбъ не про этотъ свѣтъ, а про тотъ.» До сумы этой никому не давалъ дотронуться, берегъ ее пуще глаза, и никто не зналъ, что въ ней есть; иные даже полагали, что онъ таскаетъ деньги съ собою, другіе, что это священныя книги, но всѣ знали, что старикъ былъ безграмотенъ.

Разъ какъ-то его хорошо накормили у давно знакомаго крестьянина, и стали упрашивать, когда онъ былъ въ духѣ, игралъ съ дѣтьми и разговорился: «Дѣдушка Василій, скажи пожалуйста, за что это Богъ проклялъ табакъ да картофель; говорятъ, ты все это знаешь?»

«А вотъ за что», сказалъ старикъ, прибавивъ къ этому: *вотъ-те* на грошъ, «слушай: надо знать, отъ чего это поганое зелье уродилось, такъ тогда и самъ поймешь, безъ меня. Вишь-ли, у царя Ирода была дочь, нечестивая дочь нечестиваго отца,—любила она не человѣка, а пса. Узнавши объ этомъ, царь Иродъ приказалъ ихъ обоихъ заколоть живыхъ; вотъ — отъ кобеля зародился да пошелъ расти картофель, а отъ дочери Ирода нечестиваго происшелъ табакъ, нечестивое зелье. Такъ вотъ теперь и смекай самъ, Варвара безсережная, погана ли трава эта, что табакъ, что чортово яблоко, аль нѣтъ?» — А почему же ты,

дѣдушка Василій, знаешь все это? — «Поживитко съ мое, *вотъ-те* на грошъ, такъ и самъ узнаешь.» [1])

По смерти дѣдушки Василія стали съ любопытствомъ осматривать суму его: первый, кто ее въ руку взялъ, удивился; такъ тяжела, что человѣку только подъ силу поднять. Заглянули въ нее — какіе-то свертки въ отрепьяхъ, развернули—каменья, больше ничего. Старикъ таскалъ на себѣ нѣсколько лѣтъ каменныя вериги.

Есть еще въ деревняхъ особый родъ дурачковъ, которые бываютъ толковы по всѣмъ статьямъ, кромѣ одной: не смѣй при нихъ выговорить какое-нибудь слово, котораго онъ не терпитъ, а скажешь, такъ онъ либо бранится всякими нечестивыми ругательствами, либо бьетъ зря, чѣмъ ни попало, и при томъ не разбирая лица, кто бы ни былъ. Я зналъ одного такого, при которомъ нельзя было выговорить слова *топоръ*, и если кому, забывшись, или даже по незнанію, случалось сдѣлать это, то Макаръ пускалъ ему въ голову что держалъ въ рукахъ — полѣно, чашку, ножъ, все равно. Доходило до того, что его ужъ не разъ за это наказывали, когда онъ слишкомъ забывался, и выходила драка. или когда онъ больно ушибалъ кого понапрасну;—но ему неймется, и понынѣ онъ отъ этого норова не отстанетъ. Люди привыкли къ нему; то тѣшатся этимъ, то спускаютъ и поблажаютъ, говоря: ужъ онъ у насъ все такой; — и ему часто съ рукъ сходитъ то, за что всякому другому пришлось бы плохо.

Я зналъ другого, при которомъ нельзя было помянуть крысы, если не пожелать выкупаться: какъ только

---

[1]) Ко мнѣ приходилъ однажды старикъ—просить книгу Пандока.— На что тебѣ Пандокъ? спросилъ я. «Тамъ, сказали мнѣ, отвѣчалъ онъ, есть такая-то исторія (разсказанная о картофелѣ), да въ Баронія. Баронія три книги я прочелъ, а объ картофелѣ ничего не нашелъ»—Ну и въ Пандокѣ, прервалъ я, ты ничего не найдешь, и успокоилъ его.

кто-нибудь выговоритъ слово это, то онъ тотчасъ же набираетъ въ ротъ воды или беретъ ковшъ, ведро съ водой, и обдаетъ съ ногъ до головы своего врага, хотя бы это было зимой и посреди улицы. Если тотъ уходилъ, то онъ не забывалъ мести своей, а отплачивалъ ему поливкой позже, даже на другой или третій день.

Въ послѣднихъ двухъ случаяхъ, я думаю, нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что это просто блажь, дурь или шаль, закоренѣлая отъ первоначальной повадки. Людямъ нравится дѣлать безнаказанно то, чего никто другой дѣлать не смѣетъ.

X

БЛАГОДѢТЕЛЬНИЦЫ

«Варвара Ивановна скончалась», — сказалъ одинъ изъ собесѣдниковъ: — царство ей небесное; добрая и предобрая была душа, почтенная женщина; всѣ, кто только зналъ ее, всѣ ее уважали.»

— И я также, — отозвался другой:—и я уважалъ ее, потому что за нею точно были добрыя качества, но еслибъ это могло послужить въ назиданіе живымъ, то я бы больно разбранилъ покойницу.

— Какъ такъ? за что? помилуй, не она ли взяла съ улицы двухъ несчастныхъ сиротъ, облагодѣтельствовала ихъ кругомъ, кормила, одѣвала, воспитала, наставила,—воля твоя, а одно это дѣло стоитъ того, чтобы память ея была почтена и уважена.

— Да,—отвѣчалъ тотъ же:—я все это знаю, и все это такъ, отъ слова до слова. Она именно приняла двухъ сиротъ съ улицы, въ полномъ смыслѣ слова безъ куска хлѣба, и эти несчастные, не знавшіе до того другъ друга, сошлись въ домѣ своей общей благодѣтельницы и сдѣлались названными братомъ и сестрой. Она ничего не щадила для нихъ; они не только

нужды не знали, но жили и росли, какъ у Христа за пазухой, въ холѣ и полномъ довольствѣ. Это правда.

— Ну, такъ чего жъ тебѣ еще?

— А вотъ чего: Варварѣ Ивановнѣ досталось отъ покойнаго мужа порядочное имѣніе, душъ полтораста, да еще каменный домъ, который давалъ тысячъ десять, да еще осталось чистыми деньгами, какъ сама она сказывала, подъ сотню тысячъ. По смерти мужа, покойница, какъ генеральша, и при томъ какъ женщина умная и разсудительная, не только продолжала жить попрежнему открыто, но даже раздвинулась еще пошире, не заботясь о томъ, что у мужа былъ доходъ, котораго у нея нѣтъ, что мужъ былъ разсчетливый хозяинъ, а она—не тѣмъ будь помянута — умѣла проживать, да не умѣла наживать; что все состояніе ея, при порядочномъ управленіи, можетъ дать до семи или восьми тысячъ серебромъ въ годъ; что это состояніе весьма хорошее — но что при всемъ томъ надо по одежкѣ протягивать ножки, идти впередъ и оглядываться назадъ; она заботилась только объ одномъ: какъ бы придумать, лишь Божій день настанетъ, новую и опять новою причуду или затѣю, увѣряя себя и воспитанниковъ своихъ, что безъ этого жить нельзя на свѣтѣ, и называя такого рода жизнь самою бѣдною, ограниченною, и жалуясь всегда на недостатокъ. Разумѣется, что она вскорѣ свела домокъ въ одинъ уголокъ, и, какъ говорится, спохватилась чепца, когда ужъ не стало и головы. Карета не карета, лошади не лошади — все отборное, щегольское, день деньской двадцать человѣкъ за столомъ, прислуги въ домѣ — хоть ими мосты мости, нѣсть числа; дачи, театры, поѣздки всѣмъ домомъ туда и сюда; безъ этого нельзя ей, она бы безъ этого и на свѣтѣ жить не могла; при томъ беззаботливость о хозяйствѣ, гдѣ каждый могъ воровать, сколько душѣ угодно, — словомъ, мы огли-

нуться не успѣли, какъ порѣшили все. Послѣ насъ остались долги, долги и долги да нѣкогда дорогое отрепье.

«Теперь обратимся къ сиротамъ, которыхъ она призрѣла и спасла отъ погибели, и, не спорю, можетъ быть, даже отъ голодной смерти. Они выросли какъ княженята; о нуждѣ и бѣдности читали они въ дѣтскихъ книжонкахъ, такъ же точно, какъ о греческихъ божествахъ, которыхъ знаютъ наперечетъ; но то и другое для нихъ сказки; имъ во снѣ не видѣлось, чтобы нужда могла когда-нибудь коснуться ихъ самихъ; что вздумали, что захотѣли — все есть, и при томъ все лучшее, все самое дорогое и рѣдкое, а всего простого и дешеваго пріучили ихъ чуждаться, пренебрегать имъ, какъ дѣломъ постыднымъ. Что человѣкъ можетъ быть сытъ щами и кашей — не говорю уже коркой хлѣба и ковшомъ воды—и что даже эту пищу долженъ онъ напередъ заслужить и заработать, — объ этомъ нѣтъ ни слова ни во французскомъ самоучителѣ, ни въ способѣ или образѣ воспитанія гувернера, ни въ направленіи, которое дано было этому воспитанію самою Варварою Ивановною. Что можно или даже должно наслаждаться, и при томъ быть всегда недовольнымъ тѣмъ, чѣмъ Богъ взыскалъ, — этому научились они рано; а что должно работать, трудиться и нуждаться,—объ этомъ слышали и думали они менѣе, чѣмъ о жителяхъ луны. Но вдругъ благодѣтельница умираетъ; ея нѣтъ. Чѣмъ бы все это кончилось и какъ разыгралось, еслибы она прожила еще десять лѣтъ,— не знаю; но ея нѣтъ. Заимодавцы однакоже тутъ, и полиція также; она замыкаетъ и печатаетъ цѣлый рядъ великолѣпныхъ комнатъ, оставивъ только двѣ свободными: одну, гдѣ живутъ дѣти, другую, гдѣ лежитъ на столѣ покойница... дѣлаютъ разсчетъ, продаютъ съ молотка и движимое и недвижимое—въ остаткѣ долги, которыхъ никто не заплатитъ; на лицо одинъ

только недочетъ; вещей и денегъ нѣтъ, о каретахъ, театрѣ и устрицахъ нѣтъ и рѣчи: только хлѣбъ да вода, да и то христа-ради, отъ добрыхъ людей... Обманутые заимодавцы разошлись, почесавъ затылки, и дѣло, въ судебныхъ и другихъ мѣстахъ, зачислено рѣшеннымъ. Оно въ свое время сдается при описи въ архивъ. Но гдѣ же наши сироты? Можете ихъ взять на свое попеченіе, господа, кому угодно — но только прошу не забывать, что вы должны держать ихъ по-княжески, а не такъ, какъ вы, можетъ быть, держите своихъ дѣтей, если вы благоразумный человѣкъ; сиротъ этихъ надо поутру поить какимъ то особеннымъ шоколадомъ, который можно получать у одного только Излера, куда недавно привезена особая машина изъ Парижа для выдѣлки шоколада; имъ надобно подавать къ завтраку котлетку, составленную, если не ошибаюсь, пополамъ изъ грудинки цыпленка и тетерева; при томъ котлета эта предварительно обнюхивается и разсматривается на свѣтъ маменькой, а затѣмъ и дѣтьми, которыя, не чая въ этомъ никакого худа, нерѣдко объявляютъ, что котлета сегодня неудачно состряпана, и потому требуютъ другой, —и желаніе ихъ поспѣшно исполняется; если они пожалуются на повара, то его наказываютъ или долго бранятъ; однимъ словомъ, нѣтъ конца причудамъ, которыя какъ будто съ намѣреніемъ, съ большимъ стараніемъ, поселены и развиты въ этихъ несчастныхъ, облагодѣтельствованныхъ покойною Варварой Ивановной дѣтяхъ. Но я уже сказалъ вамъ, что благодѣянія ея кончились; что же ей дѣлать — изъ-за-гроба нѣтъ голоса, ни власти; она сдѣлала, что могла, не щадя ничего — теперь, господа, пришла наша очередь; дѣти эти, уже полувзрослыя, опять на улицѣ, опять ждутъ своего благодѣтеля... Но какая разница, что они нѣкогда были, и что они теперь? Тогда они просили

только насущнаго куска хлѣба; отдавъ ихъ въ любое учебное заведеніе, даже на выучку къ ремесленнику, куда хотите, вы бы уже оберегли ихъ и пристроили; теперь, напротивъ... да теперь, хоть лобъ взрѣжь, я ничего не придумаю, не вижу самой возможности, какъ и куда ихъ пристроить и дѣвать, что съ ними дѣлать, чтобы не вышло изъ нихъ отчаянныхъ негодяевъ, или чтобы они, по крайней мѣрѣ, не считали себя отнынѣ и впредь до вѣку самыми несчастными созданіями въ мірѣ, жертвами того и сего,—словомъ, чтобы они когда-нибудь могли порадоваться жизни своей, какъ Богъ велѣлъ, и быть полезными членами гражданскаго общества... Вотъ вамъ благодѣянія Варвары Ивановны; остается, господа, вывести сиротъ изъ пріемышей ея какъ можно скорѣе въ князья, и при томъ въ такіе князья, которые бы могли жить, очертя голову, не заботясь ни о чемъ. Иначе я пособить имъ не умѣю. Въ одномъ титулѣ имъ бы мало было пользы.»

— Правда,—сказалъ другой собесѣдникъ:—избави насъ Богъ отъ такихъ благодѣтельницъ. Это напоминаетъ мнѣ одну солдатку, у которой сынъ былъ, какъ водится, кантонистомъ—мальчикъ видный и здоровый, болванъ почти съ меня ростомъ.—Она занималась стиркой бѣлья поштучно, и тяжкимъ трудомъ вырабатывала довольно бѣдное содержаніе свое; не менѣе того, она, изъ любви къ сыну, отказывала самой себѣ во всемъ, а его постоянно кормила калачами, радуясь до слезъ, когда этотъ малютка приходилъ къ ней день-за-день голодный, увѣряя, что онъ сегодня еще ничего въ ротъ не бралъ, потому что никакъ не можетъ ѣсть казеннаго ржаного хлѣба; она встрѣчала его калачомъ и провожала другимъ, хотя иногда сама не знала, что будетъ ѣсть на другой день. Сынъ, какъ само собою разумѣется, мать свою не ставилъ въ грошъ,

и знался съ нею потому только, что избушка ея была ему притономъ и запасомъ для калачей. Когда разъ какъ-то у нея не стало гривны на калачъ—котораго, скажемъ мимоходомъ, она вообще сама никогда не ѣла, а довольствовалась дурнымъ ржанымъ хлѣбомъ—когда, говорю, болванъ этотъ разъ проходился даромъ домой, и вмѣсто калача засталъ однѣ только горячія слезы неутѣшной матери, то онъ ей наговорилъ такихъ вещей, которыхъ, право, не хочется и пересказывать.— Что ты дѣлаешь, сказалъ я ей, развѣ ты не видишь, куда ты его ведешь? Вѣдь изъ него современемъ выйдетъ бѣдовый негодяй; ему быть солдатомъ, это ты знаешь, и этого не миновать; ну, откуда же онъ послѣ возьметъ калачи эти, когда тебя не станетъ?—«Чтожъ, пусть, по крайней мѣрѣ, когда вспомнитъ меня», отвѣчала она, и продолжала кормить его калачами. Къ несчастію, я ей напророчилъ правду: сынъ ея пошелъ было по службѣ довольно хорошо, онъ попалъ въ писаря и очень скоро произведенъ былъ въ унтера; но какъ онъ отнюдь не могъ укусить ржаного ломтя, а казна калачами не кормитъ, то ему и надо было, во что бы ни стало, добывать вмѣсто казеннаго пайка свой, и при томъ по своему вкусу. Онъ испыталъ для этого многое: выпрашивалъ, занималъ, обманывалъ, но, встрѣтивъ разныя неудачи, пустился прямо и просто на воровство. Попавшись разъ, другой и будучи наказанъ и разжалованъ, онъ, правда, вспомнилъ мать, но только такимъ образомъ, что ей, бѣдной, вѣрно отъ этого помину не лежалось спокойно даже и въ могилѣ. Проклиная ее, онъ пустился во всѣ нелегкія и вышелъ, какъ говорится, пропащій человѣкъ.

«Но возвратимся къ покойной Варварѣ Ивановнѣ. Скажите жъ, ради Бога, какъ могла умная женщина сдѣлать такую непростительную глупость? Я надѣюсь, вы согласитесь, что она не была глупой женщиной?

Она въ свѣтѣ слыла даже очень умною и образованною.»

— Пожалуй, соглашусь: умъ уму рознь. Она жила и выросла въ большомъ свѣтѣ, и весь умъ ея засѣлъ навѣки въ тѣ кандалы, которыя набиваютъ ему въ кругу этого общества. Какое-нибудь глупое, безсмысленное приличіе, условный обычай, не стоящій ни гроша, цѣнится этими людьми выше всѣхъ благъ земныхъ и—чуть ли не небесныхъ. Кто до такой степени рабъ, холопъ большесвѣтскихъ причудъ, чванства, пустоцвѣта и пустозвона, тотъ глядитъ на вещи не своими глазами, и судитъ уже подобно не своимъ умомъ. У него умъ въ кабалѣ у праздной толпы, у черни въ шелку и въ золотѣ, а эта чернь несравненно хуже черни въ зипунѣ.

— Хорошо; но я бы желалъ знать — я вовсе не могу себѣ представить этого — что такое думаетъ человѣкъ, когда живетъ такъ, какъ жила покойница, какого онъ ждетъ конца, какого спасенія чаетъ отъ петли? Какъ можно проживать капиталъ, брать запросто изъ сундука, какъ изъ колодца, не разсчитывая доходовъ и не думая о будущности?

— Это опять то же; и это найдешь ты въ такъ называемомъ большомъ свѣтѣ или у людей, которые хотятъ ему подражать. Это мотыги самые безстыдные, безсовѣстные и вредные: мишура или блестка на сегодня имъ дороже, чѣмъ кусокъ хлѣба на завтра. Есть—такъ они мотаютъ; нѣтъ — такъ занимаютъ; не даютъ, такъ плачутъ. Бываетъ и то — и это не меньшая бѣда — что люди не умѣютъ ни въ чемъ себѣ отказывать, потому что къ этому не привыкли, такъ же точно, какъ ни одинъ человѣкъ не можетъ отказать себѣ въ пищѣ: они тутъ разницы не видятъ никакой, и сравненіе это показалось бы имъ въ полной мѣрѣ приличнымъ и умѣстнымъ. Но кромѣ тщеславія и не-

насытной жадности этой есть качество, ведущее на тотъ же путь или распутье: бываютъ люди до того легкомысленные, опрометчивые, безразсудные и безпорядочные, что они безъ няньки или дядьки жить не могутъ. Называйте ихъ умными, коли можете составить себѣ такое понятіе объ умѣ, которое бы вязалось съ понятіемъ объ отсутствіи всякой разсудительности; свѣтъ весьма не рѣдко называетъ ихъ умными. Но оставимъ это и возвратимся лучше къ сиротамъ; скажите же, что изъ нихъ выйдетъ? Какая судьба ихъ ожидаетъ?

«Это можетъ разыграться различнымъ образомъ — почемъ знать, чего не знаешь? — но, къ сожалѣнію, гораздо болѣе вѣроятности, что дѣло кончится дурно. Во первыхъ, пріемышамъ предстоятъ теперь два-три года страшнаго искуса, отъ которыхъ ихъ никто не избавитъ: они будутъ бродить это время какъ въ чаду, проливая день-за-день горькія слезы по своей благодѣтельницѣ и почитая себя самыми несчастными существами въ мірѣ. Имъ не пойдетъ въ голову ничего, они отупѣютъ, и это нравственное пораженіе повлечетъ за собою изнеможеніе плоти, хилость. Жизнь дана намъ на радость—а здѣсь искаженное воспитаніе, превратное образованіе ума и сердца превратятъ ее въ печаль. Между тѣмъ, по закону природы, придетъ время самостоятельности—а ея-то и нѣтъ у нихъ. Дѣвочка очень легко можетъ быть совращена на путь самый дурной: роскошь, какъ потребность для нея, легко увлечетъ ее за собою туда, куда будетъ манить, обѣщая блескъ и довольство; мальчикъ, который еще годомъ старше названной сестры своей, вѣроятно, долженъ будетъ—куда ему больше дѣваться?—поступить куда-нибудь на службу; тщеславіе повлекло бы его въ гусары или уланы, потому только, что онъ смолоду привыкъ считать наружный блескъ существен-

нымъ дѣломъ; но недостатокъ средствъ не дозволитъ ему идти въ конницу. Вѣроятно, онъ и пѣхоту предпочтетъ службѣ гражданской, о которой говоритъ не иначе, какъ съ презрѣніемъ; положимъ, что онъ вступитъ на дворянскихъ правахъ — какой изъ него выйдетъ офицеръ? Онъ десять разъ сряду попадется въ небреженіи къ службѣ, потому что для изнѣженнаго, избалованнаго тѣла хола и удобство всего дороже; служба ужъ, конечно, будетъ намъ не по нутру, а думаемъ мы только о томъ, какъ бы поскорѣе шпорами брякнуть по паркету; вотъ наша служба! Кромѣ того намъ никакъ нельзя будетъ жить барономъ — пыль въ глаза пустить надо, это одна только благородная, истинная цѣль жизни; коли не прихвастнуть, то чѣмъ же болѣе и повеличаться? Чѣмъ отдалиться отъ толпы? Лишь бы кто намекнулъ, что надо бы кутнуть, то мы тотчасъ же пустимъ ребромъ и свое и чужое; не цѣня, не уважая своей собственности, мы подавно не можемъ уважать и чужой; для насъ все трынъ-трава, и мы проповѣдуемъ, что стыдно заботиться о такихъ пустякахъ, какъ деньги, и въ особенности, стыдно требовать, чтобы человѣкъ платилъ долги. Попадись ему затѣмъ въ руки деньги казенныя — и онъ ихъ такъ же точно пробаронитъ, и заплатитъ за нѣсколько буйныхъ ночей своею честью, какъ названная мать заплатила будущностью своихъ питомцевъ. При всемъ томъ, если хочешь, можешь назвать умнымъ и его, какъ покойницу Варвару Ивановну: способностями Богъ его наградилъ, кой-какія поверхностныя познанія есть, по-французски мы болтаемъ свободно, разсуждать умѣемъ обо всемъ; но куда и къ чему бы мы пригодились на бѣломъ свѣтѣ, кромѣ дармоѣдства, — этого я не знаю; а еслибъ подъ каблуками хлѣбъ росъ, то мы бъ его въ мазуркѣ посѣяли много.

«Въ Москвѣ жила когда то извѣстная благодѣтель-

ница, которая, какъ общая молва ходила, посвятила и себя, и почти все состояніе свое воспитанію безпріютныхъ сиротъ. Она ихъ набирала по два и по три почти ежегодно, кормила, одѣвала, обувала, учила и воспитывала, содержа для этого постоянно наставниковъ. Когда двое или трое изъ этого домашняго благотворительнаго заведенія были на выпускѣ, то устраивался праздникъ, великолѣпное торжество, къ которому приглашалась бездна гостей; ученики и ученицы на испытаніи показывали изумительные успѣхи, то есть говорили блистательныя рѣчи, особенно на иностранныхъ языкахъ, плясали прелестно самые модные танцы, подносили картины съ подписью своихъ именъ, большею частію работы учителя или учениковъ одного изъ заведеній, гдѣ преподавалъ тотъ же учитель; многіе пѣли, играли на фортепіано и прочее. Разспросите же теперь и узнайте, куда дѣвались эти облагодѣтельствованные, и что изъ нихъ вышло? Я считаю того изъ нихъ счастливымъ, о комъ ничего неизвѣстно, кто заглохъ въ молвѣ и гдѣ-то пропалъ безъ вѣсти; остальные, къ сожалѣнію, каждый въ свою очередь, были извѣстны не только въ тѣсномъ кругу своемъ, но ославились даже на половину Москвы. Благодѣтельница горько плакалась на неблагодарность ихъ, и оплакивала поочередно, годъ-за-годъ, почти всѣхъ своихъ пріемышей; но это ее нисколько не могло вразумить, она все опять набирала ихъ снова и вела тѣмъ же путемъ: она, во первыхъ, забывала, изъ какого состоянія они взяты, и что ихъ ожидаетъ въ будущности; во вторыхъ, любила ихъ очень—но любила какъ мосекъ, обезьянъ, попугаевъ,—то есть безсмысленно, безсознательно, и потому губительно. Въ третьихъ, она ихъ держала собственно ради скуки и своей забавы. Всѣ потребности образованія разсчитывались по этому мѣрилу, и мгновенная прихоть всегда рѣшала приказъ и

отказъ, потому что одна только причуда управляла этою странною женщиной. Дѣти шаркали по паркету, валялись по персидскимъ коврамъ, носили бѣлье голландскаго полотна и обѣдали за однимъ столомъ съ хозяйкой,—и столъ этотъ всегда былъ отборный; дѣтямъ всего болѣе и чаще доставалось за то, чтобы они умѣли вести себя прилично, то есть достойно того дома, гдѣ они воспитываются; но вдругъ благодѣтельницѣ мерещилось, что они забываются, что они неблагодарны и зазнаются: тогда ихъ осыпали жестокими укорами, грызли голову, упрекали въ нищенскомъ ихъ происхожденіи, и на нѣсколько дней одѣвали въ армяки, обували въ лапти и ссылали въ людскую. Вскорѣ гнѣвъ смѣнялся милостію, и они снова попадали въ любовь, особенно по просьбѣ любимой горничной барыни, и ихъ одѣвали графчиками, и опять сажали за боярскій столъ. Лгать и воровать всѣ они выучивались основательно въ этомъ заведеніи своей благодѣтельницы, потому что вынуждены были угождать на людей, быть за-одно съ прислугой и съ негодяями, приставленными для ихъ воспитанія. Куда послѣ того, съ такими началами, дѣваться бѣлоручкѣ, у котораго нѣтъ ни прошедшаго, ни будущаго? Куда дѣваться, съ полькой и французской кадрилью, дочери какого-нибудь умершаго комиссара 13 класса? Куда другому молодому человѣку, у котораго были въ живыхъ только тетка просвирня, да пьяный дядя, торговавшій на рогожѣ желѣзнымъ ломомъ—между тѣмъ какъ племянникъ этотъ вышелъ отборнымъ франтикомъ, мечтавшимъ уже нѣсколько лѣтъ, подъ кровомъ благодѣтельницы своей, о томъ только, какъ онъ будетъ перемѣнять перчатки по мастямъ, смотря по времени дня, и какъ онъ будетъ носить такіе сапоги, которые ровно ни чѣмъ не отличаются отъ дамскихъ бальныхъ башмачковъ? Куда дѣваться имъ, и что изъ нихъ выйдетъ?

«Подумайте объ этихъ благодѣтельницахъ, господа, и коли у васъ есть между ними знакомыя, то облагодетворите ихъ самихъ передачею слово въ слово нашего сегодняшняго разговора».

XI

РУКАВИЧКИ

Меня однажды рукавичка такъ сытно и хорошо, да такъ кстати накормила, что я каждый разъ, когда бываю голоденъ, или когда столъ мой слишкомъ дуренъ, вспоминаю рукавичку.

Когда я служилъ въ полку, у меня былъ добрый лихой товарищъ, Закраинъ. Мы съ нимъ были очень дружны; разставаясь, онъ подарилъ мнѣ на прощанье пару вязаныхъ рукавичекъ, съ оторочкой и прошвами, особенной и отлично хорошей работы. Это было зимой, и рукавички пошли тотчасъ въ дѣло, на дорогу.

Въ ту же зиму случилось мнѣ, вовсе неожиданно, ѣхать въ иной путь-дороженьку, и со мною опять были эти же рукавички. Въ пасмурный, холодный осенній день, проголодавшись какъ волкъ, я пріѣзжаю на станцію часу въ четвертомъ; спрашиваю ѣсть, и слышу, что, по случаю великаго поста, кромѣ самаго дурного хлѣба, нѣтъ ровно ничего, ни даже пустыхъ щей! Боже мой, какъ я упалъ духомъ: не ѣвши съ утра, я весь день мысленно зарился на превосходный обѣдъ, который, по моему разсчету, ждалъ меня на этой станціи, гдѣ, какъ мнѣ сказали, былъ хорошій обѣдъ,

и — остался не при чемъ. Разогорченный, приказываю я закладывать и поневолѣ рѣшаюсь ѣхать голоднымъ дальше.

Въ это время бѣжитъ съ господскаго двора слуга и торопливо разспрашиваетъ, кто таковъ проѣзжій, и потомъ обращается ко мнѣ съ вопросомъ, не потерялъ ли я рукавички? Я спохватился, сказалъ:—потерялъ.— «Такъ вы ее обронили проѣздомъ у господскаго двора, продолжалъ слуга, и барышня, то есть барыня, приказала узнать, отъ кого она вамъ, сударь, досталась?» — Отъ одного офицера; да что же это значитъ, любезный?

Слуга мыкался туда-сюда, и наконецъ сказалъ мнѣ, что рукавички эти работы его барышни, которая ихъ подарила своему брату, а потому оставила ихъ у себя, и господа прислали просить проѣзжаго офицера къ себѣ. Оказалось, что я былъ въ помѣстьѣ родителей Закраина. Отецъ самъ вышелъ на эти объясненія и, узнавъ, что я старый товарищъ и сослуживецъ сына его, неотступно приглашалъ меня къ себѣ, увѣряя, что мать и дочь непремѣнно должны меня видѣть. Я, разумѣется, пошелъ—и, не говоря уже о нѣсколькихъ пріятныхъ часахъ, проведенныхъ мною въ обществѣ родителей Закраина и милой сестры его, меня угостили, между прочимъ, такимъ деревенскимъ обѣдомъ, какого я отъ роду не видывалъ и умру не увижу.

— Потому, — подхватилъ другой, — что ты былъ голоденъ. Очень понятно. Такъ я же тебѣ разскажу, какъ рукавичка накормила голоднаго польскаго гайдука, и накормила такъ, что гайдукъ остался столько же доволенъ, какъ и ты, если не болѣе.

«Знакомый мнѣ польскій панъ, одинъ изъ самыхъ роскошныхъ вельможъ тогдашней Польши, держалъ между прочимъ нѣсколькихъ гайдуковъ, молодцовъ на подборъ, въ казачьей одеждѣ, которые поочередно

ѣзжали съ нимъ на запяткахъ. Ихъ называли также иногда казаками, а также рейтарами, потому что они нерѣдко провожали господъ верхами. Къ щегольской одеждѣ ихъ принадлежали также замшевыя перчатки, съ огромными раструбами, четверти въ полторы. Лѣтомъ графъ ѣзжалъ почти каждый день изъ Варшавы въ свою ближнюю деревню, гдѣ былъ у него домъ со всевозможными удобствами. Иногда онъ и обѣдывалъ тамъ и приглашалъ туда гостей.

«Прокатившись двѣ съ половиною мили на запяткахъ или протрясшись верхами, огромные гайдуки пріѣзжали въ загородный домъ всегда голодные какъ волки, и по привычкѣ къ блюдолизничеству, каждый разъ надоѣдали поварамъ неотвязчивыми своими просьбами, — дать чего-нибудь закусить! Хоть днемъ, хоть ночью, хоть въ полдень, хоть на зарѣ, когда бы ни прибылъ графъ, всегда, во всякое время, провожатый гайдукъ его отправлялся прямо на кухню и здоровался съ поварами до тѣхъ поръ, пока ему ставили какое-нибудь вчерашнее блюдо, которое онъ и очищалъ до чиста.

—«А чтожъ, — сказалъ, по своему обычаю, гайдукъ, утирая потъ съ лица:—закусочка будетъ?

—«Поди ты, пожалуйста,— отвѣчалъ поваръ: — не до пана теперь; надо графу сейчасъ завтракъ отправлять.

—«Да пожалуйста же,—продолжалъ гайдукъ, бросивъ свою перчатку на столъ...— я ужъ, право, такъ и надѣялся на пана, не успѣлъ дома закусить.. такъ заторопили... зато съѣмъ за здоровье пана!

—«Ладно, ладно, приходи черезъ полчаса: теперь некогда.

«Гайдукъ, поблагодаривъ, вышелъ.

«Выживъ на время докучливаго гостя, поваръ обрадовался случаю, чтобы надъ нимъ подшутить: онъ

взялъ замшевую перчатку съ раструбомъ, искрошилъ ее въ лапшу, надлежащимъ образомъ приготовивъ, сварилъ, облилъ масломъ и какою-то бурой подливкой съ приправами и подалъ снова вошедшему гайдуку.

—«Вотъ тебѣ,—сказалъ онъ:—лапша изъ рубцовъ: славное блюдо!

«Гайдукъ очистилъ все, до послѣдней лапшинки и, подобравъ ложкой по краямъ всѣ остатки вкусной подливки, всталъ, поблагодарилъ, утерся и, оглядываясь, чего-то искалъ.

—«Чего панъ ищетъ? спросилъ поваръ.

—«Да я никакъ тутъ перчатку свою оставилъ, да не видать ея что-то

—«Какую перчатку? вашу, рейтарскую?

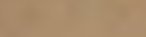
—«Да, вотъ пару къ этой: не маленькая, кажись, не завалится...

—«Чудакъ, панъ!... да что́ жъ ты ѣлъ?

—«Какъ что?... рубцы!...

—«Ну да, рубцы!... Ты перчатку-то свою и съѣлъ, какъ была, съ рубцами, со всѣмъ!

«Гайдукъ разинулъ ротъ, поглядѣлъ на повара, оглянулся еще недовѣрчиво кругомъ; но когда кухмистеръ повторилъ ему, побожившись, что онъ точно съѣлъ перчатку всю, безъ остатка, и что оглядываться нечего,—не осталось отъ нея ни ремешка,—то бѣдный гайдукъ молча вышелъ, поглаживая себя по брюху, провожаемый общимъ смѣхомъ поварскихъ помощниковъ и поваренковъ.»



XII

НЕПРАВЕДНО НАЖИТОЕ

Потовая копѣйка человѣка до вѣку бережетъ, а неправедно нажитое впрокъ нейдетъ: какъ что пришло, такъ и ушло. Что ни разсуждайте объ этомъ, какъ ни толькуйте о суевѣріи — но оно такъ. Оглянитесь вокругъ себя, да сочтите ихъ по перстамъ, людей этихъ, и вы скажете: довольно странно—однакожъ почти такъ выходитъ!

Жилъ-былъ добрый малый и хорошій товарищъ, какъ называютъ иногда людей этихъ, покуда они еще молоды,—и былъ онъ извѣстенъ въ кругу своемъ тѣмъ что ему всегда и во всемъ служило счастье: знать, онъ его закабалилъ Бывало съ неимовѣрною дерзостью садится онъ на неука, либо на жеребца съ норовомъ, который ссаживалъ съ себя разъ-въ-разъ и не такихъ ѣздоковъ-самоучекъ, какъ онъ; глядишь: лошадь пошла какъ пошла, только фыркаетъ да вертитъ хвостомъ... Бывало туда жъ, какъ за споромъ дѣло станетъ, бросается зря затормозить колыску на бѣгу; сила была въ немъ, какъ и во всякомъ молодомъ и здоровомъ человѣкѣ, но не такая жъ сила, чтобъ изломать медвѣдя — но онъ останавливалъ коляску, ко-

торая бъ иного на его мѣстѣ колесовала и изломала. Въ карты онъ игралъ плохо, такъ что товарищи, труня надъ нимъ, увѣряли, что такимъ игрокамъ надо бы указомъ запретить играть; но счастье везло ему, и онъ всегда выигрывалъ. Будучи безъ состоянія, онъ сдѣлался вовсе неравнодушнымъ къ этому счастью, старался пользоваться имъ, сколько было можно, вовлекался постепенно въ игру, пристрастился къ ней и наконецъ сдѣлался несчастнымъ картежникомъ. Онъ, играя и отыгрываясь, перешелъ отъ отборныхъ игръ къ азартнымъ и просиживалъ за ними, въ безобразнѣйшемъ видѣ, по нѣскольку дней и ночей сряду. Чего съ нимъ не бывало! Разсказывать, такъ не будетъ и конца: садясь за зеленую кузницу съ одною только бѣлою бумажкой — блаженныя памяти — онъ вставалъ изъ-за него, забастовавъ черезъ полчаса, словно казначей или квартирмейстръ въ началѣ трети, съ туго набитымъ карманомъ — и тогда шла пирушка на пропалую, цѣлую недѣлю; придержавъ мимоходомъ къ чужой картѣ мазу занятый полтинникъ, онъ съ разсвѣтомъ уѣзжалъ домой въ коляскѣ четверней, съ кучеромъ, вершникомъ и запятникомъ; но иногда впрочемъ и ему случалось быть съ вечера богаче полкового командира, а къ утру сидѣть въ раздумьи о томъ, у кого бы занять пару поношенныхъ тиктиръ или рейтузъ...

Такая превратность судьбы ему надоѣдала; давненько уже бродило у него что-то темное въ головѣ о томъ, какимъ бы способомъ взять счастье поосновательнѣе въ кабалу, такъ, чтобъ оно безъ спросу не смѣло отлучаться? Тутъ попался подъ руку лихой и отчаянный малый, смышленый, опытный и тертый перетертый, который, какъ всѣмъ было извѣстно, достигъ того, чего добивался нашъ герой, то есть онъ захолопилъ себѣ счастье; но его постигла другая бѣда:

никто не хотѣлъ съ нимъ играть. Изъ этихъ-то двухъ счастливцевъ вскорѣ составился одинъ: покорное счастье передано было въ нѣсколько ночныхъ уроковъ съ рукъ на руки, и *липокъ*, *коробочка*, *боченокъ*, *крапъ*, *наколъ*,— все это искусно пущено въ ходъ, и при томъ такъ неожиданно для другихъ, что не успѣли опомниться, не только принять обычныхъ въ подобномъ случаѣ мѣръ, какъ добрый малый мой, сказавъ спокойно: баста, — всталъ, загребъ со стола цѣлый капиталъ и прибавилъ къ этому, оборотившись къ зрителямъ: «и баста навсегда: я во всю жизнь не прикоснусь болѣе ни къ одной картѣ.» Отвѣты были на это разные; но добрый малый не шутилъ: онъ убѣдился уже, что счастье коловратно и, пріобрѣтши внезапно огромную сумму, которая съ избыткомъ обезпечивала человѣка на всю его жизнь, рѣшился взяться за умъ. Съ этого времени онъ сдѣлался, изъ бывшаго добраго малаго, очень порядочнымъ человѣкомъ, не пилъ, не пьянствовалъ по крайней мѣрѣ, картъ не бралъ въ руки, и жилъ очень прилично. О товарищѣ его не будемъ и говорить: тотъ, получивъ свою небольшую дозу, пустился въ кутежъ, билъ жидовъ, пилъ и перепаивалъ другихъ, билъ посуду въ трактирахъ и великодушно платилъ за нее—и, недѣли черезъ двѣ или три, пришелъ опять на прежнюю точку замерзанія или на денежный экваторъ.

Прошло уже много лѣтъ, и бывшій добрый малый, сдѣлавшись прекраснымъ семьяниномъ, жилъ въ отставкѣ въ Москвѣ, купивъ по близости небольшое имѣніе, только для славы помѣщика, впрочемъ, жилъ оборотами своего капитала, отдавая деньги въ ростъ подъ вѣрные залоги. Доходы у него были большіе, жить онъ любилъ и умѣлъ — хлѣбъ-соль на столѣ и двери настежь, это было его утѣшеніе. И кто жъ ему закажетъ? Онъ не проматывался, онъ, напротивъ,

годъ отъ году наживалъ, но при всемъ томъ жилъ привольно и раздольно, потому что было чѣмъ. Большому кораблю большое и плаванье, говорили съ завистію сосѣди, — а пріятели, которые считались толпами, хвалили и превозносили его, полагая, что у такого благоразумнаго и разсчетливаго хозяина имъ еще много, много разъ на вѣку доведется обѣдать и ужинать.

Разъ, какъ-то—кажется, въ именины жены своей,— нашъ бывшій добрый малый созвалъ много людей. Хлѣбосольная Москва не отказывается и отъ посѣщеній, и за гостями дѣло не стало. Шумный, веселый, изобильный и радушный вечеръ приходилъ уже почти къ концу, когда къ заботливому до гостей своихъ и вѣжливому хозяину подошелъ молодой человѣкъ и попросилъ его къ какой-то знаменитой въ то время на всю Москву старухѣ, извѣстной, между прочимъ, въ особенности тѣмъ, что никогда не платила бездѣльныхъ карточныхъ долговъ своихъ; если же ей неудобно было почему-либо отдѣлаться принятымъ въ такихъ случаяхъ словечкомъ: «за мною», и отправиться во-свояси, то она призывала хозяина дома и заставляла его безъ обиняковъ расплачиваться. Нашъ хозяинъ нисколько не усомнился въ причинѣ призыва его и, подходя поспѣшно къ тому столу, запустилъ уже руку въ боковой карманъ. Но при немъ была только сотенная бумажка, тогда какъ старуха проиграла и всего-то рублей семь; онъ вынулъ ее и спросилъ у того, кто выигралъ эти несчастные семь рублей: «у васъ можетъ быть нѣтъ сдачи?»—и на отвѣтъ: не будетъ, я думаю — извинился, обѣщалъ тотчасъ же принести деньги и пошелъ въ свою комнату, которая была на самомъ концѣ дома, одна изъ послѣднихъ.

Вошедши туда, онъ остановился въ недоумѣніи: надобно же этой каргѣ теперь проиграть на хозяйскій

счетъ эти семь рублей, когда тутъ передъ денежнымъ шкапомъ моимъ раскинутъ столъ, и люди занимаются не семью рублями, а десятками тысячъ. Онъ подошелъ въ недоумѣніи къ столу и вертѣлъ сотенную ассигнацію въ рукахъ.—«Господа,—сказалъ онъ наконецъ:—я не знаю, какъ быть, извините—Марья Орефьевна проиграла тамъ семь рублей и требуетъ ихъ съ меня,—всѣ захохотали; — а у меня вотъ только сотенная; деньги въ этомъ шкапу, тревожить васъ совѣстно, — развѣ вотъ что,—сказалъ онъ, обратившись къ банкомету:— размѣняйте мнѣ пожалуйста бумажку.—Вотъ, — отвѣчалъ тотъ, покосившись на него черезъ золотыя очки: а еще старый игрокъ! когда же тебѣ банкометъ станетъ мѣнять? На свою голову, что-ль? Это извѣстное дѣло, что мѣнять деньги приноситъ несчастье банку; а ты лучше поставь, такъ вотъ и размѣняемъ. — Поставьте, Иванъ Дмитріевичъ, поставьте карточку,— раздалось со всѣхъ сторонъ—потѣшьте гостей своихъ!— Господа, я не играю,—сказалъ хозяинъ,—это вы всѣ знаете.—Да нужды нѣтъ, ну, для шутокъ, ради праздника, ради дорогой именинницы! Вѣдь вы уже искусившійся инвалидъ, только что отказались... а ну, а ну, Иванъ Дмитріевичъ, тряхните стариной — ура!— Почему не такъ — подумалъ бывшій добрый малый, у котораго что то странное закипѣло при этихъ воспоминаніяхъ въ груди; но онъ отвѣчалъ: — нѣтъ, я не играю; такъ ужъ пустите жъ меня къ шкапу, прошу извинить!—«Не пущу же,» закричалъ толстый банкометъ, сжавъ колоду картъ въ наливныхъ, красныхъ пальцахъ своихъ и ударивъ другимъ кулакомъ въ столъ; «такъ не пущу же, хоть что хочешь дѣлай, хоть посылай за частнымъ; ставь!»

Острота эта встрѣчена была дружнымъ хохотомъ прочихъ посѣтителей, которые стали тѣсниться къ столу, въ ожиданіи любопытной для нихъ развязки;

хозяину показалось какъ то неловко упорствовать еще далѣе, будто онъ боится проиграть нѣсколько десятковъ рублей; старина въ немъ проснулась, бывалое удальство мелькнуло молніей въ его воспоминаніи.— Такъ я же свидѣтельствуюсь всѣми, — сказалъ онъ,— что нарушаю обѣтъ свой не вольно, а насильственнымъ поступкомъ вотъ этого ненасытнаго человѣка—и всѣ съ шумомъ и смѣхомъ свидѣтельствовали въ справедливости этого дѣла. — Такъ я же его накажу за его ненасытность—продолжалъ онъ,—и общее одобрительное ура огласило комнату, такъ что люди, собравшись изъ прочихъ покоевъ, столпились въ дверяхъ кабинета.

Хозяинъ поставилъ свои сто рублей на одну карту, съ такой увѣренностью въ счастье свое, что на этотъ разъ почти рѣшился бы поставить и голову свою. Но карта убита.—Общій, дружный хохотъ людей, которые радуются, не зная, чему, плачутъ, не зная, о чемъ, огласилъ комнату. Старому игроку сдѣлалось еще болѣе неловко: насмѣшки эти ему досаждали; показывать былыя штуки, отъ которыхъ онъ, впрочемъ, и отвыкъ давно, было бы здѣсь не мѣсто; но онъ надѣялся взять упорствомъ и дерзостію; между тѣмъ тутъ уже опять явился посолъ отъ Марьи Ореѳьевны, за бѣдственными семью рублями... Дайте ей семь рублей, ради Бога, — сказалъ съ удивительнымъ наружнымъ спокойствіемъ Иванъ Дмитріевичъ, загибая всѣ четыре угла своего рокового валета...

Не разъ еще раздавался дружный хохотъ гостей и пріятелей Ивана Дмитріевича, и не разъ громогласное ура привлекало любопытныхъ къ дверямъ кабинета; но вскорѣ громкіе восторги эти поутихли, люди поняли, что это было уже не у мѣста: дѣло вовсе не походило на шутку. Наливной банкометъ сидѣлъ какъ бездушный истуканъ, приговаривая по временамъ: «отвѣчаю, убита»;

бывшій добрый малый стоялъ передъ нимъ какъ будто спокойно, но на немъ уже не было лица; зрители стояли и сидѣли молча, никто не смѣлъ дохнуть, и дверь въ сосѣднюю комнату давно уже какимъ то доглядливымъ пріятелемъ была притворена. Музыка раздавалась издалека, а сердце Ивана Дмитріевича стучало вслухъ, но онъ не понималъ ни себя, ни своихъ; онъ вдругъ скинулъ съ плечъ двадцать лѣтъ; онъ гнулъ, гнулъ, перегибалъ, требовалъ новыя карты...

До жены его, до хозяйки, дошли слухи въ гостиную, что мужъ ея играетъ. Она спокойно улыбнулась, удивившись только немного, что онъ пустился, ради именинъ ея, даже на это, тогда,—прибавила добрая душа въ невѣдѣніи своемъ,—тогда какъ онъ никогда, во всю свою жизнь, не бралъ въ руки карты. Она даже обрадовалась этой вѣсти, заключивъ изъ этого, что мужъ ея долженъ быть очень веселъ.

Гости разъѣхались, а въ кабинетѣ все еще царствуетъ та же тишина, и дверь туда притворена. Хозяйка подошла было къ дверямъ, взглянула въ щелку, но, увидавъ, что *партія* еще не докончена, и что мужъ, сидя спиной къ дверямъ, былъ очень занятъ игрой, она оставила прислугу въ комнатахъ, а сама ушла въ спальню и прилегла. Когда эти послѣдніе гости разъѣхались изъ дома Ивана Дмитріевича и партія была кончена, то извозчики давно уже тянулись по улицамъ. Около полудня усталая хозяйка проснулась, встала и тотчасъ пошла провѣдать мужа. Онъ все еще сидѣлъ въ кабинетѣ, на тѣхъ же креслахъ.—Что съ тобой, мой другъ? здравствуй, ахъ, какой ты блѣдный! можно ли такъ шалить; вы проиграли, говорятъ, до десятаго часу? Чтожъ, кончили партію свою?

— Кончили, — отвѣчалъ онъ:—и кончили совсѣмъ: Макаровка уже не наша, и домъ этотъ не нашъ, и

за квартиру и за хлѣбъ намъ платить нечѣмъ: мы нищіе въ полномъ смыслѣ этого слова; у меня нѣтъ болѣе ни гроша...

— Въ Москвѣ же,—сказалъ другой собесѣдникъ:— въ Москвѣ, которая богата всѣмъ на свѣтѣ, былъ и другой подобный примѣръ. Я думаю, объ немъ слышали многіе. Человѣкъ, который пріобрѣлъ большое состояніе точно тѣмъ же порядкомъ и способомъ, какъ и твой Иванъ Дмитріевичъ, нѣкто Буквицынъ, послѣдовалъ и въ томъ примѣру твоего героя, что зарекся впередъ играть, но сдержалъ слово: онъ точно, во всю остальную жизнь не прикасался къ картѣ,—виноватъ, къ одной картѣ онъ прикасался часто, ежедневно, потому что онъ носилъ ее, въ золотой оправѣ и подъ граненымъ стекломъ, на груди: это былъ его кумиръ. Вы, конечно, догадались, что эта самая карта, тройка или четверка, принесла ему въ одинъ ударъ все состояніе его. Итакъ, онъ болѣе не игралъ; забастовавъ и взявъ въ руку огромную сумму чистоганомъ, какъ облупленное яичко, онъ сталъ думать только о томъ, куда и на что употребить деньги эти, чтобы обезпечить вѣрный доходъ на всю жизнь. Ему приходило въ голову и то и другое, но ему все казалось при этомъ, что тотъ или другой нечаянный случай могъ бы лишить его подъ старость всего имущества, и онъ долго колебался. Положить въ банкъ, — мало доходу; отдать въ частныя руки,—нынѣ такія времена, что и залогамъ нельзя вѣрить. Куплю имѣніе, подумалъ онъ, и буду хозяйничать. Но вѣдь и имѣніе надо покупать съ оглядкой — купить заложенное и перезаложенное, да къ тому еще, сохрани Богъ, какое-нибудь тяжебное,—бѣда, все пропадетъ. Протянувъ при этомъ безсознательно руку за лежавшей передъ нимъ газетой,

онъ прямо наткнулся глазами на объявленіе о продажѣ съ молотка такого имѣнія, которое казалось ему подручнымъ по цѣнѣ и по положенію своему. Чего-жъ лучше? подумалъ онъ: это просто находка: куплю съ молотка въ губернскомъ правленіи, такъ оно вѣрно, никто не отобьетъ. Сказано—сдѣлано; имѣніе осмотрѣно, куплено сходно, и новый хозяинъ мой въ него перебрался. Онъ заплатилъ тысячъ полтораста; въ теченіе перваго же года сталъ хозяйничать такъ усердно, что посадилъ въ него еще тысячъ сто: рогатый скотъ, овцы, конскій заводъ, двѣ мельницы, три завода,—все это было добыто и заведено вновь, и помѣщикъ мой утѣшался богатствомъ своимъ, какъ игрушкой, надѣясь устроить его образцовымъ образомъ и получать со временемъ соразмѣрные съ этимъ весьма значительные доходы.

Въ одно прекрасное утро докладываютъ ему, что пріѣхалъ исправникъ. Буквицынъ вышелъ и видитъ подлѣ исправника еще какого то человѣка, а за нимъ и стряпчаго, и засѣдателя, и секретаря. Что это значитъ?—Что вамъ угодно?

— Я пріѣхалъ со временнымъ отдѣленіемъ, вотъ по этому указу губернскаго правленія, вводить во владѣніе этимъ имѣніемъ г-на такого то, который вотъ на лицо.

— Какъ? что? какимъ образомъ? что это значитъ? Я купилъ имѣніе съ публичнаго торга, не изъ частныхъ рукъ...

— Знаю-съ; но вотъ указъ, извините-съ. Приговоръ судебнаго мѣста, которое приговорило имѣніе къ продажѣ, признанъ, по апелляціи, неправильнымъ; имѣніе немедленно повелѣно возвратить законному владѣльцу, а члены суда будутъ преданы суду.

— Да мнѣ отъ этого не легче; я заплатилъ за

имѣніе 150 т. да посадилъ въ него еще 100 т.; воротитъ мнѣ эти деньги?

— Не могу знать-съ; должно быть, что слѣд отыскивать убытки законнымъ путемъ, на виновны а вотчинника дозвольте немедленно ввести во дѣніе...

XIII

ВОРОЖЕЙКА

Извѣстное дѣло, что чѣмъ далѣе у насъ найдете на сѣверъ, тѣмъ заметнѣе найдете мужиковъ, и тѣмъ болѣе опрятности и достатка найдете въ обрядѣ ихъ женъ. Какая разница между бытомъ даже и бытовыми крѣстьянами въ Воронежской, Тамбовской и Курской губерніяхъ и бѣдною полосою заволжскаго, или черемисъ, мордвы, а если вы заглянете въ Вятку, то, можно, изумитесь обилію и даже пышной роскоши. Но, можетъ быть, и не знаете, что есть въ Россіи такая область, гдѣ крестьяне не пашутъ и не сѣютъ, не жнутъ, не молотятъ и не пекутъ, не мелютъ и не варятъ, но, тѣмъ не менѣе, живутъ, и даже не плохо живутъ, и если бы кто предложилъ имъ за то обмѣнять [illegible] [illegible] Не [illegible] у насъ [illegible] [illegible] [illegible]

имѣніе 150 т. да посадилъ въ него еще 100 т.; воротитъ мнѣ эти деньги?

— Не могу знать-съ; должно быть, что слѣду отыскивать убытки законнымъ путемъ, на виновных а вотчинника дозвольте немедленно ввести во дѣніе...

XIII

ВОРОЖЕЙКА

Извѣстное дѣло, что чѣмъ далѣе у насъ пойдете на сѣверъ, тѣмъ зажиточнѣе находите мужиковъ, и тѣмъ болѣе опрятности и роскоши найдете въ образѣ ихъ жизни. Какая разница между бытомъ даже и богатаго крестьянина въ Воронежской, Тамбовской и Курской губерніяхъ и бѣднаго половника вологодскаго, или чердынца, шенкурца; а если вы заглянете въ Колу, то, конечно, изумитесь обилію и даже прямой роскоши; вы, можетъ быть, и не знаете, что есть въ Россіи такія мѣста, гдѣ крестьянки въ праздникъ не иначе показываются на улицу, какъ въ шелку и парчѣ, въ жемчугѣ; а дѣвушка выплакала бы глаза отъ позора, если бы ей пришлось выйти не въ бѣлыхъ шелковыхъ полудлинныхъ перчаткахъ! Въ средней полосѣ у насъ живутъ, коли хлѣбъ жуютъ, а порою не брезгуютъ и мякинкой, макухой, лебедой и мезгой; на сѣверѣ, — волка ноги кормятъ; три-четыре мѣсяца лѣтнихъ, гдѣ хлѣбъ родится, не могутъ накормить всю семью, по крайней мѣрѣ полевыя работы этимъ срокомъ оканчиваются, и остальные восемь идутъ на промыслы раз-

изъ Ирбита. Идучи въ извозъ, они всегда снимаются всѣмъ таборомъ, и возятъ съ собою женъ, дѣтей и имущество.

Марья стояла пораженная этимъ явленіемъ, не потому, чтобы она никогда не видала чего-нибудь подобнаго, но потому, что внезапное появленіе цыганъ, при разстроенномъ положеніи мыслей ея и грустномъ, таинственномъ направленіи ихъ, казалось ей какимъ-то чудомъ, посланнымъ для ея исцѣленія. Видя хорошо одѣтую, молодую и пригожую женщину, въ такомъ раздумьѣ, двѣ или три цыганки набѣжали на нее съ разныхъ сторонъ, нагло уставили на нее рѣзко обозначавшіяся на черномъ лицѣ бѣльма свои, и кивая головою съ безстыдствомъ, навязывали свои услуги, хватая ее за руки. Одна изъ нихъ сказала наобумъ: «будетъ тебѣ и то, чего тебѣ хочется, моя красавица, доточно и вѣрно, хорошо и желанно, да только умѣючи надо, умѣючи». Неистовые крики трехъ бабъ почти оглушили Марью, но эти слова, сказанныя вполголоса, со вкрадчивою довѣрчивостію, сильно потрясли ея чувства: она вздрогнула, взглянула на грязную старуху, похожую на одну изъ паркъ или вѣдьмъ Шекспира, и когда та, смекнувъ, что добыча здѣсь сама дается въ руки, стала приступать къ ней еще наглѣе и увѣрять съ большею положительностію, что она знаетъ всѣ бѣды, все горе ея и можетъ ей пособить, то Марья сама взяла ее за руку, отвела въ сторону и пригласила идти за собою.

Послѣ непродолжительной ворожбы или гаданья, во время коего хитрая цыганка заставила Марью разсказать ей все, что ей было нужно, она подтвердила, что это наслано урокою, и наслано злымъ человѣкомъ по вѣтру. Человѣкъ этотъ русый и злой, живетъ не на этой деревнѣ, и досадуетъ на Марью уже давно. Бѣдная Марья еще болѣе ввѣрилась цыганкѣ, узнавъ въ этомъ описаніи, какъ двѣ капли воды, крестьянина

тихая грусть озаряла ихъ заманчивою выразительностію. Проѣзжій купецъ, къ которому пришла она однажды, помолилась, низко поклонилась и стала подгорюнясь у печки, никакъ не могъ разгадать, изъ скромныхъ разспросовъ ея, сопровождаемыхъ глубокими вздохами, чего ей отъ него хотѣлось: тронутый грустію и кротостію ея, онъ было предложилъ ей цѣлковый,—но извинился, когда она, низко кланяясь, благодарила, сказавъ, что въ этомъ не нуждается. Она вышла и заплакала съ крайнимъ огорченіемъ, укоряя себя въ неприличномъ поведеніи, которое было причиною тому, что люди сочли ее попрошайкою,—а можетъ быть еще и чѣмъ-нибудь хуже;—а всему виновато горе мое, моя кручинушка лютая, подумала она и закрыла лицо руками, залившись горючими слезами.

Дикіе голоса внезапно раздались за нею и заставили ее быстро отлянуться. Тянулся какой-то обозъ необыкновеннаго вида, странной наружности: на первый взглядъ было что-то очень пестро, хотя большею частію все одни лохмотья; смуглые, черномазые извозчики покрикивали на лошадей и другъ на друга какъ-то дико, не тѣмъ голосомъ и не тѣми словами, какъ обыкновенные извозчики; на возахъ сидѣли бабы и дѣти, а нѣкоторые шли пѣши и вели лошадей въ поводу; многіе изъ проѣзжихъ, и именно женщины и дѣти, разсыпались уже по домамъ, и однообразные голоса ихъ раздавались то тутъ, то тамъ подъ окнами, то глухо и сипло, то звонко и раскатисто, то съ наглой просьбой о милостынѣ, то со вкрадчивымъ предложеніемъ открыть всѣ тайны будущей судьбы, разсказать все, какъ по открытой книжкѣ. Разнокалиберные возы потянулись, и мазанные и немазанные, съ оглоблями, съ дышлами, съ хомутами, со шлейками, то съ лыковою, то съ ременною упряжью: это были цыгане-извозчики, которые тянулись съ кладью

изъ Ирбита. Идучи въ извозъ, они всегда снимаются всѣмъ таборомъ, и возятъ съ собою женъ, дѣтей и имущество.

Марья стояла пораженная этимъ явленіемъ, не потому, чтобы она никогда не видала чего-нибудь подобнаго, но потому, что внезапное появленіе цыганъ, при разстроенномъ положеніи мыслей ея и грустномъ, таинственномъ направленіи ихъ, казалось ей какимъ-то чудомъ, посланнымъ для ея исцѣленія. Видя хорошо одѣтую, молодую и пригожую женщину, въ такомъ раздумьѣ, двѣ или три цыганки набѣжали на нее съ разныхъ сторонъ, нагло уставили на нее рѣзко обозначавшіяся на черномъ лицѣ бѣльма свои, и кивая головою съ безстыдствомъ, навязывали свои услуги, хватая ее за руки. Одна изъ нихъ сказала наобумъ: «будетъ тебѣ и то, чего тебѣ хочется, моя красавица, доточно и вѣрно, хорошо и желанно, да только умѣючи надо, умѣючи». Неистовые крики трехъ бабъ почти оглушили Марью, но эти слова, сказанныя вполголоса, со вкрадчивою довѣрчивостію, сильно потрясли ея чувства: она вздрогнула, взглянула на грязную старуху, похожую на одну изъ паркъ или вѣдьмъ Шекспира, и когда та, смекнувъ, что добыча здѣсь сама дается въ руки, стала приступать къ ней еще наглѣе и увѣрять съ большею положительностію, что она знаетъ всѣ бѣды, все горе ея и можетъ ей пособить, то Марья сама взяла ее за руку, отвела въ сторону и пригласила идти за собою.

Послѣ непродолжительной ворожбы или гаданья, во время коего хитрая цыганка заставила Марью разсказать ей все, что ей было нужно, она подтвердила, что это наслано урокою, и наслано злымъ человѣкомъ по вѣтру. Человѣкъ этотъ русый и злой, живетъ не на этой деревнѣ, и досадуетъ на Марью уже давно. Бѣдная Марья еще болѣе ввѣрилась цыганкѣ, узнавъ въ этомъ описаніи, какъ двѣ капли воды, крестьянина

сосѣдняго села, который сватался къ ней, но по распутному поведенію своему получилъ отказъ. Цыганка сочла полезнымъ завладѣть довѣренностію Марьи, особенно когда оглянулась въ избѣ, и убѣдилась въ зажиточности хозяевъ, и потому на первый разъ вовсе отказалась отъ всякаго подарка, сказавъ, что придетъ на другой день, и должна ходить нѣсколько дней сряду, иначе дѣла поправить нельзя. Таборъ останавливался съ кладью подъ Чердынью, и потому ей недалеко было навѣщать оттуда свою *счастливую доброду*, какъ называла она Марью.

На другой день цыганка пришла, посмотрѣла и пошептала, но ей очень не понравилось, что она застала дома мужа Марьи. Взявъ для ворожбы три десятка яицъ, она вышла, вызвала Марью на улицу, и объяснила ей, что при людяхъ, даже при мужѣ, ничего сдѣлать нельзя, почему впередъ и просила назначить ей для прихода такое время, когда мужъ бываетъ на работѣ.

На слѣдующій день цыганка опять явилась, сказала, что не нашла въ трехъ десяткахъ ни одного такого яйца, какое ей нужно, потребовала еще дважды-три десятка съ рѣшетомъ, изъ котораго слѣдовало напередъ дать хозяйской коровѣ поѣсть отрубей, и опять отправилась. На третій день объявила, что уже почти нашла, что было нужно, но не совсѣмъ, а потребовала, какъ сама увѣряла, въ послѣдній разъ, еще трижды-три десятка яицъ, пѣтуха и курицу. Хозяйка захлопоталась, такого множества яицъ у нея не случилось, и потому она достала ихъ, съ разрѣшенія ворожеи, у сосѣдей. Наконецъ, цыганка пришла съ самодовольнымъ видомъ, и дѣлая разныя приготовленія только знаками и словцомъ, шопотомъ дала знать Марьѣ, что дѣло пошло на ладъ. Она велѣла ей лечь, сама достала изъ-за пазухи одно яйцо и начала, при-

говаривая какія-то дикія слова, водить имъ по животу больной. Черезъ нѣсколько минутъ, она съ крикомъ прихватила что-то обѣими руками и показала на-смерть испуганной Марьѣ, что изъ яйца этого выскочила гадина, вѣроятно, лягушка или ящерица. Вотъ, говорила она съ торжествомъ, держа наличное въ рукахъ своихъ, видишь ли, что на тебя было наслано, а все по вѣтру, по слѣдочку... вотъ и будешь богата и таланлива, какъ я по ручкѣ сказывала, здорова и привѣтлива, и мужу люба, и Богъ пошлетъ вамъ все доброе, все хорошее, и сыночка съ дочкою.

Маша залилась слезами и подарила цыганкѣ деньгами почти все, что у нея было, около двухъ цѣлковыхъ. У крестьянокъ, какъ извѣстно, своей большой казны не бываетъ, даже у богатыхъ, а деньги всегда у мужа, но два цѣлковыхъ, для цыганки, не бездѣльная находка. Разсыпавшись въ благодарностяхъ и желанныхъ пророчествахъ, она однакоже не была намѣрена кончить этимъ выгодныя посѣщенія свои, и потому объявила прямо, что это еще не конецъ дѣла, а надо еще много постараться, и при томъ только самый знающій человѣкъ, какъ она, можетъ взяться за такое трудное дѣло и благополучно довести его до конца. Когда раздули и развели затѣмъ огня въ печи, и цыганка съ неистовыми ухватками сожгла гадину и бережно собрала въ ветошку золу и скорлупку яйца, то потребовала чего-нибудь шелковаго и при томъ алаго цвѣту для завертки собранныхъ драгоцѣнныхъ остатковъ. Не призадумавшись, Марья наша схватила ключъ, бросилась къ кованому сибирскому коробу, отперла его, и достала оттуда красный шелковый платокъ свой. Узелокъ завернула, и на завтра назначено новое засѣданіе.

Возвращаясь домой, цыганка тряслась отъ радости и удовольствія, и придумывала, на какую бы хитрость

теперь пуститься и какъ бы устроить все такимъ образомъ, чтобы поддѣть Марью и обобрать ее завтра окончательно, предъ самымъ выступленіемъ табора, который уже сдалъ кладь свою въ Чердыни, и теперь возвращался въ Сибирь. Старуха видѣла еще предъ глазами всѣ богатства Марьины, въ кованомъ коробѣ, и не могла разстаться съ мыслію, что желательно бы запустить туда на просторѣ руку... но какъ это сдѣлать?

Собравшись на другой день въ урочный часъ и наказавъ въ таборѣ не ждать ея, а сыматься, обойти деревню Марьину и стать въ условленномъ глухомъ мѣстѣ, въ лѣсу, цыганка отправилась полѣчить свою больную въ послѣдній разъ и окончательно избавить ее отъ уроку. Засыпавъ Марью таинственными словами и обѣщаніями, она дѣлала приготовленія свои еще съ большею замысловатостію, чѣмъ обыкновенно, осматривала углы, сплевывала въ нихъ и нашептывала что-то, завѣсила окна, заперла двери на крючокъ, требовала отъ запуганной Маши покаянія и признанія то въ томъ, то въ другомъ, и наконецъ приказала одѣваться въ чистое бѣлье и новый, но простой, кумачный сарафанъ. Когда это все было исполнено, то она поставила ее среди избы на колѣни, очертила ее ножемъ, посыпала ей пепелу отъ вчерашней продѣлки на обѣ ладони, приказавъ держать ихъ передъ собою осторожно, чтобы не просыпать, положила ей еще яйцо на голову, велѣвъ стоять какъ можно смирнѣе, а затѣмъ подобрала вокругъ нея подолъ сарафана, накинула его чинно и осторожно ей на голову и, собравъ, связала мужниннымъ пояскомъ, надъ которымъ также предварительно поворожила. — Стой же смирно,—сказала цыганка:—и прислушивайся только, не будетъ ли надъ тобою изъ яйца голоса. — А сама начала ходить взадъ и впередъ, возиться и стучать,

выбирая изъ кованаго короба все, что было тамъ хорошаго, не исключая, разумѣется, и жемчужнаго кокошника и ожерелья, и складывая все это въ раскинутое рядно. Марья сама отперла коробъ, когда цыганка заставила ее переодѣться, что безъ сомнѣнія и было придумано съ этою цѣлію.—Теперь, — сказала ворожея:—надобно мнѣ пройти безъ оглядки до нижняго колодца, зачерпнуть воды въ желѣзный ковшъ и принести ее сюда. Стой же ты смирно и прислушивайся, жди меня; не шевелись.

Покорная Маша ждала долго, наконецъ, и у нея терпѣніе стало на исходѣ. Но вотъ отворяется сѣнная дверь, а затѣмъ другая въ избу, и кто-то входитъ. «Ты это, бабушка?» спросила робко Маша... «Господи Боже мой и мать Пресвятая Богородица и всѣ святые съ нами, — отвѣчалъ не бабушкинъ, но другой знакомый Марьѣ голосъ: — Господи! что это такое? Марьюшка, ты ли это? Рехнулась ты, что ли? А добро-то твое все раскидано: — коробъ-то почитай порожній, а сама-то ты... ха, ха, ха!» И покатилась со смѣху. Маша вскочила, позабывъ всѣ строгіе наказы цыганки, позабывъ и золу на ладоняхъ и яйцо на головѣ. Сосѣдка, помирая со смѣху, развязала ей сарафанъ надъ головой, — и бѣдная хозяюшка моя всплеснула руками, когда взглянула на порогъ свой, и взвыла горькимъ плачемъ. Теперь она поняла все.

На деревнѣ сдѣлалась тревога; кто дома былъ изъ мужиковъ, кинулись верхами по чердынской дорогѣ— но табора уже съ утра и слѣдъ простылъ. Кидались по сторонамъ, наконецъ, заявили начальству, — тѣмъ, разумѣется, дѣло и кончилось. Но бѣдная Марья лишилась забавнымъ образомъ всего приданаго своего и всѣхъ подарковъ мужа. Но вотъ что: и Маша, и мужъ ея не долго убивались по этому горю—видно, цыганка знала свое дѣло и обобрала Марью не даромъ: он»

черезъ годъ принесла сыночка, который принесъ съ собою и всякую благодать на нашу чету. «Дорого заплатили мы за тебя, говаривалъ отецъ, качая на рукахъ парнишку: да власть Господня: по наживному добру не топиться стать—наживемъ опять!»

XVI

РУССКІЙ МУЖИКЪ

Шесть человѣкъ крестьянъ убираютъ у помѣщика подвалъ, укладываютъ зелень, коренья... седьмой стоитъ съ фонаремъ на свѣтломъ мѣстѣ, у самыхъ дверей. Люди, повидимому, отдыхаютъ или кончили работу, на дворѣ перепадаетъ дождь; всѣ стоятъ, облокотившись на заступы, кирки и зѣваютъ на Божій свѣтъ. Еще мужикъ подъѣхалъ съ возомъ соломы къ подвалу, проситъ зрителей пособить ему свалить; ни одинъ не отвѣчаетъ, не трогается съ мѣста. Тотъ кричитъ, бранится, спрашиваетъ ихъ разъ десять: «аль вы оглохли?» Наконецъ, плюнувъ, сваливаетъ самъ кой-какъ солому наземь, выворотивъ возъ, и уѣзжаетъ. Приходитъ староста: «Что-де вы, дураки, чего глядите, солома перемокнетъ, что не таскаете въ подвалъ?»

— А намъ что? Вишь, еще *нарядъ* не пришелъ; тамъ двоихъ нарядили солому таскать

— Да вы-жъ чего, сложа руки, глядите? а? чтобъ перемокла солома, да послѣ все перегноитъ? О, да вотъ я васъ.

Шестеро принялись нехотя убирать солому; седьмой все еще стоитъ съ фонаремъ, — «Ты что, оселъ, глазѣешь?» — Чего? — ничего. — «Да чтожъ ты, свинья этакая, не пособишь скорѣе солому перетаскать?» — Да вишь, у меня фонарь въ рукахъ!—«А нешто приросъ онъ, что ли, у тебя къ рукамъ? а на что ты зажегъ свѣчу? ослѣпъ, что ли, погаси ее, поставь фонарь, да пошелъ, помогай!»

Солома убрана; староста ушелъ за бариномъ. Двое по наряду теперь только пришли убирать солому, стоятъ на дождѣ, снявъ шляпы, и чешутъ головы; шестеро, стоя въ дверяхъ подвала, перебраниваются съ ними; седьмой, вынувъ изъ фонаря огарокъ, мажетъ имъ усердно сапоги свои. Самъ баринъ приходитъ посмотрѣть, что сдѣлано; съ нимъ староста.—«Ну, это все хорошо,—а вотъ это такъ никуда не годится; это глупо: для чего, Ѳеклистовъ, обрѣзки зелени и кореньевъ всѣ свалилъ на песокъ? Вѣдь теперь тебѣ ихъ опять перемывать придется!»

У помѣщика было заведено, что, кромѣ сухой и квашеной зелени и кореньевъ, всѣ обрѣзки и оборки овощей солились, и солень эта шла для приправы, въ людскія щи; это приваръ хорошій.

Староста почесалъ голову, оглянулся на другихъ ребятъ и сказалъ: «да на что ихъ мыть?...»

— Какъ на что? развѣ ты такъ, съ пескомъ, и будешь ѣсть, какъ свинья?

— Никакъ нѣтъ; оно бы, конечно, можно, власть ваша, батюшка;—а не то, такъ ребята говорятъ, хоть бы ее и вовсе пожалуй не солить... вѣдь квашенина есть..

— Какъ такъ? кто жъ это говоритъ?

— Да и всѣ то же говорятъ; да оно, власть ваша, сударь; я такъ только что сказалъ милости вашей.— Примолвка эта показывала, что смѣтливый староста самъ началъ догадываться, что онъ крѣпко заврался.

что всѣ заодно, всѣ-де такъ говорятъ, всѣ такіе жъ дурни, какъ и онъ, а тѣ стоятъ, развѣсивъ уши, разинувъ рты, да слушаютъ; подайся я на пустословіе твое, такъ бы и точно можетъ быть всѣ за тобой; подери я тебя за чубъ, да припомни тебѣ, что и какъ было говорено и сдѣлано прежде,—всѣ отъ тебя прочь, а ты остался въ дуракахъ одинъ.

— Такъ, батюшка Степанъ Денисычъ, истинно справедливо!

Мужики разошлись по другимъ работамъ, и весь день только и было толку о томъ, какъ баринъ въ подвалѣ мололъ старостой песокъ и говорилъ объ овощахъ, о солени; всѣ обвиняли старосту и соглашались, что баринъ правъ.

Что же вы думаете, многіе послѣдовали въ домашнемъ хозяйствѣ этому примѣру, убѣдившись въ справедливости совѣтовъ помѣщика и въ пользѣ разводки овощей? Ни одинъ; толковали только о томъ, кабы Господь уродилъ побольше хлѣбца; а что будутъ ѣсть они, коли хлѣбецъ не уродится — объ этомъ рѣчи не было.

Сидятъ во вторникъ на святой недѣлѣ крестьяне съ бабами, дѣвками, ребятами, на заваленкахъ; святая была ранняя, только что земля отошла; день тепленькій; всѣ въ нарядной одеждѣ, а праздновали святую плохо, потому что едва дотянули животы до весны; урожай былъ довольно скуденъ; полдеревни ѣли барскій хлѣбъ да барскій картофель.

— Эхъ-ма! братцы, — сказалъ одинъ, подергивая плечами, на которыя накинулъ сверху синій кафтанъ свой:—эхъ-ма! вотъ когда бъ сѣять—такъ сѣять!

— Да, самая бы пора, — подхватилъ другой: — сочная земля стала, отошла вся!

мывалъ головой старосты кругомъ, противъ солнца, и хозяинъ головы этой, попавъ разъ въ ладъ и мѣру такого однообразнаго движенья, предупреждалъ его безъ труда, забѣгалъ головою впередъ, такъ что рука помѣщика почти слѣдовала за головою старосты, а не водила ее. Девять человѣкъ зрителей стояли спокойно и слушали, улыбаясь, довольно внимательно, что говорилъ помѣщикъ.

— Ну, понялъ ли ты все, что я тебѣ говорилъ, Ѳеклистовъ?

— Понялъ, батюшка, какъ же не понять?

— Разскажи же ты мнѣ теперь все это.

Ѳеклистовъ началъ разсказывать по-своему, все еще стоя на колѣняхъ; говорилъ съ убѣжденіемъ и съ увѣренностію — иногда только немного сбивался, и помѣщикъ, подравъ его, какъ бы шутя, за чубъ, поправлялъ и заставлялъ переговаривать снова.

— Хорошо. Скажи жъ мнѣ: въ первый разъ ты все это отъ меня слышишь?

— Нѣтъ, батюшка Степанъ Денисычъ, не въ первый, много слышали мы добра отъ вашей милости.

— Разсуди жъ ты теперь самъ меня съ собою, кто правъ, кто виноватъ?

— Я, батюшка, виноватъ, извѣстное дѣло.

— А за что же я, дуракъ, объ тебя руку въ плечѣ вымолотъ?

— Виноватъ, батюшка Степанъ Денисьевичъ, глупость наша все это дѣлаетъ—и поклонъ въ ноги.

— А еще ты сказалъ мнѣ, что всѣ такъ думаютъ, какъ ты; правда ли это, ребята?

— Нѣтъ, батюшка, никакъ нѣтъ, нѣтъ,—отвѣчали въ голосъ всѣ зрители.

— За что же ты — а еще староста! — оговорилъ понапрасну другихъ? А? Вотъ такъ вы всегда дѣлаете: одинъ выйдетъ изъ кучи, кричитъ за всѣхъ, увѣряетъ,

что всѣ заодно, всѣ-де такъ говорятъ, всѣ такіе жъ дурни, какъ и онъ, а тѣ стоятъ, развѣсивъ уши, разинувъ рты, да слушаютъ; подайся я на пустословіе твое, такъ бы и точно можетъ быть всѣ за тобой; подери я тебя за чубъ, да припомни тебѣ, что и какъ было говорено и сдѣлано прежде,—всѣ отъ тебя прочь, а ты остался въ дуракахъ одинъ.

— Такъ, батюшка Степанъ Денисычъ, истинно справедливо!

Мужики разошлись по другимъ работамъ, и весь день только и было толку о томъ, какъ баринъ въ подвалѣ мололъ старостой песокъ и говорилъ объ овощахъ, о солени; всѣ обвиняли старосту и соглашались, что баринъ правъ.

Что же вы думаете, многіе послѣдовали въ домашнемъ хозяйствѣ этому примѣру, убѣдившись въ справедливости совѣтовъ помѣщика и въ пользѣ разводки овощей? Ни одинъ; толковали только о томъ, кабы Господь уродилъ побольше хлѣбца; а что будутъ ѣсть они, коли хлѣбецъ не уродится — объ этомъ рѣчи не было.

Сидятъ во вторникъ на святой недѣлѣ крестьяне съ бабами, дѣвками, ребятами, на заваленкахъ; святая была ранняя, только что земля отошла; день тепленькій; всѣ въ нарядной одеждѣ, а праздновали святую плохо, потому что едва дотянули животы до весны; урожай былъ довольно скуденъ; полдеревни ѣли барскій хлѣбъ да барскій картофель.

— Эхъ-ма! братцы, — сказалъ одинъ, подергивая плечами, на которыя накинулъ сверху синій кафтанъ свой:—эхъ-ма! вотъ когда бъ сѣять—такъ сѣять!

— Да, самая бы пора, — подхватилъ другой: — сочная земля стала, отошла вся!

— Чтожъ дѣлать станешь—власть Господня!

— Таки вотъ сердце радуется, какъ выйдешь за околицу: два дождичка послалъ Господь—сверху припекло землицу — рыхлая, мягкая, — мокрота вся впилась, внизъ ушла—такъ бы вотъ, кажись, самъ легъ да глыбой укрылся, выросъ бы, ей-богу выросъ!

— Какъ быть, стало, такъ Богу угодно. Дастъ хлѣбца, такъ дастъ, хоть и на той недѣлѣ посѣемъ; а не дастъ, такъ не дастъ. Все во власти Господней.

— Оно вѣстимо такъ; да вотъ, какъ не дастъ Богъ дождя то, опять не станетъ хлѣба, коли милости Господней не будетъ, да солнышко пойдетъ тебѣ припекать пашню, да сушить во вся недѣлю, да и на той недѣлѣ тоже — такъ вотъ, братъ, тогда хлѣбъ, у кого есть, хоть не носи въ овинъ сушить, а въ землю пожалуй кинь—все одно, высохнетъ и ростка не дастъ тебѣ ни одного.

— Эка дура выросла на селѣ—право, дура! А еще мужикъ называется! Вотъ тебѣ бы для праздника всѣмъ міромъ намять затылокъ, какъ слѣдуетъ, такъ не сталъ бы впередъ молоть, что на языкъ ни попало! Ну что толковать пустяки, горло драть, точно на облавѣ? Что же ты теперь что ли пахать да сѣять пойдешь, на святой недѣлѣ?

— Пахать... кто говоритъ, пахать теперь... про это нечего говорить, что пахать. я говорю, что вотъ, хотя на людей сошлюсь, объ этаку пору сама бы благодать; что земля, вишь, сырая, а не то, чтобъ теперь пахать да сѣять; кто тебя зоветъ? Господь съ тобой, я тебя не звалъ пахать; извѣстное дѣло, кто жъ пойдетъ о такую пору — чай, не на то далъ Господь святую недѣлю. Вотъ, что Богъ дастъ развѣ на Ѳоминой..

Такимъ образомъ крестьяне наши просидѣли на заваленкахъ всю недѣлю, опоздали посѣвомъ, вспоми-

нали круглый годъ, какая-де на святой пора была для посѣва! Эхъ, какая земля рыхлая, да сочная была! Тужили, что Господь Богъ опять не далъ урожая, почесали головы, похлопали руками о бока — и полѣзли къ зимѣ на печь, да на полати.

Хлѣбъ вздорожалъ; мужики промышляютъ, кто чѣмъ можетъ; большею частію возятъ въ ближній городъ дрова. Пошелъ въ господскій лѣсъ, срубилъ первое встрѣчное дерево, раскололъ его, навалилъ на дровни, что лошадь сможетъ поднять, а остальное бросилъ; пусть лежитъ — много его растетъ въ лѣсу, на нашъ вѣкъ станетъ. Но между тѣмъ Осипъ Мохнаевъ, тотъ самый, который стоялъ въ подвалѣ съ фонаремъ, лежитъ всю зиму на печи и тужитъ, что скоро-де хоть плачь, совсѣмъ ѣсть нечего! Съ нимъ, видите, случилась бѣда: онъ купилъ было прошлаго года лошадку, и добрая кляча была, да неразумный малый не доглядѣлъ, какая бѣда попалась ему въ руки; спасибо, знакомый барышникъ надоумилъ; онъ, пощупавъ хорошенько загривокъ у лошади, спросилъ: «гдѣ ты, братъ Осипъ, купилъ ее?» — А вотъ тамъ и тамъ. — «Ну, братъ, жаль тебя, а ты съ нею, знаешь, до какой бѣды доживешь?»—А что?—Да вѣдь она у тебя двужильная!»—Полно, сватъ! — «Ей-богу, двужильная; что я, обманывать, что ли, тебя буду? На вотъ, хоть самъ пощупай, хоть людямъ покажи, кому хочешь—вонъ—вишь?»

И сторонніе мужики подступили, такіе, которые были по-старше, по-смышленѣе, да знали дѣло; и тѣ пощупали, то одинъ, то другой, помотали головами — говорятъ: точно, двужильная и есть; а одинъ изъ нихъ, для окончательнаго доказательства, ударилъ еще пѣгаго ногою въ брюхо и обругалъ двужильнымъ чортомъ.

Двужильная лошадь для русскаго человѣка бѣдовая

вещь, вы знаете — а не знаете, такъ я вамъ скажу, что коли двужильная лошадь падетъ у кого на рукахъ, а не дай Богъ на дворѣ, такъ другою хоть не обзаводись, не напасешься; большая милость, коли только *двѣнадцать* лошадей сряду въ заднія вороты да за околицу вывезешь, а на тринадцатой вся напасть покончится; таки, что ни дѣлай, какъ только новокупка на дворъ—такъ и припасай подъ нее дровни: гляди, черезъ недѣльку, другую и нѣтъ, и растянулась. На дворъ она въ переднія ворота, а со двора въ заднія.

Осипъ видитъ, что дѣло плохо; нечего дѣлать, упросилъ барышника взять лошадь, да куда-нибудь на сторонку сбыть. А пожалѣлъ таки сердечный Осипъ пѣгаго своего, работящій былъ конь. Продавъ его кой-какъ рублевъ за 30, хоть самъ и далъ за него 50, купилъ на нихъ хлѣбца да ужъ и сидѣлъ дома, и ѣлъ втихомолку съ семьей, да тужилъ, что надъ нимъ сталась было такая бѣда — и благодарилъ Бога, что барышникъ его надоумилъ. Хлѣбца покупалъ онъ помаленьку, не по многу вдругъ; видѣлъ онъ самъ, что дорожаетъ хлѣбъ не по днямъ, по часамъ—да какъ же можно на всѣ деньжонки вдругъ купить его? Лучше ужъ такъ, тянуться съ недѣльки на недѣльку. Доѣвши наконецъ третій и послѣдній десятокъ рублей своихъ, или съѣвши пѣгаго мерина совсѣмъ, съ хвостомъ и съ головою, Осипъ говоритъ: — ну, теперь хоть волкомъ вой, нечего ѣсть; надо идти къ барину, пусть кормитъ, какъ хочетъ, мы его. — «Да что ты на работу нейдешь?»—А куда тутъ пойдешь—Господь вѣдаетъ; лошадки нѣтъ теперь, работать не на чемъ — и дровецъ не на чемъ привезти—вотъ и сиди на печи. Вотъ, говоритъ: про этакой случай, оно и славу Богу, какъ не послушаешься барина, трубы не поставишь; черна изба, такъ хоть тепло держитъ; а какъ бы я теперь

въ ней зиму-то дома просидѣлъ, безъ хлѣба, безъ дровъ, а трубу бы вывелъ.. бѣда, пропалъ бы совсѣмъ!—Теперь хоть затянешь, да укутаешь ее кругомъ—и сидишь.

Есть въ деревнѣ этой кузнецъ; онъ хлѣба почти не сѣетъ, такъ, малость, только для славы. Съ мужиковъ ему поживы не много, этимъ бы не изворотился—да деревня не совсѣмъ въ глуши стоитъ, а нѣтъ, нѣтъ, да все-таки какой-нибудь проѣзжій навернется и придетъ, да поклонится кузнецу, чтобъ перетянулъ шину. Вотъ ему и хлѣбъ: поработаетъ съ полчаса, перекалитъ шину въ одномъ мѣстѣ, да, не рубивши, не сваривши, опять надѣнетъ, размочивъ хорошенько ободъ, либо подсунувъ мѣстахъ въ двухъ похитрѣе щепочку; проѣзжій, сколько ни бранится, принужденъ повѣрить кузнецу, что вѣку не будетъ этой шинѣ—и заплатитъ ему синенькую—либо еще и красненькую; коли шина эта и не дойдетъ до городу, такъ ужъ не станетъ же тотъ опять съ дороги посылать назадъ, въ деревню, а пошлетъ въ городъ.—Извѣстно, у проѣзжихъ этихъ уже таковъ обычай, что все впередъ ѣдутъ, а не назадъ. А коли-де сердиться захочетъ тамъ, въ чистомъ полѣ, такъ это его воля; на это, говоритъ кузнецъ, запрету нѣтъ.

Есть и хорошій плотникъ въ деревнѣ, вотъ весной онъ въ господскомъ саду бесѣдку построилъ; только баринъ больно привередливъ, такъ ужъ все самъ надъ нимъ стоялъ и указывалъ. Напримѣръ: Кузьма положилъ фигурный наличникъ на косякъ двери, и пришиваетъ его гвоздемъ.—Стой, кричитъ баринъ, стой, развѣ не видишь, что дѣлаешь? Криво!

«Это ничего, сударь, закрасится.»

Есть и бочаръ; и главное искусство его, на кото-
ромъ онъ всегда благополучно выѣзжаетъ — это *зама-
ивать* деревянную посуду: покуда въ водѣ стоитъ,
не течетъ. На замочкѣ у него все держится и въ
томъ вся сила; обо всякой же неисправной вещи онъ
говоритъ: «разсохлась; только замочить, такъ ей вѣку
не будетъ».

Народъ вообще въ деревнѣ этой былъ порой не
одинаковъ; какъ нанесетъ повѣтріемъ: то смиренъ, то
съ норовомъ. Напримѣръ, баринъ приказалъ старостѣ,
чтобъ ни одинъ мужикъ и ни одна баба не смѣли дер-
жать свиней, овецъ и телятъ въ жилой избѣ, а чтобъ
въ зимѣ у всѣхъ были теплыя закуты, на что и отпу-
стить имъ лѣсу. Староста три недѣли кричалъ съ му-
жиками, а потомъ пришелъ доложить барину, что му-
жики *не согласны* на это. Баринъ спросилъ старосту,
въ своемъ ли онъ умѣ? Этотъ вопросъ озадачилъ Ѳек-
листова, и онъ взялся за голову, сперва правой рукой,
а тамъ лѣвой, и старался разрѣшить вопросъ этотъ,
арывая пальцы, какъ можно глубже, въ космы. —
Развѣ я спрашивалъ у нихъ согласія? Отвѣчай, Ѳекли-
стовъ, и не гляди на меня столбнякомъ, — посылалъ,
то ли, я тебя собирать согласіе?

— Нѣтъ, сударь, про это нечего и говорить; за
тимъ дѣломъ не посылали.

— А коли не посылалъ, такъ на что же ты при-
несъ мнѣ то, чего мнѣ не нужно?

— Эка, подумаешь, кака притча сталась — прого-
ворилъ Ѳеклистовъ про себя, потупивъ глаза въ землю:
онъ и самъ не понималъ теперь, какже-де это сталось,
что пришелъ онъ и сталъ говорить путно, а какъ
только сказалъ, выпустивъ слово — выходитъ безтол-
ково; посылали меня за однимъ, подумалъ онъ, а я
принесъ другое, а казалось все одно...

— Такъ поди же, другъ ты мой любезный, и не

дѣлай впередъ дѣла по-своему, а по-моему; согласія я не спрашивалъ, и его мнѣ не нужно, а чтобъ закуты были.

Міръ разсудилъ, что баринъ правъ, и потому, хотя и нехотя, и безъ согласія, да сталъ однакожъ понемногу выводить скотъ изъ жилыхъ избъ.

Но не всегда и не все обходилось такъ мирно; бывали и другіе примѣры. Настала весна, послѣ зимы, о которой мы говорили, и мужики, протолковавъ цѣлую зиму между собой о томъ, что вотъ-де крещатовскимъ легче, они всѣ на оброкѣ, у нихъ нѣтъ барщины, вздумали также идти на оброкъ. Всѣ толки шли объ этомъ на такомъ основаніи, будто дѣло это вполнѣ отъ нихъ зависитъ, а не отъ барина. На третій день святой приходятъ всѣ они гурьбой на барскій дворъ, смирно, тихо, не пьяные, потому что въ деревнѣ кабака не было — и засылаютъ стариковъ вызвать барина. Баринъ выходитъ, думаетъ услышать что-нибудь путное, и слышитъ, ни съ того ни съ сего: отпустите на оброкъ. Доказавъ имъ безтолковость этой просьбы, въ короткихъ словахъ, онъ хотѣлъ было узнать, откуда эта выдумка взялась — но вмѣсто того слышитъ только одно и то же настойчивое и безотчетное требованіе; никакое убѣжденіе не дѣйствуетъ; крестьяне объявляютъ наконецъ положительно, что они, такъ же точно, какъ и крещатовскіе, хотятъ платить по 30 руб. съ тягла, а на барщину не хотятъ. — Воля ваша, мы противъ вашей милости, батюшка Степанъ Денисычъ, идти не можемъ, а ужъ только вы насъ на оброкъ отпустите; мы не желаемъ на барщину ходить, а на оброкъ согласны.—Съ ума, что ли, вы сошли? кто же будетъ тутъ землю пахать, кто хозяйничать?—Ужъ про то не знаемъ: кто останется, поработаетъ, на это воля ваша; а насъ, батюшка, отпустите. Убѣдить ихъ нельзя было ничѣмъ:

потолковавъ еще долго, помѣщикъ сказалъ имъ положительно, что не отпуститъ, и ушелъ.

Всѣ крестьяне собрались идти въ городъ къ исправнику.

— Ступайте жъ, коли такъ,—сказалъ спокойно Степанъ Денисычъ, разсудивъ, что надо иногда русскому человѣку помирволить и этимъ его проучить: — ступайте къ исправнику, а я васъ провожу. — Гурьбой крестьяне отправились въ городъ; вся деревня просится у исправника на оброкъ, а баринъ велѣлъ заложить свою бричку и обогналъ ихъ уже на пути. Онъ отыскалъ исправника, предупредилъ его во всемъ, и самъ ожидалъ свою ватагу. Дорогой крестьяне поободрились; имъ казалось, что они правы кругомъ и чуть не святы; они сговорились не поддаваться, не уступать, требовать оброку.

Исправникъ собралъ ихъ передъ домомъ своимъ, выслушалъ и сталъ толковать имъ, что они видно-де рехнулись; что оброкъ или барщина зависитъ отъ помѣщика, а не отъ нихъ, и что имъ требовать ни того, ни другого нельзя. — Слушаемъ, батюшка, — былъ отвѣтъ:—да, воля ваша, ужъ мы на барщину не пойдемъ. «А коли такъ, — сказалъ исправникъ: — такъ я васъ выведу на барщину. Ты, говорунъ, поди-ка сюда первый!» А затѣмъ и другой, и третій, и такимъ образомъ человѣкъ десятокъ на выборъ тутъ же на мѣстѣ были наказаны. «Ну, еще, что ли, есть охотники?— спросилъ исправникъ: — такъ выходите сюда скорѣй, мнѣ некогда!» Мужички мои всѣ гурьбой повинились, согласились безпрекословно, что они затѣяли вздоръ, увѣряли, что это и въ первый и въ послѣдній, и другу и недругу закажутъ; что, домой пришедши, даже ребятъ всѣхъ пересѣкутъ, пусть-де помнятъ отцовскую вину и глупость, и сами, на нее глядя, казнятся; обѣщали идти безпрекословно на барщину, и сдержали

слово. Поблагодаривъ за науку, отправились они чинно домой, вышли на утро въ поле и жили впередъ съ Степаномъ Денисычемъ въ ладахъ и въ дружбѣ.

Разскажу еще про Старую и Новую Болвановку— да и полно. Новая выселилась изъ Старой лѣтъ тому 50, а земля, разумѣется, числится, по генеральному межеванію, за Старою. Зимой мужики мои сидятъ смирно въ берлогахъ своихъ, никто ни о чемъ не думаетъ и не тужитъ, коли хлѣбушка есть. Но какъ только солнышко сгонитъ снѣгъ, и овражки въ полѣ заиграютъ, а равно и осенью, подъ первую пашню, два раза въ годъ, идутъ дѣлить поля. Со Старой и Новой Болвановки народъ весь собирается вмѣстѣ, по человѣку со двора, и дѣлежка идетъ на лужайкѣ у веселаго кружала, дня два или три Идутъ напередъ въ кабакъ, со стариками, вспрыснуть землю; кричатъ, шумятъ, горланятъ, толкуютъ, попрекаютъ другъ друга и сердятся за то, что случилось годъ и два и пять лѣтъ тому назадъ, или что еще можетъ случиться; припоминаютъ, за кѣмъ, когда и какая была земля, чѣмъ она лучше или хуже другой, и всякій считаетъ себя обиженнымъ. Наконецъ, идутъ къ *шапкѣ*, къ жеребью, а вынувъ жеребьи, накричавшись и набранившись еще разъ вдоволь, да выпивъ еще по одной, кто съ радости смотря по долѣ, которая ему сталась, отправляются на поля. Поля обширны, раскинуты на 27 верстъ, не нарѣзаны ни на десятины, ни на осьминники, а просто на загоны, ширины и длины произвольной и не одинаковой, а какъ гдѣ пришлось. По жребью каждому мужику достанется поле мѣстахъ въ трехъ, потому что песчаная, болотная, кустистая и тучная земля, для уравнительности, дѣлится вся порознь. Идетъ первый размѣнъ, мужики стараются мѣнять загоны такъ, чтобы они у каждаго пришлись поближе вмѣстѣ; кто даетъ придачу, кварту или двѣ вина, кто вымо-

гаетъ просьбами да шумовствомъ, кто бранью, и нерѣдко дѣло доходитъ до драки. Это длится также дня три. Такимъ же порядкомъ дѣло идетъ осенью, и двѣ рабочія недѣли изъ году вонъ, двѣ недѣли самаго дорогого и нужнаго времени, котораго послѣ иногда ничѣмъ нельзя вознаградить. Иные упускаютъ весной цѣлую недѣлю сряду, если не могутъ сойтись въ размѣнѣ, и потому не рѣшаются пахать. Затѣмъ идетъ еще другой размѣнъ: жителю Старой Болвановки досталась земля подъ Новою, а жителю Новой — подъ Старою. Кто успѣетъ размѣняться—ладно, кто нѣтъ, такъ пашетъ и сѣетъ въ двадцати верстахъ...

Это все была изнанка, а вотъ погодите, покажу и лицевую сторону

XV

ДВА ЛЕЙТЕНАНТА

Очеркъ

...Изъ судовыхъ командировъ не осталось въ памяти моей почти ни одной замѣчательной личности. Помню одного, командовавшаго бригомъ Ф., крайне добраго и свѣдущаго въ своемъ дѣлѣ человѣка, но слабаго начальника, безъ всякой самостоятельности, охотно уклонявшагося отъ объясненій съ бойкимъ и самонадѣяннымъ вахтеннымъ лейтенантомъ, которому стоило только потопать и покричать громче обычнаго надъ капитанскимъ люкомъ, чтобы намекнуть этимъ о бранчивомъ расположеніи своемъ, и заставить миролюбиваго начальника не выходить во всю вахту наверхъ. Помню и другого командира фрегата Ф., человѣка любившаго море, умнаго, свѣдущаго и при томъ также очень добраго, но горячаго и вспыльчиваго до непростительной степени. Онъ однажды довелъ самъ себя до того, что, начавъ съ пустого, ничтожнаго дѣла, вынужденнымъ нашелся поднять на горденѣ отчаянно строптиваго мичмана, который не хотѣлъ идти на салингъ. Правда, впрочемъ, что и этимъ несчастнымъ

случаемъ капитанъ сумѣлъ воспользоваться, когда пришелъ въ себя, чтобы заставить уважать себя еще болѣе прежняго.—Признайтесь мнѣ какъ отцу,—сказалъ онъ, призвавъ мичмана этого, въ присутствіи прочихъ офицеровъ:—признайтесь, что вы не помните, что вы дѣлали, и я признаюсь вамъ какъ сыну, что и я себя не помнилъ;—и подалъ ему руку. И третьяго капитана я припоминаю, какъ во снѣ. Это былъ командиръ корабля, также добрякъ, но человѣкъ совсѣмъ другого разбора. Однажды мичмана пригласили его посмотрѣть въ телескопъ на юпитеровыхъ спутниковъ, закрывъ напередъ стекло глухимъ мѣднымъ колпакомъ; совѣстно было почтенному старичку признаться, что онъ ни зги не видитъ, когда шаловливая молодежь, поочередно заглядывая въ телескопъ, восхищается видѣнными чудесами, — и старикъ покривилъ душой: не только согласился, что видитъ юпитеровыхъ спутниковъ, но даже на вопросъ: сколько ихъ? отвѣтилъ торопливо: много, очень много, — и описывалъ видъ ихъ самымъ подробнымъ и забавнымъ образомъ. Этой потѣхѣ прошло теперь болѣе тридцати лѣтъ, а помнится она живо. Вотъ какъ мы злопамятны!

Полнѣе этихъ отрывочныхъ воспоминаній возникаютъ по временамъ въ памяти моей очерки лейтенантовъ. Конечно, сѣдое марево клубится и передъ этими картинами старины, то застилая ихъ, то путая, искажая и перелицевывая на всѣ лады; но я попытаюсь собрать въ одно цѣлое, что усвоено было однимъ человѣкомъ, отдѣливъ и соединивъ то, чѣмъ былъ и жилъ другой; не знаю, что изъ этого выйдетъ.

Иванъ Васильевичъ былъ старый лейтенантъ, одинъ изъ тѣхъ, который уже привыкъ быть старшимъ лейтенантомъ на кораблѣ. Средній ростъ, гибкій станъ, большая живость въ движеніяхъ и самоувѣренность во

всей осанкѣ придавали ему пріятную и приличную наружность: льняной волосъ и такая жъ борода, чисто пробритая на подбородкѣ и тщательно зачесанная по багровымъ щекамъ; красное, всегда загорѣлое лицо, съ голубо-сѣрыми, острыми, яркими, нахальными глазами и съ бровями льняной кудели, придавали ему неотъемлемое прозваніе *бѣлобрысаго*. Тонкій носъ, рѣзко по лекальцу выкроенныя губы и привычка вытулять искристые глаза свои напоказъ, при самодовольной и самоувѣренной улыбкѣ, привлекали на короткое время многихъ, но большею частію порождали въ собесѣдникѣ какую-то нерѣшимость и отчужденіе. Смѣсь замѣчательной образованности съ наглостію и пошлостію чувствъ и мыслей, при самомъ отчетистомъ выраженіи всего этого на лицѣ, въ рѣчахъ и пріемахъ, обдавали васъ такою пестрою смѣсью разнородныхъ впечатлѣній, что трудно было дать себѣ отчетъ въ общности ихъ. Иванъ Васильевичъ ходилъ козыремъ, съ руками въ размашку или, разсовавъ ихъ по карманамъ, коихъ было у него множество во всякой, безъ изъятія, одеждѣ; форма стѣсняла его до нѣкоторой степени на берегу, но въ морѣ онъ управлялся съ нею по своему: я не помню его на вахтѣ иначе, какъ въ курткѣ съ шитымъ воротникомъ, то есть въ мундирѣ съ отрѣзанными полами и въ круглой шляпѣ съ низкою тульей. Если кисти рукъ и были заложены въ карманы шароваръ, то локти разгуливали на волѣ; голова привыкла закидываться на затылокъ; острый, но наглый взоръ почасту обращался исподлобья вверхъ; ступни ногъ никогда не сходились, и пятка пятки не видывала: Иванъ Васильевичъ стоялъ не иначе, какъ разставивъ ноги вилами вдоль или поперекъ шагу, а въ послѣднемъ случаѣ, по закоснѣлой привычкѣ, подламывая нѣсколько колѣни и даже, нерѣдко, покачиваясь на нихъ, будто его подшибало зыбью.

на грота-брасъ» и пр., Иванъ Васильевичъ живымъ, кипучимъ голосомъ, безъ натуги, кричалъ: «на брасы, на правую!» и моргнувъ, если нужно было, пакластыми бровями своими туда, куда слѣдовало броситься урядинку, онъ прибавлялъ вполголоса: «на отдачѣ стоять!» — и вслѣдъ затѣмъ раздавалось разгульное: «пошелъ», и мигомъ, летомъ, всѣ реи перебрасывались съ одного галса на другой, при общемъ молчаніи и одномъ только топотѣ и согласномъ звукѣ свистковъ.

Я упомянулъ, что у Ивана Васильевича всякая вина была виновата, а виноватое дѣло не прощеное. Ни отговорокъ, ни разсужденій, ни толковъ, ни шуму и крику, а одинъ молчаливый линекъ. Въ тихое или вообще свободное время, когда мрачное небо, гулъ и вой непогоды не разъясняли огненнаго лица Ивана Васильевича, марсели крѣпились не иначе, какъ по склянкамъ, отдавались по скланкамъ, рифы брались по склянкамъ, и всѣ запоздалые, хотя бы это былъ цѣлый нокъ грота-рея, были наказываемы. Помню, что однажды негодующій капитанъ осторожно и прилично вмѣшался въ это дѣло и объявилъ приговореннымъ прощеніе отъ имени лейтенанта; но Иванъ Васильевичъ, соблюдавшій въ подобныхъ случаяхъ всегда полное приличіе подчиненности, нисколько не смутившись этимъ, не менѣе того сдѣлалъ свое дѣло въ слѣдующую вахту.

При такой неумолимой строгости къ нижнимъ чинамъ, онъ однакоже совсѣмъ иначе обращался съ подвахтенными офицерами и гардемаринами: онъ не требовалъ отъ нихъ ровно ничего, какъ только, чтобы они ему не мѣшали, и ни во что не вмѣшивались. Самолюбіе его было такъ велико, что онъ всѣхъ младшихъ честилъ прозвищемъ молокососовъ, признавалъ одну только пользу своей дѣятельности, одни свои знанія и свѣдѣнія, а на всѣхъ прочихъ смотрѣлъ со снисходи-

рода, а за ними слѣдовали и неизбѣжныя взысканія и расправа.

Другое дѣло въ бурю: по мѣрѣ того, какъ небо замолаживало, постепенно заваливалось тучами, полдень начиналъ походить на позднія сумерки, прозрачный отливъ яри-мѣдянки и лазурика темнѣлъ на поверхности моря и слоны густого, свинцоваго цвѣта вздымали хребты свои, — по мѣрѣ всего этого, Иванъ Васильевичъ начиналъ свѣжѣть, молодѣть, оглядываться какимъ-то царькомъ, и лицо его теряло грубыя, звѣрскія черты, выражавшіяся именно движеніемъ бѣлыхъ бровей и закушенными губами. Брови эти подымались; чело прояснялось, лицо получало какое-то дѣтское, прямодушное выраженіе; глаза будто голубѣли, острый, тонкій носъ выражалъ разсудительность и увѣренность, привѣтливая улыбка устраняла всякое судорожное движеніе около рта; перемѣна эта была такъ разительна, что ее понималъ безсознательно послѣдній матросъ, и вся команда бралась тогда за дѣло безъ робости и страха.

Никогда не видалъ я (или не слыхалъ?) такой тишины, какъ въ вахту Ивана Васильевича. Самъ онъ не терпѣлъ крика, длинныхъ, обстоятельныхъ командныхъ словъ и повтореній. Голосъ его, нѣсколько высокій и рѣзкій, если кричалъ, весьма ясно и отчетисто отдѣлялся отъ всѣхъ иныхъ голосовъ и слышался только передъ исполнительнымъ свистомъ или откликомъ: *есть!* Кромѣ короткихъ командныхъ словъ, не произносилъ онъ на вахтѣ, этимъ голосомъ, ничего, а пополнялъ, что нужно, вполголоса, баритономъ или указывалъ только хорошо наметавшемуся уряднику бровями въ ту сторону, гдѣ надо было исполнить команду. Вмѣсто того, что Ѳедоръ Ивановичъ, о коемъ буду говорить ниже, командовалъ ровнымъ и бездушнымъ голосомъ: «на фока-брасъ, на марса-брасъ на брамъ-брасъ,

на грота-брасъ» и пр., Иванъ Васильевичъ живымъ, кипучимъ голосомъ, безъ натуги, кричалъ: «на брасы, на правую!» и моргнувъ, если нужно было, паклястыми бровями своими туда, куда слѣдовало броситься урядшику, онъ прибавлялъ вполголоса: «на отдачѣ стоять!» — и вслѣдъ затѣмъ раздавалось разгульное: «пошелъ», и мигомъ, летомъ, всѣ реи перебрасывались съ одного галса на другой, при общемъ молчаніи и одномъ только топотѣ и согласномъ звукѣ свистковъ.

Я упомянулъ, что у Ивана Васильевича всякая вина была виновата, а виноватое дѣло не прощеное. Ни отговорокъ, ни разсужденій, ни толковъ, ни шуму и крику, а одинъ молчаливый линекъ. Въ тихое или вообще свободное время, когда мрачное небо, гулъ и вой непогоды не разъясняли огненнаго лица Ивана Васильевича, марсели крѣпились не иначе, какъ по склянкамъ, отдавались по скланкамъ, рифы брались по склянкамъ, и всѣ запоздалые, хотя бы это былъ цѣлый нокъ грота-рея, были наказываемы. Помню, что однажды негодующій капитанъ осторожно и прилично вмѣшался въ это дѣло и объявилъ приговореннымъ прощеніе отъ имени лейтенанта; но Иванъ Васильевичъ, соблюдавшій въ подобныхъ случаяхъ всегда полное приличіе подчиненности, нисколько не смутившись этимъ, не менѣе того сдѣлалъ свое дѣло въ слѣдующую вахту.

При такой неумолимой строгости къ нижнимъ чинамъ, онъ однакоже совсѣмъ иначе обращался съ подвахтенными офицерами и гардемаринами: онъ не требовалъ отъ нихъ ровно ничего, какъ только, чтобы они ему не мѣшали, и ни во что не вмѣшивались. Самолюбіе его было такъ велико, что онъ всѣхъ младшихъ честилъ прозвищемъ молокососовъ, признавалъ одну только пользу своей дѣятельности, одни свои знанія и свѣдѣнія, а на всѣхъ прочихъ смотрѣлъ со снисходи-

тельнымъ презрѣніемъ. Съ мичманами онъ на досугѣ только точилъ лясы, самые грубые, самые пошлые, самые грязные, къ какимъ способно было его испорченное воображеніе. Онъ былъ въ житейскомъ быту человѣкомъ вполнѣ чувственнымъ и, стало быть, стоялъ на низшей степени человѣчества. Онъ любилъ поѣсть и попить, хотя отнюдь не былъ пьяницей, и, съѣхавъ на берегъ, давалъ полный разгулъ и просторъ всѣмъ скотскимъ наклонностямъ своимъ. Не было такого грязнаго угла и захолустья, въ которомъ бы Иванъ Васильевичъ не пробавился денекъ съ истиннымъ наслажденіемъ. О бытѣ семейномъ онъ всегда отзывался съ такимъ презрѣніемъ и такими словами, коихъ нельзя и передать. И въ то же время—какая противоположность!—онъ зналъ на память и охотно и хорошо читалъ наизусть лучшія стихотворенія англійскихъ и итальянскихъ поэтовъ, любилъ ихъ и восхищался ими, указывая на всѣ тонкости выраженій, на всю прелесть этихъ созданій! Не могу покинуть этого очерка, не сказавъ словечка для объясненія такихъ противорѣчій: кто живетъ только умомъ и чувственностію, тотъ бродитъ по поясъ въ грязи, несмотря ни на какое умственное образованіе. Всѣ достоинства его односторонни, потому что нѣтъ существеннаго, нѣтъ того основанія, на которомъ долженъ стоять человѣкъ, созданный по образу и по подобію Творца, нѣтъ нравственности. Любовь и воля его обратились въ похоти, духъ подчинился плоти, и далѣе, чѣмъ видитъ и слышитъ плоть эта, не видитъ и не слышитъ онъ ничего. Слухъ и зрѣніе духовные заморены. Каково же будетъ когда то просыпаться Ивану Васильевичу, глухому и слѣпому, съ одними скотскими порывами?

Обряды своей церкви Иванъ Васильевичъ въ морѣ исполнялъ довольно постоянно, но до того безсознательно и безразсудно, что въ это время нисколько не

прерывалъ обычнаго теченія мыслей и чувствъ своихъ, продолжая бесѣдовать, для приличія, вполголоса, о самыхъ суетныхъ и соблазнительныхъ предметахъ. Церковная служба и исполненіе обрядовъ церкви, въ морѣ, составляли для него часть морского устава, и потому, по понятію его, требовали строгаго исполненія; на берегу же онъ считалъ себя свободнымъ даже и отъ этого внѣшняго послушанія. На берегу онъ давалъ полный просторъ суетной, вещественной жизни своей, говоря: а вотъ выйдемъ въ море, такъ поневолѣ заговѣемся.

Морской уставъ уважался имъ вполнѣ; изрѣдка только, и то съ оглядкою и не командным, звучнымъ голосомъ, а болѣе глухимъ полубасомъ, тѣмъ же баритономъ, коимъ пополнялъ на кораблѣ командныя слова, Иванъ Васильевичъ дозволялъ себѣ находить въ немъ нѣкоторые недостатки, особенно въ сравненіи съ англійскимъ уставомъ, къ которому пристрастіе его не знало предѣловъ. Зато Иванъ Васильевичъ, кромѣ морского устава, не признавалъ надъ собою никакихъ законовъ, ни божескихъ, ни человѣческихъ, а исполняя уставъ, заканчивалъ этимъ всѣ разсчеты свои по обязанностямъ къ Богу, государю и ближнему. Все остальное было его, во всемъ была его воля, и онъ дѣлалъ, что хотѣлъ, ничѣмъ не стѣсняясь.

Помню еще одну замѣчательную черту этого человѣка: въ то время только что стали вводить во флотѣ фронтовую, пѣхотную службу, къ крайнему сокрушенію всѣхъ старыхъ моряковъ, которымъ тяжело было имъ подчиняться. Иванъ Васильевичъ, отъ котораго ожидали рѣшительнаго противодѣйствія и осмѣянія ружейныхъ пріемовъ и маршировки, напротивъ, подумалъ секунды двѣ, вздернулъ брови, подобралъ губы и сказалъ: «чтожъ, это хорошо! Посмотримъ только, какъ за это возьмутся; коли вздумаютъ выслу-

живаться да перетягивать насъ на солдатскую колодку, такъ испортятъ. А раздать ружья, выучить пріемамъ, слегка пожалуй и построеніямъ, да пуще всего разсыпному строю и стрѣльбѣ — это хорошо, мы тогда будемъ сильнѣе англичанъ.»

Самою разгульною мечтою и бредомъ Ивана Васильевича былъ поединокъ двухъ фрегатовъ, русскаго и англійскаго; при чемъ, разумѣется, первый состоялъ подъ его начальствомъ. Онъ приходилъ въ изступленіе, описывая событіе это съ такою подробностію, съ такимъ знаніемъ дѣла и вѣрностію, что у слушателей занималось дыханіе. Онъ требовалъ для этого хорошій фрегатъ, поправки и снаряженія безъ всякаго ограниченія, офицеровъ, которые бы отнюдь не ссорились между собою, а команду какую угодно, все равно, и годъ практики въ морѣ. «Годикъ въ морѣ,—говаривалъ онъ: — я и чорта выучу, коли отдать его подъ мою команду. Мнѣ чужой науки не надо; я слажу и самъ; годъ въ морѣ — великое дѣло; всякаго можно приставить къ своему мѣсту и дѣлу, вся команда свыкнется и обживется; поставивъ спросонья штормовые стакселя, она себѣ уснетъ опять, какъ на рейдѣ.»

— Чуть свѣтъ, въ исходѣ шестой склянки,—продолжалъ Иванъ Васильевичъ, сверкая калеными сѣрыми глазами изъ-подъ бѣлыхъ бровей:—меня будятъ: судно прямо на зюйдъ. Вскакиваю, выбѣгаю съ трубой, которую я, какъ вы знаете, никому не даю въ руки...

— Чтобъ не сглазили, замѣтилъ другой.

— Да, чтобъ не сглазили, — отвѣчалъ Иванъ Васильевичъ:—какъ у меня сглазили ихъ ужъ двѣ: уронили за бортъ.

— Не перебивай,—шепнулъ третій, толкнувъ товарища локтемъ, и Иванъ Васильевичъ, не безъ удовольствія замѣтивъ, что въ собравшемся около него

кружкѣ не одни мичмана, а также двое старыхъ товарищей его, продолжалъ:

— Вскинулъ трубу—такъ, англичанинъ; его знать по осанкѣ. Это передовикъ. Бить тревогу, очистить палубы; готовиться къ дѣлу; по два ядра въ пушку; осматривать горизонтъ, не покажутся ли еще гдѣ паруса. — Спускайся: держать прямо на него. Фрегатъ подъ русскимъ флагомъ! Прекрасно, подымай англійскій флагъ! Брамсели долой!—А, вотъ и другое судно, это товарищъ его; кажется, бригъ... бригъ и есть, но онъ миль 15 подъ вѣтромъ; быть не можетъ, чтобы фрегатъ, чтобы англичанинъ уклонился отъ боя, а бригъ опоздаетъ; останутся однѣ щепки. Непріятель поднялъ англійскій флагъ съ пушкой — ядро дало всплескъ подъ кормой; подымай нашъ флагъ и гюйсъ: три пушки за одну, для почета, а затѣмъ не палить: полкабельтова настоящая мѣра. Ядро у насъ перебило ванту—ядро засѣло въ скулу — констапель говоритъ, что настоящая мѣра... проситъ позволенія... Скажи констапелю, что я его посажу въ трюмъ, коли онъ будетъ разсуждать: полкабельтова моя мѣра; не смѣть палить до приказанія. Непріятель лежитъ на правомъ галсѣ: держи подъ корму, подошедши на кабельтовъ, приводи вдругъ — лѣво на бортъ — пошелъ брасы съ лѣвой — залпъ: кто навелъ, пали! право на бортъ! спускайся подъ корму! залпъ правымъ бортомъ, да продольный, наискось... У англичанина стеньги полетѣли, рулевую петлю своротило да зажало крюкомъ, и руль стоитъ какъ вкопаный, дуракъ дуракомъ... Приводи, лѣво на бортъ, пошелъ брасы на лѣвой — валяй по два ядра! Фрегатъ валитъ прямо на насъ, вышелъ изъ вѣтру, руль не рулитъ... подай его сюда! абордажные! готовься—за мной!..

Свирѣпо прорвался Иванъ Васильевичъ сквозь тѣсный кружокъ и, сдѣлавъ шага три, повер-

нулся, опустивъ руку и сказалъ вполголоса: «шишъ вамъ.»

— Да вы забыли свой то фрегатъ, — замѣтилъ кто-то среди общаго, шумнаго одобренія:—что на немъ дѣлается. Вѣдь и непріятель палитъ не подушками, а такими же ядрами!

— Ну такъ чтожъ,—отвѣчалъ Иванъ Васильевичъ, заложивъ руки въ карманы: — чтожъ изъ этого? Ну, насъ съ вами выкинули за бортъ, можетъ статься и по частямъ, кто голову, кто руку да ногу, а мѣсто, гдѣ мы стояли, подтерли шваброй; вотъ и вте...

Иванъ Васильевичъ былъ искусный и наглый плутъ, гдѣ надо было щегольнуть и покрасоваться въ морѣ передъ другими; ни у кого не было на-готовѣ столько уловокъ, чтобы первымъ спустить брамъ-реи или брамъ-стеньги, взять рифы и пр. Въ такихъ случаяхъ у него все было подготовлено на каболочкахъ и все дѣлалось на фальшиво. Но онъ, вовсе не будучи честнымъ, потому что какъ то не зналъ этой добродѣтели и не цѣнилъ ея, былъ, однакоже, весьма не корыстенъ, и никогда не пользовался какими-либо ненепозволительными доходами, всего же менѣе на счетъ команды. Какъ объяснить это, при другихъ, довольно превратныхъ нравственныхъ понятіяхъ, я не совсѣмъ понимаю; кажется, это было одно только безотчетное отвращеніе, основанное на равнодушіи ко всему стяжанію. Жадность и скупость, даже нѣсколько тщательная бережливость, въ глазахъ его были пороки презрѣнные; зато всякій порокъ, согласный съ молодечествомъ, наглостью и похвальбою, слыли въ понятіяхъ его доблестями.

При такихъ свойствахъ, порокахъ, недостаткахъ и достоинствахъ Ивана Васильевича, почти всѣ командиры за нимъ ухаживали и просили о назначеніи его къ нимъ. Съ такимъ старшимъ лейтенантомъ на фре-

гатѣ, командиръ могъ спать спокойно и избавлялся большей половины заботъ своихъ. Иванъ Васильевичъ на шканцахъ никогда не забывался, никогда не нарушалъ чинопочитанія, но самостоятельность его вообще устраняла всякое вмѣшательство и не любила ограниченій или стѣсненій. Правда, что командиръ, положившись на него разъ, въ немъ не обманывался: вооруженіе, обученіе команды, управленіе парусами, — все это было въ самомъ отличномъ порядкѣ; но команда терпѣла отъ непомѣрной взыскательности, отъ жестокости своего учителя и нерѣдко гласно роптала. Поэтому было нѣсколько командировъ, предпочитавшихъ офицера, можетъ быть, не столь опытнаго и рѣшительнаго, но болѣе разсудительнаго и добродушнаго.

Этотъ другой былъ — Ѳедоръ Ивановичъ. Головою выше перваго, болѣе статный и видный собою на берегу, съ мягкими, общими чертами лица, онъ однакоже на шканцахъ много терялъ рядомъ съ Иваномъ Васильевичемъ, и сравнительно съ нимъ казался нѣсколько робкимъ и малодушнымъ. Позже, будучи самъ командиромъ, онъ былъ въ дѣлѣ и доказалъ, что внѣшность обманчива; всѣ отзывались о немъ съ уваженіемъ.

Товарищи дружески называли Ѳедора Ивановича подкидышемъ морского корпуса; овдовѣвшая мать привезла его въ Петербургъ и при томъ, по какимъ то безтолковымъ увѣреніямъ пріятелей, почти прямо съ пути въ корпусъ, гдѣ не было празднаго мѣста, и онъ не могъ быть принятъ. Больная и вовсе безъ денежныхъ средствъ, она до того разжалобила Марка Филипповича, что онъ оставилъ мальчика на время у себя или у кого-то изъ офицеровъ; мать хотѣла пріѣхать на другой день, пропала безъ вѣсти и черезъ недѣлю съ трудомъ только дознались, что она слегла въ ту же

ночь и вскорѣ скончалась, въ безпамятствѣ, на какомъ-то постояломъ дворѣ или подворьѣ. Что было дѣлать съ бѣднымъ подкидышемъ? Къ счастію, бумаги его уцѣлѣли, и онъ былъ принятъ въ корпусъ круглымъ сиротой. Гардемариномъ еще попалъ онъ въ дальнее плаваніе, а мичманомъ сходилъ въ Камчатку, а потому слава и достоинства опытнаго моряка были ему обезпечены на всю жизнь.

Ѳедоръ Ивановичъ былъ высокаго росту, строенъ, темнорусъ, сѣроглазъ, съ какимъ то добродушнымъ отрѣзомъ или морщиной между щекъ и губъ. Эта черта поселяла довѣренность въ каждомъ, кто глядѣлъ ему въ лицо. Маленькія, пригожія уши и вольная прическа нѣсколько волнистыхъ волосъ придавали ему свободную и угодную наружность; но тѣсныя, сжатыя плеча и прижимистые локти намекали на мелочность, ограниченный взглядъ и нѣсколько тѣсныя понятія. У Ивана Васильевича руки были только навѣшены въ плечахъ и болтались просторно; у Ѳедора Ивановича онѣ были почти на заклепкахъ и не двигались безъ надобности. Ѳедоръ Ивановичъ также не рѣшался разставлять ноги свои вилами, хотя это при качкѣ удобнѣе, а стоялъ всегда твердо на одной ногѣ, подпираясь другою.

Въ бесѣдѣ Ѳедоръ Ивановичъ былъ очень пріятенъ, но скроменъ и тихъ; зато на шканцахъ я не слыхивалъ такого неугомоннаго крикуна. Иванъ Васильевичъ никогда почти не бралъ въ руки рупора; Ѳедоръ Ивановичъ, напротивъ, не выпускалъ его изъ рукъ, хотя и командовалъ обыкновенно своимъ голосомъ, довольно звучнымъ, но крикливымъ. Прокричавъ командное слово, онъ продолжалъ, тѣмъ же голосомъ, понукать направо и налѣво, окликать старшаго на ютѣ, на бакѣ, на марсахъ, повторялъ опять команду, бранился и ругался, на чемъ свѣтъ стоитъ — хотя и не такъ утон-

ченно грязно, какъ Иванъ Васильевичъ—бѣгалъ суетливо взадъ и впередъ, съ возгласами: «что это, это что? Мордва, Литва!» и пр. Со всѣмъ тѣмъ Ѳедоръ Ивановичъ зналъ свое дѣло отлично, обходился съ командой умно и разсудительно, велъ подчиненныхъ прекрасно, умѣлъ занять каждаго и пріохотить къ дѣлу. Если насмѣшники и говорили о немъ, что клетневка, остропка блоковъ и оплетка рѣдечкой концовъ были главнымъ предметомъ его занятій, то это доказывало только, что Ѳедоръ Ивановичъ не пренебрегалъ и этими мелочами, весьма важными въ быту моряка, и не имѣлъ надобности чуждаться ихъ, потому что зналъ всѣ работы эти самъ, едва ли не лучше всякаго боцмана.

Богомольный, не по обязанности и уставу только, а по чувству и потребности, но богомольный настолько, на сколько святость доступна человѣку внѣшнему; ровный и терпѣливый въ обращеніи своемъ, честный и добросовѣстный въ отношеніи къ товарищамъ, твердый въ словѣ, благородный въ поведеніи, Ѳедоръ Ивановичъ, однакоже, былъ не безъ пятна, и правду сказать, не безъ темнаго. Будучи о семейной жизни противоположнаго мнѣнія съ Иваномъ Васильевичемъ, онъ охотно мечталъ объ этомъ состояніи, какъ о цѣли всѣхъ надеждъ своихъ и служебныхъ трудовъ. Жена по мыслямъ, свой домокъ, свой уголокъ, свой укромный садикъ, въ которомъ роются ребятишки какъ кроты, — кто этимъ не прельстится! Но какими путями бѣдному подкидышу морского корпуса достигнуть такой блаженной мечты! Лейтенантъ получалъ въ то время 730 рублей ассигнаціями! Примѣръ и привычка вызывали въ мысляхъ Ѳедора Ивановича одну только сбыточную картину, одинъ только сбыточный къ ней путь: сквозь мракъ ночной вахты и сквозь туманъ утренней, онъ видѣлъ въ концѣ своего

поприща уютное мѣстечко при портѣ: — поставки — подряды—сдѣлки—свидѣтельства годнаго и негоднаго— разсчеты и недочеты — вотъ, чѣмъ играло скромное воображеніе Ѳедора Ивановича, и вотъ, что утѣшало безотрадную будущность его. Онъ поговаривалъ объ этомъ не скрываясь, бесѣдовалъ съ товарищами откровенно, не чая въ этомъ ни грѣха, ни неправды. Онъ прибавлялъ еще къ этому: «что дѣлать, вѣдь въ нашемъ быту семьи не обезпечить; экипажные командиры все сами строютъ, всѣмъ сами завѣдуютъ, нашъ братъ, ротный командиръ, только для славы числится начальникомъ, а доходовъ нѣтъ. Проходитъ лѣто въ морѣ — одни копѣечные остатки отъ порціонныхъ, да барышишки отъ жалованья, что квартиры не нанимаешь; доведется пробыть лѣто на берегу — пяти человѣкъ нельзя выслать на покосъ: людей нѣтъ, всѣ у командира на ординарцахъ...»

Какъ же вы объясните эту черту изъ нрава Ѳедора Ивановича? Совмѣстна ли она съ признаннымъ благородствомъ его? — Къ сожалѣнію, къ прискорбію нашему, совмѣстна.

Нравы Ивана Васильевича и Ѳедора Ивановича, какъ вы видѣли, не только было несходны, но почти противоположны; два человѣка эти, даже какъ моряки, не походили другъ на друга, хотя каждый изъ нихъ и былъ отличный, прекрасный морякъ: Иванъ Васильевичъ терпѣть не могъ мелей, рифовъ и подводныхъ камней; отчаянно-спокойный при всякой иной опасности на морѣ, онъ иногда нѣсколько терялся при внезапнемъ крикѣ съ баку: «бурунъ впереди!» — Напротивъ, Ѳедоръ Ивановичъ оставался ровнымъ всегда и во всякое время, при всѣхъ опасностяхъ, пугаясь мели не болѣе, какъ и шторма, и течи, и пушки; Ѳедоръ Ивановичъ никогда не соглашался на такъ называемыя невинныя хитрости, на преждевременную вы-

бивку шлагтова, на фальшивую привязку марселей каболкой, чтобы во время общаго ученья удивить адмирала быстротою спуска стеньги и перемѣны марселей; это Ѳедоръ Ивановичъ, безъ всякихъ околичностей, называлъ мошенничествомъ и, готовый принять хладнокровно всякое взысканіе или порицаніе, за медленность и неповоротливость команды, въ сравненіи съ плутующими сверстниками, не отступалъ отъ своихъ правилъ чести. Иванъ Васильевичъ, напротивъ, называлъ это глупымъ упрямствомъ и бахвальствомъ; но онъ зато, безъ многословія, съ презрѣніемъ отвергалъ всякое крохоборство, всякую наживу и поживу; безчеловѣчный въ обращеніи съ командой, гдѣ дѣло шло о перенесеніи служебныхъ трудностей и опасностей, онъ считалъ варварствомъ высылать людей на свою работу, на покосъ; Ѳедоръ Ивановичъ, напротивъ, мягкій, сочувствующій всему и всѣмъ, съ развитымъ понятіемъ о справедливости, не будучи въ состояніи обидѣть чѣмъ либо послѣдняго безгласнаго простолюдина,—Ѳедоръ Ивановичъ, считавшій самъ себя богобоязненнымъ и богомольнымъ человѣкомъ, строилъ все благоденствіе будущности своей, все семейное счастіе, свято имъ чтимое, именно на этихъ покосахъ, на надеждахъ доходнаго мѣстечка!

А между тѣмъ, объясненіе на виду. При всѣхъ добрыхъ качествахъ Ѳедора Ивановича, при всемъ несходствѣ его съ Иваномъ Васильевичемъ, онъ походилъ на него, какъ двѣ капли воды, въ томъ отношеніи, что и подъ нимъ также не было надежной сваи, и онъ носился въ утломъ челнѣ своемъ надъ неразгаданною бездною; носился безсознательно и безотчетно. И въ немъ не доставало нравственнаго основанія; помышленія и чувства были хорошо развиты, но яснаго сознанія о долгѣ человѣка, о томъ, что пуще всего онъ долженъ хранить въ себѣ, какъ неискажаемую,

неприкосновенную святыню, въ немъ не было. Люб
и воля его обратились въ стремленіе къ насущно
духъ подчинился плоти, и далѣе, чѣмъ видитъ и с
шитъ плоть эта, и самъ онъ не видитъ, не слыши
не знаетъ и даже не чаетъ ничего: слухъ и зрѣ
духовные пригнетены, заморены...

XVI

О КОТАХЪ И О КОЗЛѢ

И подумалъ я еще вотъ что: много у насъ толкуютъ — а ино и толкутъ — о родномъ, о народномъ, о своемъ, свойскомъ, доморощенномъ, отечественномъ, русскомъ,— а иной, поутершись батистовымъ платочкомъ, съ цвѣтной каймой, заводитъ рѣчь *о національномъ*; и это вишь потому, что какъ заговоришь попросту, по-русски, такъ вотъ такъ и стоитъ передъ почетнымъ кавалеромъ нашимъ—сохрани его Господь и помилуй — мужикъ въ зипунѣ да въ лаптяхъ; въ очью диво совершается! А *народное* и *простонародное* покуда еще у насъ одно и то же; а мужичка въ лаптяхъ хоромный людъ нашъ цурается, что красная въ шелку дѣвица паука да лягушки.—Такъ много, говорю, стали у насъ толковать нынѣ объ этомъ родномъ и народномъ... Да чуть ли, не въ обиду сказано, коты наши не колобродятъ вкругъ горячихъ щей: то на одного подуетъ паръ, то на другого; коты наши облизываются и разговоръ промежъ себя ведутъ, словно люди, и тонко, и круто, и звонко голосами выводятъ, и ночь и день мяучатъ, покою не даютъ... Да не слыхать что-то еще поколѣ, локнулъ ли который изъ

нихъ, хоть разъ, горячихъ щей изъ горшка; хоть бы сказалъ намъ, какой въ нихъ вкусъ живетъ!

Можетъ статься и не всякъ такъ со мною подумаетъ, а иной и поспоритъ; нужды нѣтъ, передъ нимъ. Кто что иное да лучшее знаетъ—сказывай, мы станемъ слушать; а намъ такъ думается — моготы въ себѣ не пересилишь, противъ вѣры не повѣришь. Намъ то и дѣло видится, какъ ухаживаютъ коты вкругъ горячихъ щей, вкругъ завѣтнаго горшка: одинъ мяучитъ на весь міръ, словно кто драйкомъ тебѣ въ ушахъ ковыряетъ; другой ломается да надсѣдается; третій сидитъ, притаился, вздулъ спину копной, урчитъ, а самъ ушами прядетъ, да ершится, да косится на-сторону; четвертый подсѣлъ и лапки поджалъ, зажмурился, носъ повѣсилъ да снуетъ, храпитъ втихомолку себѣ—стало-быть сидѣть ему такъ больно сподручно и привольно, и самъ онъ на себя угодилъ. А подойди да послушай ихъ, такъ тебѣ такія рѣчи запѣваютъ затѣйливыя, что послушаешь да и отойдешь. Спросите: а что же-де говорятъ они? Да мудрено какъ то вслушаться, а и того мудренѣе припомнить, что слышалъ. Поколѣ слушаешь ихъ, такъ будто слышишь; а только отвернулся, то словно кто гороху въ свиной пузырь положилъ, да колотилъ тебя по башкѣ—только тѣмъ и отзывается; словно вотъ дымъ какой передъ тобою вѣтромъ разнесло, ничего въ поминѣ не осталось, только что маленько глаза ѣстъ. Одинъ говоритъ; «Мы, вишь, всѣхъ лучше и всѣхъ краше, а прочій, иной, заморскій людъ намъ и въ накопыльники не годится». — А отчего такъ? — «Да оттого-де, что это мы». — «Что дѣло, то дѣло; и это *ссуть резонтъ*». Другой говоритъ: «Свое, такъ стало быть оно и родное, и родимое, оно жъ и народное, оно и душу шевелитъ, и противъ сердца, подъ ложкой, копышется; кричи только ой! да охъ! да всплескивай

руками, такъ и поймешь все это и полюбишь, не разстанешься». Тѣ велятъ учиться говорить и писать изъ разговоровъ въ *салонѣ*, и не думаютъ о томъ, что *солоно* отзовется намъ когда-нибудь этотъ салонный разговоръ. Тѣ велятъ учиться изъ своихъ, изъ доморощенныхъ книгъ; тѣ опять — держаться одной старины, а отъ новинки бѣгать—у отцовъ учиться, а не у сыновей и внучатъ. Иной опять говоритъ: «Все это прэхъ и суета, все пустяки; отъ квасу да отъ сусла у васъ на душѣ мутитъ, плюнь да покинь, не ломай головы, бери готовое, тамъ, гдѣ припасено: намъ-де того не выдумать, что выдумали другіе; опять же заморское все и лучше и дороже, затѣмъ на него и пошлина положена, и больше за него денегъ переплачиваютъ; не московской тафтичкѣ чета».

А погляди, что всѣ они, совѣтники наши, сами дѣлаютъ, такъ концовъ съ концами и не сведешь. Кто бранитъ наповалъ все заморское, тотъ самъ первый оттуда все и таскаетъ—только развѣ на изнанку иную пору выворачиваетъ. Кто бранитъ свое, тотъ, глядь, либо тутъ, либо тамъ, промежъ французскаго да нѣмецкаго языка своего, и вщемитъ, словно волчій хвостъ въ лещедку, что-нибудь свойское, — такъ, ради пестроты и смѣху. Одинъ копается да роется за однимъ, другой за другимъ, третій за третьимъ,—и всякъ отстаиваетъ свое, у всякаго изба срублена со словцомъ, спроста... Ой, музыканты вы, музыканты! Да ужъ дайте, сядемъ что ли рядомъ!

Я бы думалъ такъ: поменьше молоть, да побольше молотить, а гдѣ еще не засѣяно, пахать да сѣять. Раненько еще, утреники прихватываютъ; не порывайтесь на печеный хлѣбъ да на муку. Хлѣбъ то и есть, да онъ еще на корню стоитъ и не цвѣтетъ; тутъ до мукомольной мельницы вашей еще много воды утечетъ.

заръ, коли кто не захочетъ глядѣть въ тѣ очки, которыя кому надѣвалъ: ослѣпнешь, говоритъ, пропадешь ни за грошъ, лопнутъ у тебя глаза, коли не возьмешь моихъ очковъ; да ты, какъ погляжу я, и теперь ничего не видишь, и глядишь да не видишь; безъ моихъ очковъ тебѣ житья не будетъ на бѣломъ свѣтѣ, ни отъ меня, ни отъ людей; бери, да сажай верхомъ на носъ, не то не отвяжусь, не остану.

Вотъ каковъ прасолъ нашъ: будто всякому человѣку не своя воля, и будто прасолу ль, кому ль другому, дана власть силовать встрѣчнаго и поперечнаго, да заставлять надѣвать на носъ мутныя стекла свои! Будто Господь на то далъ глаза, чтобы не глядѣть ими, каковы они есть, а глядѣть въ очки прасола, который и самъ продаженъ, какъ продаженъ товаръ его, и душа въ немъ продажная, да еще можетъ статься и съ очками, со всѣмъ, не стоитъ онъ одного здороваго глазу, какъ Господь создалъ.

И вотъ эта-то притча не хороша, и никому по моему не годится. Есть ли еще другія притчи объ очкахъ? Не знаю, а объ этой скажу еще вотъ что. Бываютъ очки разныя; есть такія, что какъ надѣнешь ихъ, то въ нихъ все тебѣ покажется больше настоящаго; въ нихъ и муха съ жука будетъ, а ино и съ теленка. Есть такія очки, что скрадываютъ, кажутъ меньше настоящаго; есть еще черныя и зеленыя очки, желтыя и синія, и въ нихъ глядѣть, такъ и снѣгъ не бѣлъ, и солнышко черно. Есть и такія, гдѣ по сторонамъ придѣланы сторожки, заслоночки, чтобы, вишь, закрыть ими весь Божій міръ, и глядѣть бы только прямо на то, что передъ носомъ. Всѣхъ очковъ этихъ мы что-то не любимъ, а глядимъ просто и прямо, своими глазами, поколѣ они здоровы; такъ по крайности знаешь, что видишь, и видишь все такимъ, каково оно есть; а жмуримся ину пору только отъ пыли, чтобы кто

XVII

ОБЪ ОЧКАХЪ

Есть притча,—о томъ, какъ мартышка низала очки на хвостъ и сажала ихъ на затылокъ, а еще куда тамъ,—не упомню, да хотѣла разбирать грамоту. Однако, грамота мартышкѣ не далась, и за это стали виноваты очки. Эта притча хороша. Есть еще другая: какъ безграмотному мужику хотѣлось въ пономари, да сталъ онъ покупать на ярмаркѣ, у проѣзжаго нѣмца, очки на выборъ; и надѣвалъ онъ ихъ, да повертывалъ передъ собою книгу, то къ себѣ, то отъ себя ногами,—и больно дивовался, что не подберетъ по глазамъ очковъ, не разберетъ грамоты, тогда какъ слышалъ, что у нѣмца на все *струментъ* есть, и видѣлъ самъ, что люди въ очкахъ читаютъ. И эта притча хороша, и она годится. А вотъ есть еще третья притча про очки, такъ уже она, по нашему, никуда не годится, хоть брось. Нашелся, сказываютъ, гдѣ-то прасолъ, который придумалъ торговать очками и навязывалъ очки всякому, и зрячему, и слѣпому, безъ разбору и не по глазамъ прибиралъ ихъ, а такъ, какія о ту пору въ залишкѣ случались, только бы съ рукъ ихъ сбыть. Прасолъ этотъ бывало бранится на весь ба-

заръ, коли кто не захочетъ глядѣть въ тѣ очки, которыя кому надѣвалъ: ослѣпнешь, говоритъ, пропадешь ни за грошъ, лопнутъ у тебя глаза, коли не возьмешь моихъ очковъ; да ты, какъ погляжу я, и теперь ничего не видишь, и глядишь да не видишь; безъ моихъ очковъ тебѣ житья не будетъ на бѣломъ свѣтѣ, ни отъ меня, ни отъ людей; бери, да сажай верхомъ на носъ, не то не отвяжусь, не остану.

Вотъ каковъ прасолъ нашъ: будто всякому человѣку не своя воля, и будто прасолу ль, кому ль другому, дана власть силовать встрѣчнаго и поперечнаго, да заставлять надѣвать на носъ мутныя стекла свои! Будто Господь на то далъ глаза, чтобы не глядѣть ими, каковы они есть, а глядѣть въ очки прасола, который и самъ продаженъ, какъ продаженъ товаръ его, и душа въ немъ продажная, да еще можетъ статься и съ очками, со всѣмъ, не стоитъ онъ одного здороваго глазу, какъ Господь создалъ.

И вотъ эта-то притча не хороша, и никому по моему не годится. Есть ли еще другія притчи объ очкахъ? Не знаю, а объ этой скажу еще вотъ что. Бываютъ очки разныя; есть такія, что какъ надѣнешь ихъ, то въ нихъ все тебѣ покажется больше настоящаго; въ нихъ и муха съ жука будетъ, а ино и съ теленка. Есть такія очки, что скрадываютъ, кажутъ меньше настоящаго; есть еще черныя и зеленыя очки, желтыя и синія, и въ нихъ глядѣть, такъ и снѣгъ не бѣлъ, и солнышко черно. Есть и такія, гдѣ по сторонамъ придѣланы сторожки, заслоночки, чтобы, вишь, закрыть ими весь Божій міръ, и глядѣть бы только прямо на то, что передъ носомъ. Всѣхъ очковъ этихъ мы что-то не любимъ, а глядимъ просто и прямо, своими глазами, поколѣ они здоровы; такъ по крайности знаешь, что видишь, и видишь все такимъ, каково оно есть; а жмуримся иную пору только отъ пыли, чтобы кто

не пустилъ ся въ глаза, да щуримся отъ солнышка, коли нѣтъ силъ на него глядѣть—и дивуемся только, отколѣ берется блескъ его, и хвалимъ, и славословимъ Господа.

Болѣ мы объ очкахъ не знаемъ ничего, кромѣ развѣ оправа на нихъ бываетъ разная: серебряная, золотая, желѣзная, черепаховая, роговая и кожаная; да только тутъ, кажись, не въ оправѣ дѣло. Можетъ, спросите еще: «А какія-де у прасола твоего были очки?»—Не знаю; не людскія какія-то, все казали не такимъ, каково оно есть.

XVIII

НОВЫЯ КАРТИНЫ РУССКАГО БЫТА

1) СѢРЕНЬКАЯ

I

ЦЕХОВОЙ СЪ ТОВАРИЩЕМЪ

Запоздалые огоньки мерцаютъ въ тусклыхъ, маленькихъ окошечкахъ села; кой-гдѣ, при лучинѣ засиживаетъ рабочая пряха за мычкой; въ одной избѣ тоскливая мать сидитъ надъ умирающимъ ребенкомъ, въ другой—блеклый полусвѣтъ едва пробивается на улицу въ мутное оконце, и лампадка теплится передъ иконой, наканунѣ дня ангела хозяина.

Въ плохой, ветхой избенкѣ ставни притворены и кой какъ приперты, а въ щели виденъ свѣтъ. На столѣ нагорѣлая сальная свѣча, которая какъ-то не подходитъ къ голымъ стѣнамъ и пустодомству, а будто занесена со стороны. Распустивъ локти и положивъ на нихъ взъерошенную головищу, оборванный мужикъ храпитъ, а на печи слышенъ удушливый кашель старухи. Дверь тихо, осторожно отворяется, и входитъ

шизенькій, острорылый цеховой, похожій на вороватую крысу, съ ношей въ мѣшкѣ подъ мышкой. Онъ ремесла, кромѣ воровства, никакого не знаетъ, а побылъ въ работникахъ у какого-то печатника, въ городѣ, въ цеховые жъ попалъ потому только, что неволятъ куда-нибудь приписываться, такъ жить нельзя. Онъ растолкалъ спящаго, заперши напередъ двери за собою на крючокъ, и они стали перешептываться, покашиваясь на печь.

Бабушка Михайлы, пустодомнаго хозяина, который съ похмелья таращилъ сонные глаза на пришельца, не спала или проснулась, и молча глядѣла на нихъ, спустивъ ноги съ печи. Покачавъ головой, когда внукъ взглянулъ на нее исподлобья, она сказала старческимъ, дрожащимъ голосомъ, въ которомъ однакоже слышалась твердость души и послѣднее, неизмѣнное слово:

— Михайла, ты что это опять затѣваешь? Этотъ зачѣмъ опять бродитъ около тебя по ночамъ? На доброе дѣло, небось, сходитесь? Мало тебѣ того, что полтора года просидѣли вы съ нимъ въ острогѣ, еще хочется? А Богъ-то что? Былъ ты человѣкъ, какъ и другіе люди, сватажился ты съ этимъ, съ нами крестная сила, и пропалъ ты, и съ головой своей! Ни Богу свѣча, ни чорту ожигъ...

Михайла очнулся, и перебивъ бабку свою, на слѣпоту которой негодяи понадѣялись, сталъ грубо съ нею браниться: цеховой тотчасъ вмѣшался пролазчивымъ, тонкимъ голосомъ своимъ, устраняя Михайлу и стараясь угомонить вышедшую изъ себя старуху:

— Ты, бабушка, молчи, молчи,—щебеталъ онъ и рѣзко, и вкрадчиво, и ядовито;—ты молчи, все помалчивай, молча легче, не твое это дѣло, дѣло мужское, наше, промежъ себя, а ты знай свое, сосновый сарафанъ поминай, вѣдь не два вѣка тебѣ жить на свѣтѣ...

— А ты бы напередъ научилъ Михайлу пришибить меня старуху, да выкинуть вонъ, — отвѣчала она,—такъ вотъ бы вамъ и просторъ былъ въ пустой-то избѣ, въ голыхъ стѣнахъ, и дѣлали бы, что хотѣли; вдолгѣ ли, вкороткѣ, а всѣмъ тамъ быть, въ сосновомъ сарафанѣ, да каково душенькѣ-то нашей будетъ? Ты куда Михайлу-то за собою тянешь, въ петлю? Миша, вотъ тебѣ послѣднее слово: развяжись ты съ бѣсомъ этимъ на семъ часѣ, вотъ съ мѣста не сходя, и покинь это дѣло; ты думаешь, слѣпа и не смекаю? Покинь, брось, перекрестись, да выгони его; ты слышишь, что ли? Говори, отрекаешься, аль нѣтъ?

— Сиди, молчи на печи,—отвѣчалъ тотъ злобно: — не твое дѣло!

— Попутай же тебя Господь, — проговорила бабушка мужскимъ, старушечьимъ голосомъ: — попутай тебя черезъ хранителя твоего, Архангела, а мнѣ подъ одною матицей съ разбойниками не быть! Не будетъ же тебѣ покою, ни живота, ни смерти, покуда не разсыплется прахомъ послѣдній клочокъ твоего окаяннаго дѣла! Спаси, Господи, погибшую душу!

Она слѣзла съ печи, щупая вышла изъ избы въ сѣни и на улицу, и побрела по селу, думая, куда теперь идти, гдѣ пріютиться, не слыша на себѣ и холоднаго ситничка, который моросилъ передъ разсвѣтомъ

Цеховой махнулъ рукой вслѣдъ за старухой, заперъ опять дверь на крючокъ, и оба принялись за дѣло. Дѣломъ этимъ въ городѣ цеховой заниматься боялся, да у него же и не было тамъ своего угла; ему при томъ нуженъ былъ и помощникъ, и человѣкъ для сбыта товара, нуженъ былъ и темный, глухой уголъ, гдѣ онъ днемъ не показывался, и гдѣ бы его никто не сталъ искать; для всего этого онъ приспособилъ себѣ Михайлу и его пустую избенку, гдѣ, кромѣ

слѣпой старухи, никого болѣе не было. Снаряды, которые онъ принесъ въ мѣшкѣ, лежали у него зарытые въ лѣсу, а кое-что было спрятано и у Михайлы, въ хлѣвочкѣ, въ которомъ давно уже не бывало ни одной шерстинки. За ночь у нихъ поспѣли по двѣ *сѣренькія* на брата, то-есть по двѣ пятидесятныя бумажки, а снаряды до свѣту убраны были по мѣстамъ, и цеховой исчезъ изъ села, будто никогда и не бывалъ тамъ.

И пойдетъ проклятый лоскутъ этотъ по всей Руси, на горе и на гибель многихъ. Гдѣ полежитъ неузнаннымъ и такимъ же уйдетъ; а гдѣ, наткнувшись на улику, схоронится, притаится, и послѣ многихъ проклятій найдетъ таки рокового, который поплатится за простоту свою, и въ свою очередь, не чая въ томъ грѣха, охая и вздыхая, станетъ соваться съ нимъ во всѣ концы, покуда не свалитъ бѣды своей на чужую шею. Какъ жгучій уголь, какъ червь, какъ шашень протачивается этотъ лоскутокъ сквозь цѣлый рядъ неповинныхъ, покидая на каждомъ слѣдъ своей злобы и грѣха, покуда, наконецъ, опять не наткнется на рокового, который высидитъ за него цѣлые годы въ тюрьмѣ и выйдетъ наконецъ оттуда разоренный, безъ хлѣба и одежи, развращенный острожными товарищами. А много ли найдется даже, такъ называемыхъ, порядочныхъ людей, кои, призадумавшись надъ такою бумажкой, рѣшились бы истребить ее, чтобы не было съ нею больше грѣха? Помилуйте, да за что же я на себя поступлюсь, вѣдь не я ее дѣлалъ, не я виноватъ, что она мнѣ досталась! Кинуть ее въ огонь,— рука дрогнетъ, сердце захватитъ, а передать такъ или иначе другому—на это рука не дрогнетъ, и совѣсть промолчитъ: какъ она мнѣ досталась, такъ и ему; какъ я сбылъ, такъ сбывай и онъ!

II

ДѢЛО ВЪ ХОДЪ ПОШЛО.

Какому-то проѣзжему, въ уѣздномъ городкѣ, понадобилось размѣнять крупную бумажку; день былъ торговый, и его послали на базаръ; тамъ нашелъ онъ мужика, который только что продалъ барскій скотъ, довѣренный ему, конечно, какъ человѣку честному, надежному; давъ ему хорошій промѣнъ, проѣзжій размѣнялъ у него сѣренькую, работы цехового съ Михайломъ.

Итакъ, пошла она, горемычная, по бѣлу свѣту, какъ огонь адскій, безнадежно заливаемый слезами! Черезъ сколько рукъ она уже пополамъ съ грѣхомъ прошла, этого не знаемъ, но на сей разъ дѣло оборвалось на бѣдномъ мужикѣ; помѣщикъ не принялъ отъ него этихъ денегъ, онъ же, не зная, какъ быть, кинулся опять въ городъ, и въ простотѣ своей пошелъ кланяться по рядамъ, упрашивая купцовъ обмѣнять ее, и давалъ придачи; его взяла полиція, какъ завѣдомо сбывающаго поддѣльную бумажку; онъ даже и не отрекался отъ этого, разсказывая дѣло, какъ оно было. «Мнѣ-де проѣзжій ее подсунулъ, я человѣкъ неграмотный, темный; баринъ осерчалъ, прогналъ меня, говоритъ: гдѣ хочешь возьми деньги, да подай; а я кинулся къ добрымъ людямъ: хоть убытку понесу, говорю, хоть на себя поступлюсь, да лишь бы сбыть!»

Бѣдняка посадили въ острогъ, и началось уголовное дѣло объ Иванѣ Еѳимовѣ, «переводчикѣ фальшивыхъ денегъ». Можетъ быть, Еѳимовъ, во уваженіе простоты своей, и отдѣлался бы еще кой-какъ, но тутъ случилось вотъ что: какой-то несчастный чиновникъ въ судѣ соблазнился сѣренькою и выкралъ ее изъ

вушкой... Стой, молъ, тетка, не вой, послушай ты меня, не вой: служба началась, а ты зайди ко мнѣ послѣ обѣдни, вотъ за угломъ, Мякушкина домъ спроси, всякій укажетъ, заходи, а теперь угомонись! Сидимъ мы этакъ послѣ обѣдни за чаемъ, говорятъ: баба пришла, дьячихой сказывается, — ну, давай ее сюда, въ святъ день нужнаго не забывай. Гляжу, дьячиха моя маленько повеселѣла; за половину взяли, говоритъ она шопотомъ, сбыла; да еще и Богу славу воздала, за такое дѣло! Какъ быть, она, сердечная, чѣмъ виновата? Ну, говорю, быть такъ, другая половина за мной, тетка, садись, чайку выпей, да разскажи все, что и какъ было, благо бѣда миновалась. Вотъ она и начала:

«Облепиху, чай, знаете? Ну, народъ все, почитай, мордва, бѣдность, русскихъ настоящихъ мало: батюшка вотъ, да мы, дьячокъ Павелъ Митрофанычъ; живемъ въ нуждѣ, трудимся, рукъ не покладаючи; ину пору за крестины и попу-то пару лаптей поднесутъ, а намъ что достанется? Мы, вишь, всей семьей зайчину выдѣлываемъ, шубки набираемъ, а старшая дочка вязеньки вяжетъ, значитъ, на теплую обувь, такъ кормимся; ину пору и жаль малыхъ-то: маменька, шейка отъ этой работы болитъ, а пальцы всѣ спицами отбило; да дѣлать нечего, потрудись, говорю, Богъ труды любитъ, отца пожалѣй, а вотъ подрастешь, ситчику на московскій сарафанчикъ куплю. Ну, вотъ одинъ-то разъ я, у окна сидя, подбираю зайчину, глянула, попадья по-воду пошла, и говорю доченькѣ: ступай-ка и ты, Пашутка, съ ведерками, поразгуляешься маленько; глянула еще, что-то больно тихо, не весело идетъ попадья, ну, молъ, знать, опять у нихъ не ладно; я, сударь, вотъ и дьячиха, а не позавидую ей,—такое житье; и подумала: хоть поразговорю я ее маленько, и сама взяла ведра, и пошла за нею;

нецъ не вышелъ; ну, говорю, Богъ проститъ тебя, а я-де схожу, помолюсь и за себя, и за тебя. Пришелъ, церковь пуста, народу, почитай, нѣту, и священника нѣтъ еще, одни колокола поютъ. Слышу, въ холодной церкви, въ придѣлѣ, не то плачъ какой, не то причитанье; хочу заглянуть, анъ встрѣчу мнѣ здоровая, плечистая баба, подъ большимъ платкомъ, идетъ, словно бѣжитъ, и качается, и спотыкается, вся трясется, ни на кого не глядитъ, словно и глазами не видитъ, да передъ царскими дверьми бухъ, растянулась крестомъ и завыла опять: вопитъ, вопитъ и слова не молвитъ. Знать, сердечная, сына поставляетъ на службу, подумалъ я, а дѣло было вотъ въ наборъ; тутъ опять она вскочила да къ мѣстному образу, да опять бухъ передъ нимъ и заголосила, да оттуда ползкомъ къ образу Богоматери, да подняла тебѣ голосомъ выше колоколовъ! Полежавши тутъ, опять вскочила; опять побрела въ холодную; жалко стало ее; я за нею: чего, молъ, тетка, такъ убиваешься? Въ Божьемъ домѣ, во храмѣ, милосердіе и успокоеніе удрученныхъ; ты людямъ скажи горе свое, Господь черезъ людей помогаетъ! Ну, такъ-сякъ разговорились, она мнѣ и кажетъ изъ платка сѣренькую, въ 50 рублей: «вотъ, говоритъ, злодѣй-то истинный что сдѣлалъ надо мной!» А у самой руки и ноги дрожма дрожатъ. «Вотъ сироту-то убилъ! Копила, копила изъ крохъ, припасала на сыночка, на пору, какъ въ семинарію везти надо будетъ, вѣдь безъ этого у насъ не принимаютъ, да и одѣть его надо, ну, и пришла, и привезла, и не берутъ: бумажка то не годится! Вотъ онъ, злодѣй, что сдѣлалъ! Сердце вѣщунъ, вѣдь говорила я Павлу Митрофановичу: не мѣняй, не отдавай ты преосвященнаго благословенія, не бери ты отъ кабачника грѣшныхъ денегъ, проку не будетъ»... И завыла опять голосомъ, припавъ на руки, и закрутила бѣдовою голо-

вушкой... Стой, молъ, тетка, не вой, послушай ты меня, не вой: служба началась, а ты зайди ко мнѣ послѣ обѣдни, вотъ за угломъ, Мякушкина домъ спроси, всякій укажетъ, заходи, а теперь угомонись! Сидимъ мы этакъ послѣ обѣдни за чаемъ, говорятъ: баба пришла, дьячихой сказывается, — ну, давай ее сюда, въ святъ день нужнаго не забывай. Гляжу, дьячиха моя маленько повеселѣла; за половину взяли, говоритъ она шопотомъ, сбыла; да еще и Богу славу воздала, за такое дѣло! Какъ быть, она, сердечная, чѣмъ виновата? Ну, говорю, быть такъ, другая половина за мной, тетка, садись, чайку выпей, да разскажи все, что и какъ было, благо бѣда миновалась. Вотъ она и начала:

«Обленьиху, чай, знаете? Ну, народъ все, почитай, мордва, бѣдность, русскихъ настоящихъ мало: батюшка вотъ, да мы, дьячокъ Павелъ Митрофанычъ; живемъ въ нуждѣ, трудимся, рукъ не покладаючи; ину пору за крестины и пону-то пару лаптей поднесутъ, а намъ что достанется? Мы, вишь, всей семьей зайчину выдѣлываемъ, шубки набираемъ, а старшая дочка вязеньки вяжетъ, значитъ, на теплую обувь, такъ кормимся; ину пору и жаль малыхъ-то: маменька, шейка отъ этой работы болитъ, а пальцы всѣ спицами отбило; да дѣлать нечего, потрудись, говорю, Богъ труды любитъ, отца пожалѣй, а вотъ подрастешь, ситчику на московскій сарафанчикъ куплю. Ну, вотъ одинъ-то разъ я, у окна сидя, подбираю зайчину, глянула, попадья по-воду пошла, и говорю доченькѣ: ступай-ка и ты, Пашутка, съ ведерками, поразгуляешься маленько; глянула еще, что-то больно тихо, не весело идетъ попадья, ну, молъ, знать, опять у нихъ не ладно; я, сударь, вотъ и дьячиха, а не позавидую ей,—такое житье; и подумала: хоть поразговорю я ее маленько, и сама взяла ведра, и пошла за нею;

поклонились мы, а у нея слезы, что твой горохъ, такъ и сыплются! Ну, вотъ мы, поговоривъ, да потуживъ съ нею, идемъ отъ воды-то, глядимъ, карета ѣдетъ и прямо-таки къ церкви: тутъ два монаха вышли, третьяго, добре стараго, изъ кареты подъ руки принимаютъ, ведутъ на поповскій дворъ, а тутъ имъ поперекъ встрѣчу попадья моя съ ведрами, а я стою, гляжу; ужъ признала ль она его, аль вѣщее заговорило, только задрожала она вся,, да такъ съ полными ведрами въ ноги ему и чебурахнулась, и окатила ихъ всѣхъ! Владыка это,—ахнула я,—свѣты, владыка! Бѣгу домой, анъ словно вотъ ноженьки спутаны, ни съ мѣста! Митрофанычъ, преосвященный! А онъ только выпучилъ на меня глаза; аль застылъ ты,—кричу я,—слышь, владыка у попа! А сама хвать-похвать зайчину-ту, лоскутья, обрѣзки,—я хватаю, а она валится изъ рукъ! Пашутка подскочила помочь, а пылища-та, пылища въ избѣ такъ столбомъ и стоитъ!

«А гдѣ дьячокъ?» словно страшною трубой раздался голосъ, а я и не слыхала впопыхахъ, какъ дверь отшатнулась! Гляжу, владыка въ дверяхъ! Дьячокъ мой въ ноги, я съ ребятишками туда жъ, того толкну, этого пихну, а малые-тѣ въ ревъ, перепугались,—глупы еще, а пылища-то, пылища, такъ вотъ туча тучей изъ угла въ уголъ и суется!

«А вставай-ка, дьячокъ, говоритъ владыка: у попа и у васъ не здорово; погляжу на тебя, какъ тебя ноги держатъ! Какъ вскочитъ мой Митрофанычъ, да прямо передъ владыку рожей-то, и дохнулъ на него: а въ моемъ-то спокону и духу хмельного не бывало; я, говоритъ, преосвященнѣйшій, отъ роду родясь окаяннаго въ ротъ не биралъ, и зарокъ родительскій на это принялъ. Ладно-де, доброе дѣло, говоритъ владыка, коли завѣтъ родительскій помнишь, да съ попа своего

образца не берешь. Ну, дьячиха, говоритъ, унимай ребятъ своихъ да принимай гостя!

«Ахъ ты кормилецъ, нешто заправду? И что за благодать, владыка у насъ въ дому! А домъ-то, словно на грѣхъ, весь крошевомъ зайчины, обрѣзочками заваленъ, по полу-то рубежокъ на рубежкѣ, вишь, малый да подмалый тюфякъ набивали, да такъ все и покинуто, и убрать не поспѣли! А владыка говоритъ: «это-де не соръ, коли онъ у васъ на дѣло идетъ, а добро; я люблю, коли кто работаетъ, даромъ хлѣба не ѣстъ.» Я туда-сюда, за самоваришкомъ, а онъ сѣлъ на крылечко, да распытуетъ Митрофаныча: каково живете, да чѣмъ промышляете, а мой-то ему, что Богу, открываться, вотъ такъ и такъ, приходъ бѣдный, и попу-то едва на хлѣбъ достанется... «А на вино достается»? перебилъ его владыка... Мой-то такъ и остылъ, и языкъ прикусилъ; «ну, говори, говори», сказалъ владыка. Скорняжимъ намалѣ, преосвященнѣйшій, а дѣвчужки, старша, да подстарша, вязеньки, теплу обувь купцу поставляютъ, а сынокъ съ середнею помогаетъ мнѣ подбирать; этимъ, благодаря Бога, кормимся. «А много ли,—спрашиваетъ владыка:—въ годъ заработаешь?—Да рублей, молъ, съ тридцать въ годъ наберется. — «Ну, не много же»! И то славу Богу, гдѣ больше взять, нынѣ промыслы-тѣ не велики !— Вотъ онъ и чаю у насъ покушалъ, да еще, благословляя, двадцать пять рублей пожаловалъ, что нино испужались мы съ Митрофанычемъ за такія деньги! И рѣчи всѣ говорилъ тихія, да внятныя, просто пріѣхалъ нежданный, уѣхалъ желанный, словно сонъ какой, что и послѣ-то мы еле-еле опамятовались! Вотъ на селѣ и заговорили, худо-де быть попу, а дьячка, вишь, познадъ, что хорошій человѣкъ, и денегъ далъ ему! И услыхалъ это антихристъ-питейщикъ, и ну улещать: ты возьми у меня крупную, сѣренькую, мнѣ мелочь до

зарѣзу нужна, а ты крупную-то лучше не потратишь, отдавать же тебѣ ее, какъ по осени сына повезешь, все одно; а мы, вишь, на сынишка-то, чтобы въ семинарію его отдать, давно по грошику копили; это зналъ злодѣй, а какъ владыка подспорилъ намъ, такъ съ пятьдесятъ и набралось; и говорила я своему-то: Митрофанычъ, не отдавай владыкина благословенья, вези его деньги, отъ него пришли, пусть же онѣ идутъ и въ семинарію его; можетъ статься, онѣ лучше умилостивятъ начальство; такъ нѣтъ, мой-то, непростая душа, коли кто больно пристанетъ, такъ онъ, пожалуй, и рубашку съ плечъ отдастъ! Вотъ и отдалъ; я нынѣ собралась, надо везти въ городъ сынка, и владыка сказалъ, что надо, и завѣтныя денежки взяла съ собой, да по доброму совѣту роденьки и пошла размѣнять ихъ; а она, вишь, говоритъ мнѣ: ты такъ не носи, всѣ въ одинъ разъ; можетъ статься, говоритъ, и поменьше возьмутъ, а ты размѣняй, да какъ будешь похаживать, кланяться, такъ помалу и раздавай! Вотъ пошла, анъ мнѣ купцы говорятъ: не годится бумажка твоя, и не кажи ее въ люди никому, попадешься съ нею!

«Батюшки свѣты! Какъ сказали они мнѣ это, такъ у меня рѣзвы ноженьки подкосились, тутъ я и покатилась у нихъ на прилавокъ! Они ублажаютъ меня: иди, иди съ Богомъ, не вой, бѣду накличешь и на себя, и на насъ, а у меня и ногъ нѣтути, какъ я пойду? Вотъ, батюшка, благодѣтель ты мой, и засталъ ты меня горемычную на молитвѣ, въ церкви, а какъ попала туда, и сама не помню! Душу всю выплакала, такъ вотъ и тянетъ хоть руку на себя наложить, такъ впору—вонъ онъ что́ дѣлаетъ, некошной-то, соблазнитель, а тутъ Божья помочь, да добрые люди: за половину взяли у меня, да вотъ половину ты, родимый кормилецъ, жалуешь, и слава тебѣ Господи, знать, не безъ добрыхъ людей на свѣтѣ...»

— Вотъ съ той-то поры,—продолжалъ купецъ: — какъ привелъ Богъ видѣть горе это, положилъ зарокъ: когда бы ни попалась, по оплошности, такая бумажка, не пускать ея далѣе, ни за полцѣны, ни во что, а спалить ее и вынести убытокъ на себѣ.

IV

ЗАВѢЩАНЬЕ.

Жила въ Казани барыня, извѣстная въ свое время всему городу и, какъ говорится, уважаемая, въ почетѣ; малый и великій, простой и чиновный, всѣ знали ее только по имени и отчеству, и ниже заглазно иначе не называли, а многіе даже едва припоминали прозванье ея; всѣ до того свыклись съ именемъ и отчествомъ Марьи Ивановны, что, казалось, другой Марьи Ивановны на свѣтѣ нѣтъ, по крайности для казанцевъ, а прозванье унесъ съ собою въ могилу мужъ ея, безъ котораго она вдовѣла уже болѣе тридцати лѣтъ. Если спросить казанцевъ по совѣсти, за что́ она была у нихъ въ такомъ почетѣ, то они бы затруднились прямымъ отвѣтомъ, сказали бы, замявшись: какъ за что? Помилуйте, Марья Ивановна? Да спросите кого угодно, кто же ея не знаетъ; самая почтенная барыня, и у нея бываютъ, даже самъ губернаторъ бываетъ, и сама она всегда украшаетъ собою лучшее общество наше! Живетъ она очень прилично, а Новый Годъ весь городъ у нея встрѣчаетъ, Васильевъ вечеръ съ незапамятныхъ лѣтъ у нея празднуется со жженкою и шампанскимъ. У нея большое состояніе, мужъ на хорошемъ мѣстѣ служилъ, чистыми деньгами пропасть оставилъ ей, кромѣ двухъ хорошихъ, незаложенныхъ имѣній, а она и не затворницей жила, свѣтъ любила

съ молоду, да умѣла сберечь и свое принажить. Посмотрите, какъ она и понынѣ еще одѣвается!

Казалось бы, чего Марьѣ Ивановнѣ послѣ всего этого недоставало? Живи да живи въ почетѣ; она и дожила, правда, до изрядныхъ лѣтъ, но пришелъ и на нее незванный, урочный часъ, который всякаго изъ насъ застаетъ врасплохъ.. Новое шелковое платье далеко еще не доѣхало до Казани, какъ уже вялый колокольчикъ подъ дугой тяжелой почты перезванивалъ ей отходную, и саванъ бѣлаго атласа замѣнилъ это платье.

Прямыхъ наслѣдниковъ не было, но боковыхъ, двоюродныхъ и внучатныхъ, много, и ближайшіе скоро съѣхались. Оказалось, что почтенная старушка никого не забыла, а давно уже написала самую подробную духовную, въ которой, между прочимъ, поминалась двоюродная тетка ея, Анна Ивановна Комлева, которой главная наслѣдница и душеприказчица, племянница покойной, должна была переслать «приличную сумму», а сколько именно,—не сказано.

Эта *приличная сумма* долгонько безпокоила наслѣдницу, которая никакъ не могла напасть на такую цифру, которою бы она сама въ душѣ была довольна. Ей сперва все мерещились тысячи, потому что итогъ полученнаго ею самою наслѣдства безотвязно становился передъ глазами ея рядомъ съ отыскиваемою *приличною суммой;* это невольно путало и сбивало ее, и всякое соображенье терялось. Двѣ докучныя цифры эти, одна возлюбленная, другая ненавистная, какъ будто перекачивались передъ нею на вѣсахъ, и только что она, горячимъ сердцемъ, вспомнитъ одну, какъ другая, неизвѣстная, потянетъ внизъ, наслѣдство уходитъ въ гору, и бѣдную обдаетъ мертвымъ холодомъ! Исподволь она стала убѣждаться однако, что все это былъ одинъ только пустой страхъ, и что тутъ дѣло

сался на этой черной избенкѣ мѣломъ, аршинными знаками, слѣдующій за тѣмъ годъ, какъ крайній срокъ, до коего развалина эта могла быть терпима, и десять разъ уже непогодье исподволь смывало эту роковую надпись, и все оставалось по старому. — А чтожъ, батюшки, ломайте, говорила тихая хозяйка, когда къ ней приходила полиція съ этою угрозой, ломайте надо мною, я никуда не выйду, мнѣ выйти некуда, только меня не убейте.—Да лачуга ваша скоро сама вся развалится и васъ убьетъ, говорили ей; но и на это былъ одинъ отвѣтъ:—А ужъ это, батюшка, Божья воля, съ Богомъ не поспоришь.

Къ развалинамъ этимъ мѣстные жители давно привыкли и по временамъ заходили только въ переулокъ взглянуть на нихъ, стоятъ ли еще самыя стѣны. А въ свое время жители вновь заложеннаго города и всей окружности его: казаки, башкиры, татары, киргизы сходились дивиться на домъ о пяти окнахъ, который казался имъ палатами. Закладка города началась глубокимъ окопомъ его, для защиты отъ внезапныхъ набѣговъ, и одинъ только окопъ этотъ удержалъ въ свое время и Пугачева: разбойники берутъ расплохомъ и на приступъ не ходятъ. Итакъ, жители и полудикари сходились въ былую пору дивиться на одинъ изъ первыхъ порядочныхъ домиковъ новой крѣпости, съ крылечкомъ подъ рѣзнымъ навѣсцемъ и другими причудами и украсами. Это было жилье капитана, правой руки коменданта, нѣкогда одного изъ чудо-богатырей Суворова; у него все дѣлалось мигомъ, какъ въ сказкѣ у Ивана-царевича, и мигомъ у него домикъ поспѣлъ, куда пріютить надо было молодую жену, которая жила дотолѣ въ стоявшей невдалекѣ киргизской кибиткѣ. Но онъ не далъ повершить и покрыть своего дома, покуда не была повершена единая въ окружности сотенъ верстъ церковь. На робкое замѣчаніе жены,

что придется послать тысячу рублей, рѣшившей, послѣ долгой борьбы, что и ста рублей, для упокоенія совѣсти, будетъ достаточно, убавившей и эту приличную сумму на половину, и наконецъ, замѣнившей и половину подложными и негодными деньгами? А вотъ что: отсылая, наконецъ, эти названные 50 рублей, ни ей самой, ни другому непригодные, она, однакоже, и объ нихъ пожалѣла! Ну, быть такъ, подумала она, все-таки двѣ бѣды сбыла разомъ: и съ завѣщаніемъ развязалась, и худыя деньги сбыла—на совѣсти полегчаетъ!

V

ДОМИКЪ НА ВОДЯНОЙ УЛИЦѢ.

Въ опрятномъ, новомъ городкѣ Елисаветинскихъ временъ, перенесенномъ трижды съ мѣста на мѣсто, въ переулкѣ Водяной улицы стоялъ сильно развалившійся домишко; половина крыши упала на подволоку, долгое время торчали со стѣны подгнившія стропила и, наконецъ, пошли на дрова; труба торчитъ высоко, и будто другая половина крыши объ нее уперлась и ею держится; домикъ сильно перекосило, онъ однимъ угломъ ушелъ въ землю; наружныхъ дверей или затвора при нихъ не было вовсе, а замѣсто крыльца подставленъ былъ подъ порогъ старый ящикъ; огорожки, забора никакихъ, одинъ заглохшій пустырь, а два столба служили представителями воротъ. Но когда проходящій съ удивленіемъ взглядывалъ на окна, не чая, чтобы хижина эта могла быть жилою, то онъ встрѣчалъ уютныя окошечки, съ оконницами радужныхъ цвѣтовъ, за коими сквозили бѣлыя занавѣсочки и цвѣты, хоть это и были только герань, капуцины и бальзамины. Разъ десятокъ уже, въ разные года, пи-

сался на этой черной избенкѣ мѣломъ, аршинными знаками, слѣдующій за тѣмъ годъ, какъ крайній срокъ, до коего развалина эта могла быть терпима, и десять разъ уже непогодье исподволь смывало эту роковую надпись, и все оставалось по старому. — А чтожъ, батюшки, ломайте, говорила тихая хозяйка, когда къ ней приходила полиція съ этою угрозой, ломайте надо мною, я никуда не выйду, мнѣ выйти некуда, только меня не убейте.—Да лачуга ваша скоро сама вся развалится и васъ убьетъ, говорили ей; но и на это былъ одинъ отвѣтъ:—А ужъ это, батюшка, Божья воля, съ Богомъ не поспоришь.

Къ развалинамъ этимъ мѣстные жители давно привыкли и по временамъ заходили только въ переулокъ взглянуть на нихъ, стоятъ ли еще самыя стѣны. А въ свое время жители вновь заложеннаго города и всей окружности его: казаки, башкиры, татары, киргизы сходились дивиться на домъ о пяти окнахъ, который казался имъ палатами. Закладка города началась глубокимъ окопомъ его, для защиты отъ внезапныхъ набѣговъ, и одинъ только окопъ этотъ удержалъ въ свое время и Пугачева: разбойники берутъ расплохомъ и на приступъ не ходятъ. Итакъ, жители и полудикари сходились въ былую пору дивиться на одинъ изъ первыхъ порядочныхъ домиковъ новой крѣпости, съ крылечкомъ подъ рѣзнымъ навѣсцемъ и другими причудами и украсами. Это было жилье капитана, правой руки коменданта, нѣкогда одного изъ чудо-богатырей Суворова; у него все дѣлалось мигомъ, какъ въ сказкѣ у Ивана-царевича, и мигомъ у него домикъ поспѣлъ, куда пріютить надо было молодую жену, которая жила дотолѣ въ стоявшей невдалекѣ киргизской кибиткѣ. Но онъ не далъ повершить и покрыть своего дома, покуда не была повершена единая въ окружности сотенъ верстъ церковь. На робкое замѣчаніе жены,

что ребенку, Аннушкѣ, становится холодно въ кибиткѣ, что зима на дворѣ, а она здѣсь, говорятъ, бываетъ суровая, кибитки горой заноситъ снѣгомъ, на это онъ отвѣчалъ стихомъ псалма, громкимъ, твердымъ, но теплымъ голосомъ: «Не взойду въ шатеръ дома моего, доколѣ не найду мѣста Господу, жилища крѣпкому Богу Іакова!»

И ударило клепало, и загудѣли колокола, раздался первый благовѣстъ надъ Яикомъ-рѣкой, звонъ котораго мѣстные народы не слыхивали и дивились ему, широко разинувъ ротъ. Звономъ этимъ сказалась охрана Господня надъ всею обширною страной, а сила русская вторила ему гуломъ пушекъ

«Здравствуй трижды зачатая, единожды рожденная твердыня, русскій городъ: вѣкъ стоять тебѣ покровомъ и оплотомъ и ширить могучія крылья свои!» Такъ проговорилъ капитанъ звучнымъ голосомъ, перекрестясь и кланяясь на всѣ четыре стороны. «Ну, матушка-сударыня, сказалъ онъ, пришедши домой: вотъ теперь чередъ и нашу крышу крыть». И это дѣло мигомъ у него поспѣло, и крыша, съ рѣзнымъ гребнемъ, со шпилями на немъ, съ конями по концамъ конька, была такимъ же дивомъ для кочевыхъ дикарей. Бьютъ скотъ за раскатами крѣпости, быковъ для русскихъ, лошадей для башкиръ, барановъ для киргизовъ, будетъ *туй*, пиръ про весь міръ, капитанскій домъ святятъ. Капитанша съ утра нарядилась въ шелковое фуро, установивъ прическу въ полъ-аршина, убрала голову шелковымъ бѣлымъ флеромъ съ серебряными мушками—и снуетъ хозяюшкою по дому и по стряпущей; въ кибиткѣ, супротивъ входа, на коврѣ, Иванушка, прозванный Скобушкою, любимый денщикъ капитана, присѣвъ на корточки, охорашиваетъ Аннушку, доченьку его; онъ повязываетъ ей на шею жемчуги; подскочивъ на ноги и разводя руками, онъ вскри-

кивастъ: «Ну, вотъ, теперь настоящая бригадирша! Вырастешь велика, право слово, за бригадира отдадимъ; а ниже ни ступени!» Дѣвочка стрѣлой пустилась въ новый домъ.

Молебенъ съ водосвятіемъ кончился, полковой священникъ окропилъ весь домъ, даже всходилъ съ хозяиномъ на крышу и, стоя тамъ, на нарочномъ помостѣ, сказалъ: «миръ надъ домомъ симъ!» Поклонясь ему въ поясъ, капитанъ тутъ же прибавилъ громко: «Храни его Господь отъ огня и воды и всей силы вражеской—стой навѣкъ нерушимо!»

И простоялъ онъ съ Елисаветинскихъ временъ до нашихъ, какъ мы сами его видѣли и какъ выше описали. Въ это время жила въ немъ одинокая и безпризорная старушка, маленькая и худенькая: вотъ она, укутанная съ головы до ногъ въ старый драдедамовый бурый платокъ, тихо пробирается по забору къ одной изъ подругъ своего дѣтства. Кто бы узналъ въ ней рѣзвую красавицу, коей весь новенькій Оренбургъ поклонялся, за которою ходилъ денщикъ Иванушка—одинъ изъ храбрѣйшихъ генераловъ нашихъ, у котораго, подъ конецъ службы его, изъ десяти пальцевъ на рукахъ оставалось только три, ту самую Аннушку Комлеву, которой этотъ доблестный слуга пророчилъ бригадирство? И ничего не могъ узнать объ ней этотъ вѣрный слуга и старый другъ Комлевской семьи, хотя комендантъ Петропавловской Петербургской крѣпости, Иванъ Никитичъ Скобелевъ, и не одинъ разъ писалъ въ тѣ края запросы, не осталось ли де кого въ живыхъ изъ семьи капитана И. М. Комлева, не была ли дочь его, Анна Ивановна, замужемъ, и нѣтъ ли въ живыхъ хоть внуковъ Комлева? Но отовсюду былъ одинъ, принятый полицейскими письмоводителями отвѣтъ: «таковыхъ на жительствѣ не оказалось.» Отзывы эти писались, и не читая даже *сыскной статьи*,

а лишь бы отписаться, почему, между прочимъ, у насъ и Людвига Наполеона на жительствѣ не оказалось — послѣ разныхъ неудачъ его и ухода изъ тюрьмы, разнесся слухъ, будто онъ хочетъ искать счастія или пріюта въ Россіи; велѣно было дать знать въ пограничныя губерніи, чтобъ его не впускать; въ числѣ пограничныхъ считалась и Оренбургская, куда также дошелъ объ этомъ циркуляръ; губернскія вѣдомости припечатали объ этомъ на отдѣльномъ листкѣ сыскную статью, которая воротилась изъ Троицка или Верхнеуральска съ надписью на оборотѣ: «оный Людвигъ Наполеонъ на жительствѣ въ семъ уѣздѣ не оказался.»

Анна Ивановна Комлева была еще подросточкомъ, когда отецъ ея былъ усланъ далеко куда-то по службѣ и пропалъ безъ вѣсти; мать зачахла съ горя; къ сироткѣ пріѣхала на житье изъ Свіяжска тетка матери, своеобычная, безграмотная старуха. «Тебѣ, матушка-сударыня Аннушка, не подстать знаться съ какими-нибудь поповнами», говаривала бабушка внукѣ, когда та, на пути съ нею въ церковь, раскланивалась съ сосѣдками: «ты, сударыня, должна родителей своихъ почитать и помнить; батюшка твой, кабы живъ былъ, чай, бы теперь ужъ и бригадиромъ былъ — значитъ, первымъ человѣкомъ въ Оренбургѣ, и тебѣ бы здѣсь ровни не было; да и матушка твоя, царство ей небесное, не изъ мелкой сошки какой, а столбовая была, родъ нашъ въ золотой книгѣ писанъ, а книга эта въ царевыхъ покояхъ лежитъ, подъ алымъ бархатомъ».— И въ подобныхъ поученіяхъ заключалось все умѣнье бабушки воспитать внучку свою. Къ счастію, добрая природа Аннушки понимала наставленія эти по-своему: страстно любя родителей своихъ, смышленая, остроглазенькая дѣвочка все это относила къ нимъ, а сама оставалась все тою же; каждое подобное слово вызывало въ памяти ея облики отца и матери, коихъ она

При выходѣ изъ церкви, одинъ, потомъ другая, тамъ третья, подходя къ Аннѣ Ивановнѣ, съ участіемъ и осторожно стали спрашивать ее, можно ли поздравить ее, будто бы-де она получила какое-то наслѣдство отъ двоюродной племянницы, изъ Казани. Старушка съ достоинствомъ дивилась такому слуху, увѣряя, что ничего о томъ не знаетъ, но, придя домой, встрѣтила выбѣжавшую къ ней на улицу радостную служанку, съ почтовою повѣсткой на 50 рублей. Наслѣдство не большое, но при этой нищенской бѣдности оно показалось Аннѣ Ивановнѣ громаднымъ богатствомъ. Вскорѣ избушка наполнилась доброжелательными поздравителями, и старушка, ставъ разговорчивѣе, бесѣдовала о нуждѣ своей, о нежданномъ пособіи, и о томъ, какъ она вычинитъ провалившуюся крышу свою и промшитъ къ зимѣ всю лачужку, совѣтуясь о возможности выжеровить ушедшій въ землю уголъ и повыпрямить перекошенный полъ.

Молва объ огромномъ наслѣдствѣ Комлевой, которая разнеслась, какъ всѣ новости и вѣсти, съ почты, все еще кружила по городу въ разныхъ видахъ, когда уже въ лачугѣ этой богатой наслѣдницы дѣлалось совсѣмъ иное: тамъ опять было нѣсколько близкихъ ей людей, пришедшихъ порадоваться нежданному счастію и сидѣвшихъ, повѣся носъ, въ недоумѣніи, что говорить и совѣтовать хозяйкѣ, и чѣмъ ее утѣшать. Бумажка оказалась негодною; это была та же самая сѣренькая, которая стряпалась подъ проклятіемъ бабушки, ушедшей скитаться по міру изъ родной избы, та же самая, которая досталась было дьячихѣ, и, отданная за полцѣны, дошла воровски до Марьи Ивановны, въ Казань, а теперь, черезъ племянницу ея, какъ *приличная сумма*, досталась бѣдной Комлевой.

Поздно вечеромъ, при нагорѣлой свѣчѣ, Анна Ивановна сидитъ задумавшись со злыдарною бумажкой въ

потянулись обозы съ хлѣбомъ въ городъ; смотришь, одинъ возъ отдѣлился на Водяную улицу, заворачиваетъ въ переулокъ, и прямо на разгороженный дворъ, при записочкѣ: не побрезгать домашнимъ гостинцемъ отъ старой пріятельницы; тутъ шлютъ и другіе разные припасы, что можетъ сохраниться на зиму; а другой добрый человѣкъ, простой, необоротливый хозяинъ, котораго имя и понынѣ носитъ подгородная роща, шлетъ запасецъ дровъ, и еще самъ забѣжитъ украдкою на открытый дворъ, взглянуть, есть ли, полно, еще у Анны Ивановны топливо, и не растаскали ль его сосѣдніе татарчата. Затѣмъ, были у нея еще и козы, кои, по мѣстному обычаю, шатались зиму и лѣто по городу и слободкѣ, не требовали корму, а на ночь приходили домой: онѣ кормили хозяйку молокомъ и приносили ей свой пухъ, изъ котораго старушка прилежно вязала цѣнные платки и косынки.

Но и въ эту пору нужды и горя Анна Ивановна, по большимъ праздникамъ, являлась чинно и степенно въ устроенную отцомъ ея и украшенную прикладами матери ея церковь; благовѣстъ раздался, она встала, за третьимъ ударомъ перекрестилась, вышла, осторожно ступила съ порога на ящикъ, чтобъ онъ не покачнулся подъ ногами, а съ него наземь — и вотъ она пошла мѣрнымъ шагомъ, въ голубомъ объяринномъ платьѣ своей матери, которому уже за полвѣка, въ коричневой, мелкотравчатой епанечкѣ, съ высокимъ и широкимъ черепаховымъ гребнемъ, подъ бѣлымъ шелковымъ флеромъ, завязаннымъ подъ бороду; всѣ съ уваженьемъ смотрятъ за нею вслѣдъ; она чинно раскланивается со знакомыми, степенно принимаетъ приглашеніе на чай и, продолжая путь свой, набожно входитъ въ церковь, гдѣ становится на колѣни передъ матернею большою иконой и уже болѣе не слышитъ и не видитъ ничего, до самаго конца службы.

При выходѣ изъ церкви, одинъ, потомъ другая, тамъ третья, подходя къ Аннѣ Ивановнѣ, съ участіемъ и осторожно стали спрашивать ее, можно ли поздравить ее, будто бы-де она получила какое-то наслѣдство отъ двоюродной племянницы, изъ Казани. Старушка съ достоинствомъ дивилась такому слуху, увѣряя, что ничего о томъ не знаетъ, но, придя домой, встрѣтила выбѣжавшую къ ней на улицу радостную служанку, съ почтовою повѣсткой на 50 рублей. Наслѣдство не большое, но при этой нищенской бѣдности оно показалось Аннѣ Ивановнѣ громаднымъ богатствомъ. Вскорѣ избушка наполнилась доброжелательными поздравителями, и старушка, ставъ разговорчивѣе, бесѣдовала о нуждѣ своей, о нежданномъ пособіи, и о томъ, какъ она вычинитъ провалившуюся крышу свою и промшитъ къ зимѣ всю лачужку, совѣтуясь о возможности выжеровить ушедшій въ землю уголъ и повыпрямить перекошенный полъ.

Молва объ огромномъ наслѣдствѣ Комлевой, которая разнеслась, какъ всѣ новости и вѣсти, съ почты, все еще кружила по городу въ разныхъ видахъ, когда уже въ лачугѣ этой богатой наслѣдницы дѣлалось совсѣмъ иное: тамъ опять было нѣсколько близкихъ ей людей, пришедшихъ порадоваться нежданному счастію и сидѣвшихъ, повѣся носъ, въ недоумѣніи, что говорить и совѣтовать хозяйкѣ, и чѣмъ ее утѣшать. Бумажка оказалась негодною; это была та же самая сѣренькая, которая стряпалась подъ проклятіемъ бабушки, ушедшей скитаться по міру изъ родной избы, та же самая, которая досталась было дьячихѣ, и, отданная за полцѣны, дошла воровски до Марьи Ивановны, въ Казань, а теперь, черезъ племянницу ея, какъ *приличная сумма*, досталась бѣдной Комлевой.

Поздно вечеромъ, при нагорѣлой свѣчѣ, Анна Ивановна сидитъ задумавшись со злыдарною бумажкой въ

рукѣ; не послушалась она совѣта попытаться спустить ее за полцѣны, и также сама разсудила, что писать объ этомъ въ Казань будетъ напрасно: кто докажетъ, эта ли бумажка вложена была въ обертку, или ее подмѣнили тутъ или тамъ на почтѣ, или наконецъ у нея въ рукахъ? Сколько людей тутъ попадетъ въ допросъ, а можетъ-быть и хуже того, коли дѣло пойдетъ по суду,—пусть же злое дѣло потонетъ навѣки; жила я доселѣ безъ этихъ денегъ, проживу и впередъ, Богъ не оставитъ.

Въ сумрачной избушкѣ вдругъ вспыхнуло яркое пламя, и зарево слегка освѣтило улицу сквозь широкія щели ветхихъ ставенъ; человѣкъ, стоявшій у воротъ насупротивъ, подошелъ взглянуть, не загорѣлось ли что у Анны Ивановны, но убѣдившись, что тамъ все тихо и спокойно, побрелъ опять на свой дворъ. Ржавые съемцы погасили огарокъ, три земные поклона закончили день этотъ; все затихло въ лачужкѣ, и горе-горькая обиходная жизнь водворилась въ ней по старому порядку — хотя уже не надолго: слей догоралъ.

VI

РАЗВЯЗКА

Въ тюремной больницѣ метался на кровати горячечный и все лѣзъ на полъ, для прохлады; при немъ сидѣлъ сердобольный товарищъ, уговаривая и удерживая его.

— Баушка, родимая, — бредилъ больной: — стой, баушка, ты не надѣвай сумы, не кляни ты меня, грѣшно, охъ, тяжело, глиной завалили меня, душатъ все, огнемъ палятъ, это злодѣй мой, цеховой, вишь, вонъ онъ, вонъ опять жару въ полѣ принесъ... Ба-

ушка, по локоть обѣ руки себѣ отрублю...—И рванулся опять съ кровати.

— Ты лежи, лежи, — уговаривалъ его другой: — лежи, читай Богородицу: легче станетъ; Божья воля, надо терпѣть; что я, что ты, — понапрасну сидимъ, да что дѣлать? Тебя подвели недобрые люди, подсунули окаянную бумажку, и надо мною тотъ же грѣхъ случился. Дѣлать! Кто ее сдѣлаетъ, какъ ее сдѣлаешь? Отвѣчать мы съ тобой Богу будемъ, ты не бось: Онъ разберетъ все, до ниточки; а тутъ, стало быть, надо умирать намъ въ нуждѣ, въ мукахъ...

— Глиной задушили меня, огнемъ тотъ палитъ, — продолжалъ въ бреду первый, болѣзненно скорчивъ лицо и порываясь вывернуться:—ты вздохни, вздохни, баушка, тяготу съ меня сыми, ну... въ церковь? Пойдемъ, и меня возьми съ собой, я вѣдь Мишутка твой, знаешь?... Подъ глиной то ворохнуться нельзя, задушило...

Такъ сошлись въ острогѣ злыдарный Михайла съ тѣмъ несчастнымъ мужикомъ, который продалъ барскій скотъ на торгу и вымѣнялъ у проѣзжаго роковую сѣренькую. Михайло увѣрялъ всѣхъ, что попался за чужой грѣхъ съ бумажкой, которую ему подсунули, и тотъ вѣрилъ ему, нисколько не подозрѣвая, что самъ сидитъ за дѣло своего товарища! Послѣ двукратнаго покушенья на самоубійство, Михайло впалъ въ горячку; ночное пламя, вспыхнувшее въ бѣдной оренбургской лачужкѣ, разрѣшило бабушкино проклятіе: Михайло испустилъ духъ на рукахъ у товарища, который страдалъ за него, не подозрѣвая въ немъ своего злодѣя. Уничтоженіе роковой бумажки, смерть въ острогѣ одного изъ дѣлателей ея и пропажа безъ вѣсти другого какъ будто развязали все дѣло, и бѣднякъ, утѣшавшій Михайлу, какъ умѣлъ, въ смертный часъ его, былъ также напослѣдокъ освобожденъ.

2) САМОРОДОКЪ.

Умный мужикъ Меркулъ Артамоновичъ, — это говорятъ всѣ; своеобыченъ онъ, и норовецъ есть какъ есть, не согнешь его, а дѣльный и умный мужикъ: онъ даже и въ гласныхъ молча сидѣть не согласенъ, даже секретарю думскому ничего не платитъ, кромѣ условной прибавки отъ всѣхъ членовъ, но за то ужъ крѣпко надоѣдаетъ ему, потому что лѣзетъ самъ во всякое дѣло, и судитъ, и рядитъ, и ни одного журнала не подпишетъ безъ своихъ оправокъ и отмѣтокъ противъ дѣла. «Этого нельзя, того не хочу, не подпишу, неправо это,» такъ то и дѣло раздается голосъ Меркула Артамоновича въ присутствіи, и секретарь, а ину пору и самъ голова, не знаютъ, куда дѣваться. «Не вѣрю я твоимъ золотымъ очкамъ, кричитъ онъ, и родному брату не повѣрю, свой глазъ смотрокъ; свой глазъ алмазъ, а ты въ стекло глядишь; подай дѣло, я самъ дочитаюсь въ немъ, чего нужно мнѣ, а тутъ что-нибудь да не такъ; ухомъ слышу, что фальшъ есть въ этой пѣсенкѣ, что-то рознитъ тутъ въ одномъ мѣстѣ супротивъ коренного ладу. Законы подводить ваше дѣло, вамъ и книги въ руки, а ужъ разсказать дѣло-то по правдѣ и мы сумѣемъ, это не штука!»

Безпокойный человѣкъ, нечего сказать; съ правдой своей, какъ оса въ глаза, такъ и лѣзетъ. «Да вы меня выпустите вонъ отсюда,» обратился онъ однажды къ головѣ: «вы на что меня сюда посадили? Не гожусь я вамъ, — и выпустите, а я поклонюсь!» — Да вы бы, Меркулъ Артамоновичъ, хоть ину пору больнымъ сказались, да отдохнули бы, ну, и не мѣшали бы дѣло дѣлать, и отвѣту бы никакого на васъ не было, — сказалъ ему на это голова, подумавъ про себя: «вѣдь это

У него было два дома, на двухъ концахъ города; въ одномъ, большомъ, съ огромнымъ садомъ, жилъ онъ самъ. Домашній бытъ его былъ таковъ, какъ всегда почти у людей простыхъ, стойкихъ, разбогатѣвшихъ въ крестьянствѣ и этимъ вдвинутыхъ въ городское, даже столичное общество: хозяинъ полновластный господинъ, чада и домочадцы въ полной покорности, или разладъ неминучъ, уступки и средины нѣтъ; на дѣла строгій, нерушимый порядокъ, на все урочный часъ—въ мелкомъ хозяйствѣ дѣло идетъ ину пору черезъ пень въ колоду, въ домѣ грязновато, особенно на задахъ и въ углахъ, а что на виду, то позолочено. Золото и въ грязи видно, дѣло-то и закрасится.

При этомъ домѣ былъ у него сосѣдъ, также точно, какъ и самъ онъ, вышедшій изъ крестьянства, но дошедшій тогдашними откупами и иными оборотами до громаднаго состоянія, такъ что давно уже писалъ истинникъ свой семью цыфрами. Этотъ держалъ и велъ себя иначе: вступивъ въ образованное общество, онъ сразу усвоилъ себѣ весь бытъ, обстановку и внѣшность этихъ сословій, доказавъ тѣмъ ничтожность такихъ внѣшнихъ прикрасъ, наружнаго лоску, коимъ мы столько гордимся. Тщеславіе этихъ двухъ людей, если позволено такъ выразиться безобидно, не умаляя ихъ достоинствъ, было противоположное: одинъ, вступивъ разъ въ этотъ кругъ людей, ничѣмъ не хотѣлъ розниться отъ нихъ, а быть между ними дома и на своемъ мѣстѣ; другой, по черствой, негибкой, грубой по внѣшности природѣ своей, отстаивалъ свой старый бытъ и привычки, считалъ себя довольно сильнымъ, чтобъ удержать свою независимость, не покоряясь обычаямъ, кои были бы ему въ тягость, почему онъ и презиралъ ихъ. Тотъ, съ милліонами, спокойно и со скромнымъ самодовольствомъ наслаждался своимъ по-

Обороты Меркула Артамоновича были довольно обширны и, надо полагать, вѣрны, иначе бы простой мужикъ, безъ состоянія, не наковалъ себѣ кулакомъ такого богатства. Не одна сотня тысячъ перевертывалась у него въ годъ, и подонки садились отъ нихъ порядочные. Во всякомъ, и самомъ сложномъ, оборотѣ, у него, не задерживая бѣглой рѣчи ни на минуту, былъ на языкѣ и весь разсчетъ, и сказанныя имъ однажды цифры стояли, какъ выкованныя изъ желѣза, нерушимо.

— Языкъ мой—врагъ мой, напередъ ума глаголетъ,— отвѣчалъ онъ не одинъ разъ на безразсудное, повидимому, выгодное для него предложеніе: — ты дома-то напередъ смекни на свободѣ, что говоришь, тогда приходи: а этакъ-то одинъ изъ насъ въ дуракахъ будетъ, не годится.

Божбы и клятвы онъ на смерть ненавидѣлъ: какъ только, бывало, человѣкъ, въ сдѣлкѣ какой, станетъ божиться, такъ Меркулъ Артамоновичъ, протянувъ руку, сразу остановитъ его. — Не божись; у меня, кто побожился, тотъ совралъ; на правду немного словъ, а разговорчива кривда. Ты знаешь ли, на кого шлешься, — сказалъ онъ однажды въ негодованіи: — ты понимаешь ли, что языкъ-то сорочій лепечетъ? Вѣдь ты, солгавъ, и на своего-то брата пошлешься только на мошенника, а на путнаго послаться не посмѣешь, такъ ты что съ Богомъ-то дѣлаешь?

Но человѣкъ, а тѣмъ паче самородокъ, разнообразенъ природой своей, нравомъ и свойствами, и для правдиваго очерка этой замѣчательной личности надо прослѣдить ее и въ другихъ положеніяхъ и отношеніяхъ. Сдѣлаемъ это двумя только чертами, представивъ два случая изъ жизни Меркула Артамоновича.

У него было два дома, на двухъ концахъ города; въ одномъ, большомъ, съ огромнымъ садомъ, жилъ онъ самъ. Домашній бытъ его былъ таковъ, какъ всегда почти у людей простыхъ, стойкихъ, разбогатѣвшихъ въ крестьянствѣ и этимъ вдвинутыхъ въ городское, даже столичное общество: хозяинъ полновластный господинъ, чада и домочадцы въ полной покорности, или разладъ неминучъ, уступки и средины нѣтъ; на дѣла строгій, нерушимый порядокъ, на все урочный часъ—въ мелкомъ хозяйствѣ дѣло идетъ ину пору черезъ пень въ колоду, въ домѣ грязновато, особенно на задахъ и въ углахъ, а что на виду, то позолочено. Золото и въ грязи видно, дѣло-то и закрасится.

При этомъ домѣ былъ у него сосѣдъ, также точно, какъ и самъ онъ, вышедшій изъ крестьянства, но дошедшій тогдашними откупами и иными оборотами до громаднаго состоянія, такъ что давно уже писалъ истиникъ свой семью цыфрами. Этотъ держалъ и велъ себя иначе: вступивъ въ образованное общество, онъ сразу усвоилъ себѣ весь бытъ, обстановку и внѣшность этихъ сословій, доказавъ тѣмъ ничтожность такихъ внѣшнихъ прикрасъ, наружнаго лоску, коимъ мы столько гордимся. Тщеславіе этихъ двухъ людей, если позволено такъ выразиться безобидно, не умаляя ихъ достоинствъ, было противоположное: одинъ, вступивъ разъ въ этотъ кругъ людей, ничѣмъ не хотѣлъ розниться отъ нихъ, а быть между ними дома и на своемъ мѣстѣ; другой, по черствой, негибкой, грубой по внѣшности природѣ своей, отстаивалъ свой старый бытъ и привычки, считалъ себя довольно сильнымъ, чтобъ удержать свою независимость, не покоряясь обычаямъ, кои были бы ему въ тягость, почему онъ и презиралъ ихъ. Тотъ, съ милліонами, спокойно и со скромнымъ самодовольствомъ наслаждался своимъ по-

— Ну, пой, пой, ты видишь, я слушаю.

— Да что пѣть-то, Меркулъ Артамоновичъ, вы своимъ умомъ лучше нашего разсудите...

— А коли разсужу, такъ чего жь толковать? Сказалъ, не продамъ!

— За цѣной не постоитъ хозяинъ, Меркуріи Артамоновичъ...

— Экой ты, да не о цѣнѣ рѣчь, а о продажѣ; завѣтному нѣтъ цѣны! Непродажной вещи какая цѣна?

— Приказали было тридцать тысячъ посулить,— сказалъ наконецъ приказчикъ тихо и скромно, не сомнѣваясь въ силѣ этого полновѣснаго убѣжденія.

— А я что съ твоими тысячами-то дѣлать буду, ѣсть стану ихъ, что ли? Я теперь выйду въ садъ, такъ мнѣ по крайности любо, свое; и на горку выйду, и въ бесѣдку сяду, за рѣку гляжу—анъ и любо; эка чѣмъ удивить захотѣлъ; тридцать тысячъ! Онъ, стало быть, не знаетъ того, что непродажному нѣтъ цѣны, онъ деньгами все осилить хочетъ, и самого меня, пожалуй, купитъ, и совѣсть мою? Сосѣдъ сосѣдомъ, а въ мой горохъ не лѣзь; кланяйся ему, а тридцати тысячъ его мнѣ не надо. Прощай.

Ушелъ тотъ, какъ не солоно хлебалъ, и хозяину его только осталось пожать плечами и махнуть рукой: и домъ-то весь, со всѣмъ дворомъ и садомъ, того не стоитъ, что ему даютъ за одинъ садъ, а онъ артачится! Ну, чтожъ, его воля. Тѣмъ дѣло кончилось.

Теперь перейдемъ къ иному случаю, поглядимъ на Артамоновича и съ другой стороны. Мы помянули уже, что у него былъ и другой домъ, на противномъ концѣ города, и тамъ, конечно, было не безъ сосѣдей; одинъ изъ нихъ, недавно купившій домъ, счелъ нужнымъ тотчасъ же перебрать и вычинить за-ново за-

что хочешь дѣлай, не пойдетъ! Впрочемъ, онъ цѣны моей не знаетъ — а то, едва ли устоитъ. Подождемъ немного, дадимъ ему уходиться, да сразу и огорошимъ.»

Черезъ нѣсколько времени приказчикъ является опять къ Меркулу Артамоновичу, и на лицѣ его видна улыбка самоувѣренности. Вотъ бесѣда ихъ:

— Что скажешь, любезный?

— Все на счетъ того же-съ: много кланяться приказали.

— За поклонъ спасибо, вези и мой назадъ. Кого, того?

— Да насчетъ садику.

— Да нешто заложило у тебя, не слышишь? Вѣдь сказалъ я: не продамъ; чего жь пороги-те околачивать? Аль вамъ въ жиру-то дѣлать нечего?

— Меркулъ Артамоновичъ, вы извольте рѣчи мои выслушать, не погнушайтесь откровенностью, на словѣ не обрѣзывайте, по сосѣдской пріязни примите во вниманіе!

— Да чего слушать-то, изъ пуста въ пусто? И не по чину вашему хозяину тянуться за десятинкою съ саженями, плевое дѣло; ему только что вдору Разумовское купить, либо Перово, Кунцово, вотъ сады по немъ, а это что за садъ? Это мой, по нашему малому достатку, ну, и не вяжись въ него.

— Подходящее дѣло, Меркулъ Артамоновичъ, сосѣдское, сами изволите разсудить; вы человѣкъ занятой, и по дѣламъ своимъ, торговымъ оборотамъ, и по должностямъ общественнымъ, всѣмъ вѣдомо это, прохлажаться некогда вамъ, потѣхами не занимаетесь, а дѣлокъ, что для васъ садъ? Сосѣду за хорошія деньги уступить его можно; а угодно — и калиточку для васъ сдѣлаемъ, пользуйтесь сколько угодно, хозяинъ радъ будетъ дорогому гостю во всякъ часъ

— Ну, пой, пой, ты видишь, я слушаю.

— Да что пѣть-то, Меркулъ Артамоновичъ, вы своимъ умомъ лучше нашего разсудите...

— А коли разсужу, такъ чего жь толковать? Сказалъ, не продамъ!

— За цѣной не постоитъ хозяинъ, Меркуріи Артамоновичъ...

— Экой ты, да не о цѣнѣ рѣчь, а о продажѣ; завѣтному нѣтъ цѣны! Непродажной вещи какая цѣна?

— Приказали было тридцать тысячъ посулить,— сказалъ наконецъ приказчикъ тихо и скромно, не сомнѣваясь въ силѣ этого полновѣснаго убѣжденія.

— А я что съ твоими тысячами-то дѣлать буду, ѣсть стану ихъ, что ли? Я теперь выйду въ садъ, такъ мнѣ по крайности любо, свое; и на горку выйду, и въ бесѣдку сяду, за рѣку гляжу—анъ и любо; эка чѣмъ удивить захотѣлъ; тридцать тысячъ! Онъ, стало быть, не знаетъ того, что непродажному нѣтъ цѣны, онъ деньгами все осилить хочетъ, и самого меня, пожалуй, купитъ, и совѣсть мою? Сосѣдъ сосѣдомъ, а въ мой горохъ не лѣзь; кланяйся ему, а тридцати тысячъ его мнѣ не надо. Прощай.

Ушелъ тотъ, какъ не солоно хлебалъ, и хозяину его только осталось пожать плечами и махнуть рукой: и домъ-то весь, со всѣмъ дворомъ и садомъ, того не стоитъ, что ему даютъ за одинъ садъ, а онъ артачится! Ну, чтожъ, его воля. Тѣмъ дѣло кончилось.

Теперь перейдемъ къ иному случаю, поглядимъ на Артамоновича и съ другой стороны. Мы помянули уже, что у него былъ и другой домъ, на противномъ концѣ города, и тамъ, конечно, было не безъ сосѣдей; одинъ изъ нихъ, недавно купившій домъ, счелъ нужнымъ тотчасъ же перебрать и вычинить за-ново за-

боръ, который былъ таковъ, что воры уже однажды разобрали его и всю ночь шарили по двору. Сговариваться и пересылаться съ сосѣдомъ, жившимъ вдалекѣ, было долго, хотя починка забора, по закону, касалась обоихъ равно, и должна была дѣлаться сообща. Словомъ, онъ сдѣлалъ дѣло это не откладывая, а сосѣду, еще не познакомившись съ нимъ, не видавъ его въ глаза, написалъ записку:

«М. г. Меркулъ Артамоновичъ! Пишетъ вамъ и проситъ пріязни вашей новый сосѣдъ вашъ, купившій такой-то домъ: общій заборъ нашъ разсыпался, и черезъ него меня уже посѣтили воришки; пересылаться и сговариваться показалось мнѣ долго, а потому я поставилъ новый заборъ, 7 саженъ, по 5 рублей, всего на 35 рублей; коли признаете дѣло это правильнымъ, то, надѣюсь, не откажетесь принять половину расхода, 17 рублей 50 копѣекъ, на себя.»

Черезъ нѣсколько дней Меркулъ Артамоновичъ самъ пріѣхалъ къ новому сосѣду познакомиться, сказалъ нѣсколько прямыхъ словъ и пожеланій о дружбѣ сосѣдской, помянулъ къ слову о переходахъ новокупленнаго дома изъ рукъ въ руки, о разныхъ бывшихъ хозяевахъ его, а потомъ прямо перешелъ къ дѣлу.

— Да, ну вотъ насчетъ того, что вы пишете. Оно, конечно, дѣло сосѣдское, правильно, заборы сообща, не отрекаюсь; только вотъ что, вѣдь вы сдѣлали это не спросясь!

— Правда, Меркулъ Артамоновичъ, въ этомъ и я не спорю; я же вамъ и писалъ, что коли сочтете должнымъ, то примете на себя, по-сосѣдски, половину, а коли нѣтъ, то я прямо говорю, судомъ искать не стану.

— Да, ну, тутъ судомъ ничего и не сдѣлаешь, дѣло полюбовное; оно такъ, все такъ, не спорю, да сдѣлано-то не спросясь; опять я бы столбики-тѣ дубовенькіе поставилъ, оно бы и попрочнѣе было!

— Да вѣдь дубовенькіе-то пять рублей кряжъ, оно бы и дорого стало, а, не переговоривъ съ вами, я на это и не рѣшился; ужъ, кажется, не дорого сдѣлалъ я заборъ, и надѣюсь, постоитъ; осмотрите сами, вы дѣло знаете.

— Оно все такъ, да не спросясь; а по совѣту-то бы сдѣлать, оно бы и лучше. Да, ну такъ вотъ что: мы однако съ вами по-сосѣдски сдѣлаемся, уважить надо новому сосѣду, почтеніе сдѣлать—такъ вы вотъ что, вы десять рубликовъ-то возьмите за заборчикъ, а расписочку-то пожалуйте мнѣ полненькую...

— Извольте,—отвѣчалъ тотъ, хотя нѣсколько изумленный, глядя на этого здороваго и умнаго мужика:— такъ какъ же ее писать полненькую?

— А возьмите перо-то вотъ и пишите: такого-то числа и года, отъ такого-то, за поправку общаго, пососѣдству, забора, семи саженъ, что причлось на долю его, сосѣда, получилъ сполна,—ну, и подпишитесь.

Кинувъ изъ одного тщеславія и упрямства тридцать тысячъ и здраво разсудивъ, что не ѣсть же ихъ, Меркулъ Артамоновичъ въ то же время не упустилъ случая законно прижать другого сосѣда и нажить отъ этого 7 руб. 50 коп.

3) ЯНВАРЬ

(ВАСИЛЬЕВЪ МѢСЯЦЪ, СѢЧЕНЬ, ПРОСИНЕЦЪ).

Вся земля русская — одна исполинская черепушка, вся подъ однимъ черепомъ. Жизнь не угасла, она только притаилась и кипитъ уютно подъ мертвымъ покровомъ; изрѣдка выглядываетъ тутъ и тамъ нѣчто живое и опять прячется. Не только домашнія животныя ищутъ тепла, пріюта и корма у человѣка, и воробей

и ворона смиренно забиваются подъ стрѣху, молча пыжась, и заяцъ смѣло лѣзетъ въ огородъ и шаритъ по гумнамъ, и лѣсникъ-мишукъ давно уже завалился на боковую, посасываетъ лапу, да изрѣдка почесывается, будто ему грезится рогатина въ боку; одинъ только неладный звѣрь, волкъ, рыщетъ неугомонно за скоромью и, зубы на оскалѣ, нагло заглядываетъ во дворы или напропалую врывается въ жилища. Году начало, зимѣ середка; переломъ зимы уже болѣе часу дня прибавилъ, а все еще пряльщицамъ и ткачихамъ много приходится засиживать при огнѣ, вечерками и досвѣтками, и ушастый свѣтецъ не дремлетъ.

Толста и тяжка ледяная пелена эта, отъ которой ни живота, ни смерти. Безъ топора и заступа ни за порогъ: не расчистивъ проходу, не подрубивъ спуску, и скотинки не сведешь на водопой, а ужъ о проруби, замерзающей черезъ ночь, и говорить нечего; ложись, черпай бадейкой и подноси; у мужицкой скотины ноги что колья, шея въ плечи ушла, либо не достанетъ воды изъ этого колодца, либо ноги поломаетъ, убьется. Сочти-ка время на ухитку избы, на припаску дровъ и лучины, про тепло да про свѣтъ, время на разгребъ снѣгу, то около дому и ухожей, то на гумнѣ, на току, да расходъ на теплую одежонку, о которой на югѣ не заботятся, да скинь еще съ двѣнадцати мѣсяцевъ гдѣ шесть, а гдѣ и всѣ восемь доброй рабочей поры, — такъ и разгадаешь, съ чего хозяйство наше не спорится. Лѣнь лѣнью и вино виномъ, и отъ нихъ, конечно, подспорья нѣтъ, а погодье наше таки само по себѣ не нашу руку держитъ.

Ни по ягоду, ни по грибы, ни даже въ боръ, по сосновыя шишки, а таки по снѣгъ съ лукошками домостройки сходили, наканунѣ Крещенья, для бѣлки холстовъ по первовесенью. Кто рядился о святкахъ, ходилъ козой и медвѣдемъ, давно уже очистился отъ

грѣха, окунулся съ головой на іордани. На Аѳанасія ломоноса ворона на лету замерзла, свалилась не каркнувъ, а воробей, какъ ни пыжился, ни крѣпился, отдался за-живо въ руки ребятишкамъ, самъ залетѣлъ въ сѣни, думалъ отогрѣться. Ворону отецъ велѣлъ выкинуть въ зады, потому что она карга, птица худовѣщая, и воробья казнили, потому что онъ предатель, а въ избу залетаетъ не къ добру, о чемъ ребятишкамъ сказано было должное наставленіе и, подъ опаской большого грѣха, не велѣно было обижать божьихъ птицъ: голубя и ласточки.

Дороги разъѣзжены — сущее подобіе хлябей морскихъ! О шибелькахъ и порожкахъ, выбитыхъ конскою ступней подъ обозами, по которымъ ѣдешь, какъ поперекъ грядъ, и бережешь зубы, уже давно рѣчи нѣтъ — пошли ныркн да ухабы, въ которыхъ и возу не видать, какъ осядетъ, а лошадь въ гору лѣзетъ какъ изъ земли и опять ныряетъ головой въ яму; а раскаты знай переваливаютъ возище сбоку на бокъ, ломая не только оглобли, но и кости бѣдной лошади, и заворачивая возъ поперекъ дороги; троичной ѣзды уже нѣтъ съ Николы: либо бочкой ступай, не то гусемъ, у кого кони пріѣзжены, а нѣтъ, такъ вѣ одиночку. Трещитъ, скрипитъ, а мужикъ только открякивается да подставляетъ плеча, не съ того, такъ съ другого бока.

А вотъ и Тимоѳей полузимникъ съ Аксиньей полухлѣбницей миновали: половина запасного хлѣба и корму съѣдено; половина сроку прошло отъ хлѣба до хлѣба, и весна красна: есть, слава Богу, и на ѣмины, и на сѣмены, авось дотянемъ!

Спитъ и куритъ и дуетъ — что-то будетъ. По кличку на зимнюю непогоду намъ не за море идти, полный подборъ дома есть: стояла пометуха и понизовка, и тащиха, была и свистуха, и кура, и вьюга, и хурта, и просто *держало*, то есть стояла плящая

стыль, съ искрой и съ блесткой—тамъ было отпустило, пошла падь и кидь, хлопья съ былого воробья, какъ замѣтилъ старикъ, который охотно поминалъ, что малымъ еще видѣлъ бѣлаго воробья, въ коемъ подъ старость, ставъ поопытнѣе и поумнѣе, сталъ подозрѣвать оборотня. Повалилъ было и лепень, и жижа, и дрябня, одѣлся было и весь лѣсъ въ бѣлый овчинный тулупъ свой, въ куржевину и опоку, да вскорѣ опять заворотило вкруть, да такъ, что избенки стали палить по селу, какъ изъ пушекъ, и даже отъ лаптей скрыпъ пошелъ

Оять эту пору трое мужиковъ сидѣли въ избѣ копаясь кой у чего, при курной, нагорѣлой лучинѣ, изрѣдка напоминавшей трескомъ своимъ о трескучемъ морозѣ, и вслѣдъ за трескомъ взвивалась дымовая змѣйка подъ потолокъ и исчезала. Одинъ изъ нихъ чинилъ воробы, коихъ ждала молодая бабенка, стоя передъ нимъ, поджавъ руки; другой, помоложе, сучилъ конскій волосъ на голомъ колѣнѣ, очевидно, охотникъ до уженья; третій, уже середовикъ, могучъ по плечамъ, ковырялъ лапти, спокойно выжидая послѣдней зимней потѣхи своей: хорошаго насту, по которому онъ, что годъ, хаживалъ съ топоромъ и рогатиной. Въ избу вошелъ старикъ, перекрестился, отдалъ и принялъ поклонъ, перекинулъ, словно нехотя, немного словъ, присѣлъ и будто задумался. Лапотникъ, съ кочедыкомъ въ одной рукѣ, съ чиненымъ лыкомъ въ другой, поднялъ голову, уставилъ на него глаза и спрашивалъ молча: «Что-де у тебя, дядя, на душѣ?» И тотъ взглянулъ на него и заботно, вполголоса отвѣчалъ на нѣмой вопросъ:

— Да что, опять тута!

— Какъ тута?

— Такъ вотъ, поди — сидитъ у Никиты, замерзъ было, говоритъ, насилу добѣжалъ, отогрѣйте, гово-

ритъ, да накормите, а ночь дайте переночевать. И, говоритъ, хранитель вашъ, я оберегаю, не рушу васъ— вотъ и поди съ нимъ!

— Хранитель?—отвѣчалъ первый, сжавъ кочедыкъ въ кулакахъ и покачивая головой: — а кто его наряжалъ хранить-то? Отъ кого хранитель? Отъ своихъ же окаянныхъ рукъ? Пропади онъ, такъ все цѣло будетъ и хранить-то не отъ кого!

— Говори вотъ съ нимъ, что станешь дѣлать! А ужъ этакъ, братцы мои, намъ съ нимъ бѣды не миновать; вотъ еще и ночевать повадится — грѣхъ грѣхомъ, ну, Богъ проститъ, а судъ не проститъ.

— Нѣтъ, Сидорычъ, не говори: и Богъ не проститъ; Богъ долго терпитъ, да больно бьетъ; а вѣдь и Богъ черезъ людей милуетъ, черезъ людей же и караетъ, этого,—съ нами крестная сила, — за грѣхи же наши наслалъ, а ты сумаешь какъ?

— А я думаю: на милость, на кару власть Господня, а ужъ такъ ли, этакъ ли, дѣло вершить надо. Этакъ-то нѣтъ житья, всѣмъ проподать будетъ — пойдемъ, братъ, къ Мирону, столкуемся, и Степанычъ тама.

— Прахъ его носитъ, изверга, съ побѣдною головой,— сказалъ лапотникъ, вставая: — и надо жъ эту каторгу послать на православный людъ!...

И продолжая ворчать въ отчаянномъ негодованіи, онъ оболокся, снялъ шапку съ колочка, и оба со старикомъ ушли.

Неправду говорятъ люди, будто отъ великихъ порядковъ просвѣту нѣтъ, ни простору; вотъ Гришка Моргунъ живетъ себѣ на вольномъ свѣту, ни малыхъ, ни великихъ порядковъ знать не хочетъ, самъ держитъ подъ страхомъ Божіимъ и своимъ цѣлую волость, собираетъ дани и харчемъ, и деньгами, какъ понадобится, какъ слѣдуетъ настоящему начальнику, и пьянъ, и

сытъ, и одѣтъ, живетъ безданно, безпошлинно, и усомъ себѣ не ведетъ! Чего ему еще, какого приволья? Слылъ онъ въ своемъ родномъ пепелищѣ, съ самой той поры, какъ парнемъ на усу отлежался, за буй-тура, кипѣла въ немъ кровь не по нашему; ни въ плясъ, ни въ дѣло не было парня супротивъ него, всѣ дѣвушки на Гришу Моргуна заглядывались, всѣ молодцы ему завидовали, только старики, потряхивая головами, поговаривали: «ай-ай, Гриша!...» Сказалась, однако, своя пора и въ немъ, словно буря поуходилась, захотѣлъ остепениться; нашелъ онъ дѣвку по мыслямъ себѣ, да не по чину, чуть чуть не изъ посадскаго дому, а на самомъ только и золотца, что пуговка оловца! «Вишь, куда метнулъ, — говорили на селѣ:—Гришкѣ все не по-людски надо!» Отецъ дѣвки порядкомъ оборвалъ и сваху-то, которая-де суется съ посконнымъ рыломъ, да въ суконный рядъ: «только добрыхъ людей вы позорите, матушка, что за такія несуразныя дѣла беретесь; милости просимъ и впредь не жаловать.»

Что же, Гриша не тотъ человѣкъ, чтобы ради отца отъ дѣла отстать: онъ дѣвку укралъ, попа купилъ, и сыгралъ краденую свадьбу въ чужомъ приходѣ. Дѣло сдѣлано: и худой попъ свѣнчаетъ, хорошему не развѣнчать. Однако, медовая пора пролетѣла скоро, а Гриша былъ скучливъ, ему все подавай новую потѣшку, а что въ руки далось, то брошено. И выручила его новая потѣха—ревность. И сталъ Гриша звѣрь звѣремъ; а какъ онъ, по обычаю своему, непорѣшеннаго дѣла не покидалъ, то клюнулъ на жнитвѣ жену носкомъ серпа въ голову и успокоилъ ее, сердечную, навѣкъ.

Село это было большого, богатаго барина, котораго никакіе порядки не касались; за что же ему терять такую здоровую скотину, каковъ былъ Гриша?

И онъ, не обинуясь, написалъ изъ столицы своему управителю: «Дай кому слѣдуетъ хоть сотню рублей, изъ мірскихъ, чтобы дѣло потушить, а негодяя этого сейчасъ отдай взачетъ въ солдаты; квитанцію же продать по настоящей цѣнѣ.» Такъ и сталось, и никто не посмѣлъ подымать этого дѣла.

Не то служба царская Гришѣ не полюбилась, не то по дому соскучился, а вскорѣ намолчка прошла, что Гриша вернулся; не долго думавъ, онъ сказался тѣмъ, что сжегъ тестя своего, а потомъ и старосту, и тамъ и кой-кого изъ крестьянъ, кто ему въ былое время чѣмъ-нибудь досадилъ. Встрѣчнымъ и поперечнымъ наказывалъ онъ сказать на селѣ, что коли-де кто только пикнетъ противъ Гриши, не токмо руку подыметъ на него, но сожжетъ его и съ гумномъ совсѣмъ. Въ промежуткахъ онъ портняжилъ, шилъ вязовою иглой по большимъ дорогамъ, встрѣчалъ изъ-подъ мосту прохожихъ и проѣзжихъ. Вскорѣ прошелъ слухъ, что ужъ онъ и не одинъ на промыслу, а видѣли его самъ-третей. На три уѣзда напалъ страхъ; Гриша всѣмъ мерещился и тутъ и тамъ, ужъ его именемъ стали записочки подкидывать, наказывая вынести на такое-то распутье денегъ, и были такіе, что слушались и выносили. «Что станешь дѣлать,—говорилъ бѣдный народъ — спалитъ, и судъ весь!» Все сполошилось, пошли поиски всюду, а ему въ эту самую пору понадобилось сжечь барское гумно, потому что баринъ-де его понапрасну сгубилъ, въ солдаты отдалъ. На этой попыткѣ Гриша попался, былъ усланъ на всходъ солнца березки считать, но какъ ему эта пѣсенка долга и скучна показалась, то онъ плюнулъ и опять воротился, и принялся хозяйничать попрежнему; а такъ какъ его выдалъ одинъ изъ прежнихъ товарищей, то онъ нынѣ уже на выучку не бралъ, а мастерилъ кой-какъ самъ, на свою руку: кто его ло-

вилъ, кто уличалъ, кто ковалъ и сдавалъ, кто караулилъ по наряду — всѣхъ выжегъ; семь бѣдъ, одинъ отвѣтъ, а надо задать страху, чтобъ укрыться понадежнѣе, пожалуй, опять продадутъ исправнику; грабилъ же онъ осторожно, безъ лишняго, только бы стало на харчъ, на вино, на одежду, и послѣ каждаго грабежа пропадалъ, уходя лѣсами верстъ за сотню въ другой уѣздъ.

Но и такому вольному звѣрю безъ притону и пріюту нельзя быть: ину пору убѣжище нужно, и напустивъ страху, его всегда найти можно. Деревеньку, въ которой мужики собрались къ Мирону потолковать, Гриша избралъ пристанищемъ своимъ, основалъ подъ нею мирную берлогу свою, никого по близости не трогалъ, чтобы тутъ о немъ и слуху не было, держа крестьянъ однимъ словомъ въ полной покорности; какъ же не сказать, что онъ вѣдунъ, коли онъ такое слово знаетъ? И слово это: «спалю!» И пастухи носили ему, по приказу его, не только съ осени, но уже и въ глубокую зиму, и хлѣба, и молока, а иногда и щецъ, и жареной рыбки, и пирожка.

Гриша навелъ мертвый страхъ на полгуберніи, и все становился смѣлѣе; при одномъ имени Гришки Моргуна у стараго и малаго поджилки дрожали, отымались руки и ноги, и стыла кровь; «спалю» — было чародѣйскимъ словцомъ его, которое покоряло цѣлыя волости; молча выносили ему въ лѣсъ, чего онъ требовалъ, разсылали, по наказу его, развѣдчиковъ, давали ему знать, когда грозила опасность; а чтобы взять его, да выдать начальнику, объ этомъ уже ни рѣчи, ни помыслу не бывало: вѣдь его опять спустятъ съ цѣпи, вѣдь уйдетъ, тогда просто ступай вся деревня по міру собирать на погорѣлое, хоть всѣмъ міромъ въ могилу ложись! На него грозы нѣтъ, онъ знаетъ, что не повѣсятъ, а ссылка, — да нешто его

ссылкой удивишь? Пожалуй, ссылай, ему это за прогулку; прошелся, воротился, опять спалилъ, кого захотѣлъ, и пожалуй опять ссылай, дорожка знакома!

Вотъ каково положеніе нашего мужика, и вотъ отвѣтъ тѣмъ человѣколюбивцамъ, кои, ничего не знав, ничего на себѣ не испытавъ, изъ одного тщеславьишка, пышнорѣчиво, спуста ратуютъ противъ смертной казни, и всегда готовы великодушничать насчетъ другихъ, храня и оберегая звѣрскихъ негодяевъ и не заботясь объ участи порядочныхъ людей! Развѣ нѣтъ за это никакого отвѣта ни передъ людьми, ни передъ Богомъ, коли взять такого человѣка, заставить выдать его, и выпустить опять изъ рукъ живьемъ, и снова натравить его на несчастный народъ? Такъ не бери его, пусть народъ самъ управится, и не взыщи на томъ!

Что, напримѣръ, можетъ быть ужаснѣе такъ называемыхъ *волчьихъ билетовъ*, придуманныхъ извѣстнаго рода либералами, филантропами, космополитами, коихъ рѣчи сковородный звонъ, а дѣла — сумасбродныя проказы? Крестьянская община, по закону, могла ссылать вредныхъ и вовсе негодныхъ людей мірскимъ приговоромъ, могла также отказаться отъ пріема и водворенія у себя преступника, возвращаемаго изъ острога на родину; людямъ, никогда не испытавшимъ на себѣ тягость такого бича, не понимающимъ отношенія бѣдствующей общины къ такому извергу, право или законъ этотъ, послѣднее убѣжище цѣлой волости, показался слишкомъ строгимъ; и вотъ, подъ предлогомъ человѣколюбія, придумали хорошую мѣру: давать такому сорванцу, протершему всѣ нары по острогамъ, ободранному, обнищалому, озлобленному до неистовства на всю родину свою, которая отъ него отрекается, давать ему на полгода полный просторъ, волю и свободу рыскать повсюду, промышлять, какъ

себѣ знаетъ, и искать общества, которое согласилось бы его принять... Только черезъ полгода, когда новые грабежи, конокрадство и поджоги его не могли убѣдить ни одной изъ сосѣднихъ общинъ принять его въ среду свою, только тогда опредѣлялась ссылка его, на бумагѣ, самъ же онъ бродяжилъ, невѣдомо гдѣ, и попался уже, при какомъ-нибудь новомъ подвигѣ, подъ именемъ *неимѣющаго родства*, скрывая этимъ всѣ слѣды своей полезной жизни. Вотъ что называли *волчьими билетами*, нынѣ, наконецъ, послѣ многихъ горькихъ опытовъ уничтоженными.

Побывавъ въ людяхъ, повидавъ свѣту, Гришка поматорѣлъ еще и противъ прежняго: онъ заговоренъ отъ всякаго оружія, его и топоръ не беретъ; на голову его наложено три головы, кто же первый сунется брать его? Одно слово скажетъ, и ни одна собака на селѣ [на него не взлаетъ, а развѣ только заскомлитъ или взвизгнетъ; при томъ, коли взять и сдать его начальству, то онъ опять уйдетъ, и тогда — куда дѣваться отъ него всему міру? Чего стоитъ спалить деревеньку въ лѣсу, которая стоитъ на распутьѣ, какъ одинъ хохлатый овинъ, какъ стогъ соломы? Съ котораго конца ни подойди, все одна сушь, одинъ порохъ!

Но Гришка надоѣлъ бѣднымъ мужикамъ пуще всякой кары Господней: онъ прежде хоть тѣмъ ихъ обнадеживалъ, что обѣщалъ скоро уйти въ иное мѣсто, а теперь, коли кто ему помянетъ объ этомъ, только приграживаетъ. Народъ ночь и день подъ гнетомъ, подъ страхомъ; заря встанетъ, заря ляжетъ, все думается, что-то окаянный, и гдѣ онъ? Не попался ли, не напроказилъ ли, не выдалъ ли насъ, грѣшныхъ, не былъ ли опять на селѣ, не прошло ли какихъ слуховъ о немъ, не узналъ ли чего исправникъ? Долго ли намъ этакъ пестоваться съ нимъ, скоро ли Господь сми-

луется? Вѣдь рано ль, поздно ль, а попадешься, тогда съ нами-то что будетъ, за то, что молчали, а какъ же и не молчать, не держать его, коли нѣтъ ни защиты, ни спасенья?

А Гришка сидитъ у Никиты, отогрѣлся, поѣлъ горячаго и ужъ выпилъ, и ведетъ такія рѣчи:

— Вы-де, братцы, какъ знаете, такъ меня теперь и кройте, чтобъ я при васъ цѣлъ былъ и сохраненъ; нынѣ такая стужа, что волка изъ лѣсу выживаетъ, а ужъ я туда не пойду, нѣтъ моей мочи; а коли накроютъ меня, по несмотрѣнію, либо потачкѣ вашей, такъ будетъ вотъ что: напередъ я всѣхъ васъ выдамъ, до одного, что вы меня крыли, и всѣхъ заберутъ въ острогъ, а тамъ, какъ только вырвусь, то такъ вотъ и запалю село со всѣхъ четырехъ концовъ.

Вотъ эти-то рѣчи и образумили наконецъ бѣдныхъ мужиковъ, и за этимъ дѣломъ приходилъ старикъ, позвавъ съ собою на совѣтъ къ Мирону плетухана-медвѣжатника. «Вѣдь бѣда, братцы, въ какую мы ловушку попали съ этимъ некощнымъ, что тутъ и выходу нѣтъ: вѣдь вонъ намедни ужъ и малые ребята на селѣ стали въ *Гришку* играть, такіе пострѣлы: — одинъ словно изъ лѣсу идетъ, а тѣ пастухи; вишь, онъ имъ и наказываетъ:—вы-де мнѣ того-сего принесите, не то спалю! Ну, на грѣхъ, услышитъ сторонній кто, вѣдь это Божье сѣмя мало да глупо, все разскажутъ, до начальства дойдетъ, а мы тогда куда дѣнемся?»

А не выручатъ ли бѣдняковъ два богатыря наши, единоборцы несокрушимые, коимъ нѣтъ ни ровни, ни супротивника? Одинъ богатырь огнь и воды прошелъ и мѣдныя трубы, всякую муку принялъ и не сдался, окрѣпъ пуще прежняго, а на волю вышелъ, всякаго на повалъ кладетъ, кто съ нимъ схватится, и этотъ богатырь — зелено-вино, другой богатырь — сильный

старикъ; онъ безъ молоту куетъ, онъ безъ зуба загрызетъ; онъ одежнымъ дорожнымъ кланяться велитъ, а безодежныхъ и самъ посѣщать не лѣнивъ; онъ-то и куетъ на всю Русь черепашій черепъ, и держитъ ее въ неволѣ: — это богатырь Стужійла, Морозъ Снѣговичъ! Да, заговоренъ Гришка Моргунъ отъ всякихъ напастей, отъ огня и воды, отъ пули свинцовыя и отъ укладу булатнаго, а отъ вина зеленаго русскаго человѣка не заговоришь, одолѣетъ!

Въ избѣ Никиты, гдѣ сидѣлъ Гришка, сошлось исподволь нѣсколько человѣкъ. «Ну, жить, такъ жить дружно, Гриша, только-де не обижай насъ и не выдавай, коли помимо насъ кой грѣхъ надъ тобой встрясется; выпьемъ на мировую!»

Выпьемъ да выпьемъ, анъ Гришу стало разбирать сильно. Не шутка шататься въ такую зиму по лѣсамъ, ночевать, забившись подъ стогъ, засыпая подъ волчью пѣсню, а когда голодъ выгонитъ изъ логова, вылѣзть на тотъ же трескучій морозъ, брести снѣгомъ выше колѣна, либо на жизнь, либо на смерть: не житье это, а одна передышка, радъ будешь теплой избѣ, обрадуешься и вину... «Выпей, Гриша», а ужъ Гриша насилу самъ губы разводитъ: помотавъ головою туда-сюда, онъ хотѣлъ было сидя свалиться бокомъ на лавку, потому что голова, словно на безменѣ, стала вовсе перетягивать къ низу, покачнулся, да и свалился подъ столъ; какъ руки, ноги подмялись подъ него, такъ, словно на мягкой перинѣ улегся, смежилъ очи и захрапѣлъ. Одинъ богатырь одолѣлъ Гришу, пришла очередь на другого.

Въ избѣ быстро зашевелились, какъ по условному знаку: кто подходилъ къ сонному и трясъ его, будто не довѣрялъ мирному покою этого звѣря, кто, надсѣдясь, кричалъ шопотомъ: «давай сани-то, живо! Мишка, оболокайся, чего стоишь, вытуля глаза, не видалъ его,

И онъ, не обинуясь, написалъ изъ столицы своему управителю: «Дай кому слѣдуетъ хоть сотню рублей, изъ мірскихъ, чтобы дѣло потушить, а негодяя этого сейчасъ отдай взачетъ въ солдаты; квитанцію же продать по настоящей цѣнѣ.» Такъ и сталось, и никто не посмѣлъ подымать этого дѣла.

Не то служба царская Гришѣ не полюбилась, не то по дому соскучился, а вскорѣ намолчка прошла, что Гриша вернулся; не долго думавъ, онъ сказался тѣмъ, что сжегъ тестя своего, а потомъ и старосту, и тамъ и кой-кого изъ крестьянъ, кто ему въ былое время чѣмъ-нибудь досадилъ. Встрѣчнымъ и поперечнымъ наказывалъ онъ сказать на селѣ, что коли-де кто только пикнетъ противъ Гриши, не токмо руку подыметъ на него, но сожжетъ его и съ гумномъ совсѣмъ. Въ промежуткахъ онъ портняжилъ, шилъ вязовою иглой по большимъ дорогамъ, встрѣчалъ изъ-подъ мосту прохожихъ и проѣзжихъ. Вскорѣ прошелъ слухъ, что ужъ онъ и не одинъ на промыслу, а видѣли его самъ-третей. На три уѣзда напалъ страхъ; Гриша всѣмъ мерещился и тутъ и тамъ, ужъ его именемъ стали записочки подкидывать, наказывая вынести на такое-то распутье денегъ, и были такіе, что слушались и выносили. «Что станешь дѣлать,—говорилъ бѣдный народъ — спалитъ, и судъ весь!» Все сполошилось, пошли поиски всюду, а ему въ эту самую пору понадобилось сжечь барское гумно, потому что баринъ-де его понапрасну сгубилъ, въ солдаты отдалъ. На этой попыткѣ Гриша попался, былъ усланъ на всходъ солнца березки считать, но какъ ему эта пѣсенка долга и скучна показалась, то онъ плюнулъ и опять воротился, и принялся хозяйничать попрежнему; а такъ какъ его выдалъ одинъ изъ прежнихъ товарищей, то онъ нынѣ уже на выучку не бралъ, а мастеридъ кой-какъ самъ, на свою руку: кто его ло-

ему покатомъ спускаться по крутымъ оврагамъ и ночевать тамъ, но это былъ уже послѣдній его ночлегъ. Онъ будетъ спать до призыва страшной трубы.

Шибко понеслись сани въ обратный путь; то одинъ, то другой изъ сѣдоковъ робко вглядывались и бесѣдовали вполголоса. Мигомъ домчались они до двора, гдѣ встрѣтили ихъ, также безъ шуму, человѣка два или три, выжидавшіе конца дѣлу. «Слава тебѣ, Господи, и прости согрѣшеніе наше»,—сняли шапки, перекрестились и побрели молча по домамъ.

Солнце встало ярко, блестка искрой наполняетъ воздухъ, денекъ свѣтлый, веселый, словно праздничный; на селѣ встрѣчаются нѣсколько робкія, но довольныя лица; гдѣ встрѣтятся, гдѣ впервые сойдутся, тамъ первое слово вполголоса: «Слышалъ, братъ?»— «Слышалъ, слава тебѣ, Господи!»

Семь губерній ниже по Волгѣ весною напечатана была въ *Губернскихъ Вѣдомостяхъ* сыскная статья, что де къ мертвому тѣлу, выкинутому водой, «отыскиваются родственники», и въ примѣтахъ одежи можно было узнать приплывшаго изъ оврага полою водой дальняго путника, бездомнаго скитальца Гришу Моргуна.

4) ПРІЕМЫШЪ

I

ДЯДЯ СЪ ПЛЕМЯННИКОМЪ

Открытыя почтовыя сани мчатся тройкой по ухабамъ и раскатамъ; на нырочкахъ сѣдоки только подпрыгиваютъ, на ухабищахъ ныряютъ съ головой и покрякиваютъ, на раскатахъ лежатъ бокомъ, хватаясь за что ни попало, то въ ту, то въ другую сторону.

ссылкой удивишь? Пожалуй, ссылай, ему это за прогулку; прошелся, воротился, опять спалилъ, кого захотѣлъ, и пожалуй опять ссылай, дорожка знакома!

Вотъ каково положеніе нашего мужика, и вотъ отвѣтъ тѣмъ человѣколюбивцамъ, кои, ничего не зная, ничего на себѣ не испытавъ, изъ одного тщеславьишка, пышнорѣчиво, спуста ратуютъ противъ смертной казни, и всегда готовы великодушничать насчетъ другихъ, храня и оберегая звѣрскихъ негодяевъ и не заботясь объ участи порядочныхъ людей! Развѣ нѣтъ за это никакого отвѣта ни передъ людьми, ни передъ Богомъ, коли взять такого человѣка, заставить выдать его, и выпустить опять изъ рукъ живьемъ, и снова натравить его на несчастный народъ? Такъ не бери его, пусть народъ самъ управится, и не взыщи на томъ!

Что, напримѣръ, можетъ быть ужаснѣе такъ называемыхъ *волчьихъ билетовъ*, придуманныхъ извѣстнаго рода либералами, филантропами, космополитами, коихъ рѣчи сковородный звонъ, а дѣла — сумасбродныя проказы? Крестьянская община, по закону, могла ссылать вредныхъ и вовсе негодныхъ людей мірскимъ приговоромъ, могла также отказаться отъ пріема и водворенія у себя преступника, возвращаемаго изъ острога на родину; людямъ, никогда не испытавшимъ на себѣ тягость такого бича, не понимающимъ отношенія бѣдствующей общины къ такому извергу, право или законъ этотъ, послѣднее убѣжище цѣлой волости, показался слишкомъ строгимъ; и вотъ, подъ предлогомъ человѣколюбія, придумали хорошую мѣру: давать такому сорванцу, протершему всѣ нары по острогамъ, ободранному, обнищалому, озлобленному до неистовства на всю родину свою, которая отъ него отрекается, давать ему на полгода полный просторъ, волю и свободу рыскать повсюду, промышлять, какъ

шубу съ плечъ и отряхнуться, какъ его уже ожидалъ стаканъ горячаго чая. Онъ такъ жадно протянулъ къ нему руку, что едва успѣлъ, опомнясь, подать ее напередъ хлѣбосольнымъ хозяевамъ и просить ихъ познакомиться.

— Я Александръ Сергѣевичъ Осининъ, — сказалъ старшій изъ нихъ: — а это племянникъ мой, Степанъ Никитичъ Добрынинъ.

— Какая встрѣча!—отвѣчалъ прозябшій путникъ, разминая плеча: — какая пріятная встрѣча съ почтенными сосѣдями! Я помню васъ ребенкомъ, вы бывали у отца моего: я сынъ Петра Ивановича Горячева!

— Вадимъ Петровичъ? И не узналъ бы ни за что!

— Въ десять лѣтъ много воды утекло: я выросъ, вышелъ въ офицеры, успѣлъ уже наслужиться и выйти въ отставку!

— Уже и въ отставку?—спросилъ Осининъ.—Что дѣлать, таковы дѣла наши, надо заняться дома. Да,— продолжалъ Осининъ:—немножко позапущено, а хорошее имѣнье: но въ такіе молодые годы...

— Что годы! — перебилъ тотъ, сидя на двухъ угольяхъ, то есть прихлебывая чай и грѣя руки у стакана: — что годы: человѣкъ живетъ, а не годы: вотъ дѣдушка то мой, сами знаете, и въ семьдесятъ лѣтъ такъ похозяйничалъ, что батюшка до конца жизни не могъ поправиться; матушка и не моложе меня, а хозяйничаетъ подгору; она одна, управители плуты, надо заняться самому; имѣнье хорошее, некрошеное; взявшись за дѣло, скоро можно повернуть его на иной ладъ, я живо выгоню всѣхъ негодяевъ этихъ, заведу свои порядки, вы черезъ мѣсяцъ Духовщины моей не узнаете!

Осининъ поглядѣлъ искоса на Вадима, промычалъ, не то одобрительно, не то сомнительно, и подумалъ про себя: «похоже на то!»

— Гаврила, ей, трубку! — закричалъ въ теплѣ и нѣгѣ ожившій Вадимъ.

Гаврила расправилъ кистень, взялъ въ руки дорогую трубку, которая возилась въ чехлѣ, чмокнулъ и щелкнулъ, крякнулъ и вздохнулъ, почесалъ затылокъ, покачалъ головой и на вторичный окрикъ барина: «трубку!» отвѣчалъ:

— Да, была она такова, сударь, вотъ что, изломали вы ее всю дорогой!

— Подай ее сюда!

— Подать можно, не штука, да толку-то нѣтъ.

Баринъ ухватилъ богатой отдѣлки трубку, съ колѣнчатымъ черепаховымъ чубукомъ, сталъ ее нетерпѣливо поправлять, что-то снова подъ руками хрустнуло, и онъ ее бросилъ на лавку, сказавъ сердито: «Ну, что за бѣда, пошелъ, достань скорѣе другую!»

Гаврила молча вышелъ и ворчалъ, обезпечивъ себѣ отступленье притворенными дверьми:

— Подай другую! Намъ вишь все шутка, и сотенная вещь ни почемъ, а въ отставку выходимъ потому, что попитерски жить нечѣмъ, а теперь вотъ подавай другую, еще подороже, да разстегивай и разбирай въ эту погоду чемоданъ, а дастъ Богъ, и эту объ кого-нибудь изломаемъ!

Позвавъ на помощь стараго знакомаго своего, съ коимъ столкнулся въ черной избѣ такъ же нечаянно, какъ и баринъ его, кучера Осинина, Гаврила притащилъ чемоданъ въ ямскую и сталъ его разстегивать.

— Ну, что,—спросилъ кучеръ:—чай, на побывку ѣдете?

— Нѣтъ, Ѳомичъ, въ чистую вышли.

— Что рано больно?

— Да не нашли толку въ службѣ.

— Экіе жъ вы безтолковые! А какъ же люди-то съ толкомъ служатъ?

— Ну, вотъ поди! Гвардейщина-то деньгу любитъ, а Питеръ бока повытеръ, распискамъ не вѣритъ, хоть, правда, и пропасть мы ихъ тамъ оставили; опять же служба обидная, иной изъ мелкой сошки отъ нечего дѣлать до полковника дослужится, ну и стой передъ нимъ на вытяжку, а баринъ нашъ, самъ ты знаешь, роду не простого... И этой достанется голову сломить, — продолжалъ онъ, вынимая изъ особой укладочки великолѣпную пенковую трубку въ серебрѣ, съ янтарнымъ мундштукомъ: — эка штука, вещичка-то какая!

Всѣ кинулись смотрѣть трубку, и наполатяне и подполатяне, а Гаврила, приподнявъ вещичку и подбоченясь, горделиво повертывалъ ее туда и сюда, какъ вдругъ громкій зовъ барина испортилъ все дѣло, и Гаврила опрометью кинулся съ трубкой на ту половину.

— Вотъ они каковы,—сказалъ Осипинъ, когда Горячевъ ускакалъ:—вотъ они, хозяева и преобразователи наши. Хозяйству онъ выучился по театрамъ, а счетоводству, давая неоплатныя расписки, и теперь скачетъ, сломя голову, чтобы перевернуть и устроить въ одинъ мѣсяцъ имѣніе, порядочно разстроенное уже дѣдомъ его!

— Это сынъ Горячевой, у которой мы были, дядюшка?—спросилъ Добрынинъ.

— Да, онъ и есть.

— Ты, дядя, что-то объ ней отозвался съ ужимкой, а она мнѣ показалась умною, образованною женщиной?

— Вся на симахъ, — отвѣчалъ дядя, негодуя: — выпускная кукла, ни кровинки живой природы, съ ногъ до головы окутана подлогомъ. Ханжа.

— Но, дядя, меня все это дивитъ, хотя я вѣдь тебя знаю и тебѣ вѣрю; я хотѣлъ только сказать, что

сумѣла же она дать такое образованіе воспитанницѣ своей...

— Ну, братъ, по этому не суди. Она могла передать ей кой-какія познанія, въ этомъ не спорю, но образовать ее нравственно не могла, а это не одно и то же. Горячева одна изъ тѣхъ женщинъ, которыя любятъ и умѣютъ окружать себя молодежью, держать воспитанницъ, какъ вабило, но держать ихъ подъ невыносимымъ гнетомъ, и, наконецъ, расходятся съ ними съ шумомъ и бранью, за неблагодарность ихъ, а въ людяхъ говорятъ о такомъ событіи, скорбя, съ кротостію, сложивъ ладони, покачивая головой, пожимая плечами, заставляя уважать себя за скромность и молчаливость свою. «Лучше я вынесу все это на себѣ, чѣмъ рѣшусь, въ свое оправданіе, повредить доброй славѣ дѣвушки, что мнѣ до свѣту!» Вотъ эти-то слова, слышанныя мною отъ нея однажды, заставили меня грѣшить день и ночь, непрестанно, и ненавидѣть ее. Внѣшность, суетность, свѣтъ, а стало быть ложь и обманъ, замѣняютъ въ этой женщинѣ и совѣсть, и правду; и, прости Господь, самого Бога...

Все это болѣзненно отозвалось въ груди Добрынина, который и безъ того уже задумчиво и молчаливо покидалъ родину свою, вѣроятно, надолго, послѣ мимолетнаго знакомства своего съ воспитанницей Горячевой, извѣстною запросто подъ именемъ саксонки. Степанъ Никитичъ и самъ былъ съ дѣтства круглымъ сиротой, отца не знавалъ, мать едва помнилъ, выросъ у дяди и служилъ въ гвардіи. Отецъ и дядя Добрынина были отъ разныхъ отцовъ, первому досталось хорошее наслѣдство, второму небольшое; послѣдній нѣкогда сватался къ матери Степана, но ему отказали родители ея, потому что были въ виду женихи побогаче, и Осининъ остался холостякомъ; вскорѣ братъ его женился, пожилъ пышно, промотался, умеръ, и

Осининъ принялъ опеку; затѣмъ, похоронивъ и невѣстку свою, сталъ отцомъ своему племяннику. Умный, добрый и честный, онъ сдѣлалъ для Добрынина болѣе, чѣмъ бы могъ сдѣлать родной отецъ: онъ не только привелъ въ порядокъ и сохранилъ имѣніе, разстроенное отцомъ, онъ привязалъ къ себѣ Степана и успѣлъ укоренить въ немъ твердую нравственность, честь и правду. Добрынинъ, послѣ многихъ лѣтъ, пріѣзжалъ къ дядѣ на мѣсяцъ въ отпускъ, снова горячо полюбилъ его, нашелъ въ немъ друга, несмотря на различіе въ лѣтахъ, и ввѣрился ему всею душой. Срокъ отпуска былъ на исходѣ, Степану пора ѣхать, и дядя рѣшился проводить его на два перегона, по тогдашнему обычаю, на своихъ, переночевать съ нимъ, проститься и заѣхать по пути въ одну изъ деревень племянника, коего имѣніемъ онъ все еще управлялъ. Вотъ по какому поводу Горячевъ засталъ дядю съ племянникомъ на станціи, за самоваромъ, и бесѣда ихъ, по отъѣздѣ Горячева, котораго Добрынинъ въ Питерѣ не знавалъ, длилась далеко за полночь. На робкіе разспросы Степана, который боялся услышать какой-нибудь суровый отзывъ дяди о саксонкѣ, о Маріонилѣ Богдановнѣ Значковой, воспитанницѣ Горячевой, дядя отвѣчалъ, что онъ знаетъ ее мало, слышалъ же объ ней одно хорошее, а на вопросъ, кто она такова, и почему она саксонка, объяснилъ дѣло такъ: проѣзжая однажды черезъ большое село, Горячева остановилась у священника, гдѣ увидѣла, въ числѣ смуглыхъ дѣтей его, очевидно, дѣвочку чужую, бѣлокурую, голубоглазую; подозвавъ ее къ себѣ, она спросила: «кто ты, моя милая, ты не поповна?» «Нѣтъ, отвѣчалъ кроткій ребенокъ чистымъ русскимъ языкомъ, я саксонка!» Этотъ отвѣтъ разсмѣшилъ барыню и завлекъ ее въ подробные разспросы. Во время наполеоновскихъ войнъ, проснувшаяся при взрывахъ Кремля угнетен-

ная Германія восхищенно привѣтствовала вступленіе войскъ нашихъ въ свои предѣлы; это подлинно былъ взрывъ крика радости всѣхъ народовъ Германіи, блистательное торжество русскаго знамени, вся Европа поклонялась имени русскаго; его встрѣчали празднествами, провожали съ неслыханнымъ почетомъ. Не мало женъ вывезли себѣ оттуда воины наши, и нѣмки не робѣя выходили за ледовитыхъ медвѣдей, романическія нѣмки съ полнымъ самоотверженіемъ, очертя голову, рѣшались на эту жертву признательности народу или воинству, спасавшему попранную и угнетенную Германію, народу, о коемъ вдохновенный Кернеръ пѣлъ: «Der Phönix Russlands stürzt sich in die Flammen und sanct Georg schwingt siegend seine Lanze»... Вотъ въ этомъ-то настроеніи была одна маленькая саксонка, сгоравшая жаждой принести себя, такъ или иначе, на жертву своему отечеству и обожавшая русскихъ еще прежде, чѣмъ они успѣли достигнуть границъ родной земли ея. Привѣтливость и радушіе ея, при встрѣчѣ перваго русскаго постоя, не знали предѣловъ; пользуясь нѣмецкими обычаями, она прислуживала солдатамъ нашимъ какъ простая работница, и одинъ изъ нихъ, молодой парень, на смерть въ нее влюбился. Товарищи его увѣрили ея родителей, что онъ изъ дворянъ, и это, пополамъ съ грѣхомъ, была правда: онъ писался изъ воронежскихъ однодворцевъ; словомъ, она вышла за нашего рядового богатыря Богдана Значкова, и Маріонила—дочь его; родители ея умерли, покинувъ сиротку, которую священникъ взялъ въ свою семью, и ее то Горячева встрѣтила подъ общимъ прозвищемъ саксоночки. Горячева въ самое это время пріискивала себѣ воспитанницу, поссорясь съ предмѣстницей ея, и потому выпросила саксонку у священника, который радъ былъ пристроить сиротку.

— Теперь, любезный Степанъ, идемъ спать,—такъ кончилъ Осипинъ бесѣду свою: — а утре обнимемся и разъѣдемся. Я вижу, что ты затѣваешь: не спѣши, пережуй и перевари все дѣло, обдумай его спокойно, а я между тѣмъ постараюсь разузнать, что можно: такъ и быть, ради друга, пойду въ лазутчики; пословица говоритъ: которая служба нужнѣе, та и честнѣе!

Они обнялись, Степанъ крѣпко сжалъ дядины плеча, а рано утромъ они разъѣхались.

II

ВТОРАЯ МАТЬ

За нѣсколько времени до описанной встрѣчи на почтовомъ дворѣ, Горячева сидѣла у себя на диванѣ, передъ большимъ круглымъ столомъ, а подлѣ, на креслахъ, съ работой въ рукахъ, Маріонила. Столъ покрытъ былъ богато вышитымъ столечникомъ, и на нѣсколькихъ креслахъ сидѣніе, спинки и подлокотники также красовались шитьемъ хозяйки, разбиравшей по столу шерсти и гарусы по цвѣтамъ и тѣнямъ большого рисунка. Тутъ стоялъ рукодѣльный баульчикъ, а рядомъ съ нимъ чернильница, карандаши, узоры и рисунки, бѣлая бумага, початая письмомъ тетрадь, краски съ кистями, пузырекъ или два съ духами; картины духовнаго содержанія перемѣшаны были съ послѣдне-полученными модными покроями, а подъ ними, молитвословъ и романъ Дюкре-Дюмениля. Изящный безпорядокъ показывалъ разнообразіе вкусовъ и занятій любезной хозяйки. Бросая на столъ пукъ шерстей, она жаловалась на недостатокъ всѣхъ тѣней, хватала карандашъ и дѣлала наскоро разсчетъ, во сколько петель начинать бисерную тюбетейку или чехолъ на чу-

букъ; то опять принималась за подборъ шерстей и, снова кинувъ ихъ, расписывала красками внезапно придуманный ею, по вдохновенію, узоръ... Царило молчаніе, но по временамъ требовалось мнѣніе Маріонилы объ этихъ важныхъ предметахъ. Дѣвушка затруднялась отвѣтомъ, желая угодить своей названной маманъ и опасаясь сказать что-нибудь невпопадъ, и потому отвѣчала робко.

— Помилуй, Мари, — сказала та наконецъ въ нетерпѣніи:— да это ни на что не похоже, ты несносна!

Испуганная этою нежданною выходкой, предвѣстницей грозы, Марьяша опустила руки съ работой и обратила все свое вниманіе на разложенныя кучки шерсти, но уже было поздно, квашня ушла черезъ край.

— Ты просто груба и дерзка становишься со мной, ты забываешь, чѣмъ мнѣ обязана, забываешь, кто и что ты...

Маріонила встала и, потупя глаза, молчала; Горячевой стало какъ-то неловко, но какъ мы своей вины никому не прощаемъ, то и надо было поддержать негодованіе свое уликой:

— Я цѣлый часъ не могу добиться отъ тебя, какъ ты находишь (comment trouvez-vous) эту арабеску и звѣздочку эту на тюбетейку, а меня это интересуетъ, вѣдь это мой рисунокъ, я его сама скомпановала!

— Да я же отвѣчала вамъ, maman, и не одинъ разъ, что это будетъ чудесно!

— Да ты отвѣчаешь сухо, будто нехотя, съ такою неодушевленною миной, которая ясно обличаетъ равнодушіе, безучастность твою къ тому, что меня такъ занимаетъ!

И Маріонила, вздохнувъ незамѣтно, отложила свою работу, воодушевилась и стала усердно разсуждать объ узорахъ для будущей тюбетейки.

— Принеси же мнѣ бисеръ мой, Мари, мы сейчасъ его подберемъ.

Маріонила принесла ларчикъ съ цвѣтными бисерами, другой съ металлическими, но всего этого, для причудъ Горячевой, было мало, и она чуть не расплакалась отъ жалости надъ собой, что у нея, у бѣдной, во всемъ недостатокъ, и никто объ ней не позаботится, и скоро она будетъ сидѣть, сложа руки, потому что не изъ чего работать...

— Съ тѣхъ поръ, какъ завелась у насъ эта глупая фабрика, мой Василій Александрычъ (управитель) сталъ невидимкой, сидитъ тамъ, потонулъ въ безтолковыхъ разсчетахъ, и не знаешь, какъ и когда передать ему, что нужно купить или выписать изъ Москвы, и все только слышишь отъ него одну пѣсню:—денегъ нѣтъ, подождите! Я къ поджидамъ этимъ не привыкла, а онъ выслуживается только сыну, Вадиму, забывая, чѣмъ онъ мнѣ обязанъ! Вотъ благодарность за все добро мое! Мари, приготовимъ-ка записку, чего намъ нужно изъ Москвы; возьми перо, пиши: напередъ всего, бронзоваго, стального, серебрянаго, граненаго бисера, по десяти кистей, голубого, бирюзоваго, побольше; шерстей, подобранныхъ по приложенному узору...

И вдругъ Марія Ивановна остановилась, глаза ея просіяли, счастливая мысль ее озарила.

— Да вотъ что, Мари, вотъ что мнѣ пришло въ голову: мы сами съѣздимъ въ Москву, чего же лучше! Наобумъ всего не придумаешь, я совсѣмъ обнищала припасами, а тамъ Кузнецкій мостъ напомнитъ, только поспѣвай укладывать!

Маріонилѣ нельзя было молчать, а еще опаснѣе было бы возражать на безразсудную затѣю, надо было соглашаться, одобрить эту выдумку, высказать свое участіе, радоваться, даже благодарить, потому что

все это дѣлалось для нея! Она осмѣлилась только усомниться насчетъ расходовъ...

— Ну, ужъ этихъ наставленій ты не читай мнѣ,— отвѣчала та, уставивъ на нее глаза и покачивая головой.

— Вы съ Вадимомъ заодно, какъ я вижу, и онъ вздумалъ мылить голову Александру Васильевичу, что у насъ много денегъ выходитъ, то-есть посчитаться съ родною матерью, — и это похвально, это въ духѣ молодого поколѣнія, это благодарность за наши заботы и жертвы...—И понесла, и понесла, споткнувшись, наконецъ, на томъ, что сынъ даже осмѣлился погрозить ей отставкой, потому что на его долю мало высылается денегъ, и что такъ служить въ гвардіи нельзя.

— Но это вздоръ, — закончила она: — этого я ему не позволю; молодъ еще, и здѣсь ему дѣлать нечего!

Дверь отворилась, и вошелъ управитель, бывшій дядька молодого барина, изъ заслуженныхъ дворовыхъ.

— Здраствуйте, милостивый государь мой, Василій Александрычъ, наконецъ-то имѣю удовольствіе васъ видѣть! Что новенькаго, хорошенькаго?

— Мало хорошаго, сударыня, пора тяжелая...

— Ну, такъ я и думала: у него вездѣ свои лазутчики есть въ угоду молодому барину... Эй, Машка, Сашка, Сенька, кто изъ васъ подслушалъ насъ, кто пересказалъ Василію Александрычу, что мнѣ денегъ нужно, что я въ Москву ѣду, а? Вотъ онъ и надѣлъ на себя постную маску, и охаетъ, едва переступивъ порогъ... На кутежъ молодому барину достаетъ, на гвардейскія выходки станетъ, а на нужды бѣдной матери нѣтъ, плохи времена! А скажи-ка ты по правдѣ, много ли услано Вадиму Петровичу?

— Онъ воленъ и въ насъ, и въ своемъ добрѣ, матушка, я усчитывать ихъ не смѣю...

— А, вотъ какъ, а ужъ я и не вольна, я ужъ не нужна болѣе Василію Александрычу, онъ своему барину служитъ, молокососу, а чѣмъ онъ обязанъ старой барынѣ своей, объ этомъ онъ давно позабылъ, этого онъ не поминаетъ: сунемъ ей кусокъ хлѣба, и пусть себѣ вѣкъ доживаетъ, мы ей лиха не желаемъ..

Огорченная этимъ неприличіемъ, Маріонила вышла изъ комнаты, управитель вздохнулъ и молчалъ; давъ барынѣ наругаться надъ собой вволю, онъ сталъ молча раскланиваться, но та, по лукавому обычаю своему, вдругъ перемѣнилась, ласково улыбнулась и протянула ему руку на поклонъ, будто все говорено это въ шутку. «Ну поди, поди сюда, старый брюзгачъ, не дуйся, а полторы тысячи припаси мнѣ къ первому зимнему пути, я ѣду въ Москву.»

— Я, сударыня, дуться не смѣю, и никогда за мной этого не бывало, а денегъ такихъ нѣтъ у насъ, и къ зимѣ имъ быть неоткуда, ихъ, сударыня, и снѣгомъ къ намъ не занесетъ... Сукна наши обракованы, приказчикъ воротился съ пустыми руками, а къ сроку ихъ поставить надо, либо неустойку платить разорительную...

— Пожалуйста, Василій Александровичъ, избавь меня, по дружбѣ, отъ этихъ разсчетовъ; я вѣдь ужъ болѣе не хозяйка въ дому, разсчеты — это ваше дѣло, а мнѣ все-таки полторы тысячи къ зимѣ припаси!

Управитель молча поклонился и вышелъ.

Скажемъ теперь слово о Маріонилѣ, о Марьяшѣ, какъ звали ее ребенкомъ въ домѣ священника, о Мари или Пилочкѣ, какъ слыла она у второй названной матери своей, Горячевой.

Теплой и кроткой души отъ природы, покойная и разсудительная, она съ малаго дѣтства привыкла къ своему ничтожеству и покорности. «Ты, Марьяша, терпи, все терпи,» говаривалъ ей дѣдушка, какъ звала

она стараго безмѣстнаго священника, принявшаго [illegible]ротку, хотя онъ и самъ былъ подъ гнетомъ горьк[illegible]ой участи: онъ передалъ мѣсто свое за дочерью, и [illegible]не зналъ, куда дѣваться отъ сварливаго, неуживчив[illegible]го зяти, попрекавшаго его день въ день малымъ прид[illegible]данымъ. «Ты терпи, Марьяша, Богъ увидитъ; въ те[illegible]рпѣніи стяжити души ваши, сказано въ Писаніи; ты [illegible]и смирися, когда зятекъ мой бранится; а что мать [illegible]съ тебя работу спрашиваетъ, это тебѣ же впередъ по[illegible]йдетъ на прокъ — да и матери пособить надо, гдѣ [illegible]къ ей одной съ такой семьей справиться, а ужъ вѣдь т[illegible]ы стала большенькая!»

Марьяша слушала чутко и переносила все, но [illegible]не могла вынести одного, когда дѣдушка молча терпѣ[illegible]ъ горькія обиды отъ своего зятя; какъ испуганн[illegible]ая пташка, она убѣгала и пряталась, чтобы не слыша[illegible]ть этого, или съ плачемъ кидалась ему на шею, повт[illegible]оряя его же утѣшенія, которыя ей самой столько ра[illegible]ъ облегчали сердце.

— Ты мнѣ, дѣдушка, все говоришь: въ терпѣн[illegible]и стяжите души ваши; какъ же это стяжаютъ душу?

— А вотъ какъ, — отвѣчалъ тихимъ голосомъ д[illegible]душка, глотая слезы: — какъ станетъ тебѣ горьк[illegible]я обида поперекъ горла, да сердце начнетъ мутить душ[illegible], такъ ты зубки-то стисни, да и не пропускай ни сл[illegible]овечка, пишни! А мыслію ты про себя Господню [illegible]литву твори, вотъ сердце-то души и не одолѣетъ! [illegible] душа-то, Марьяша, отъ этого все крѣпнетъ да ра[illegible]тетъ, и до Бога дорастетъ!

Послѣ такихъ утѣшеній, у обоихъ обновлялись духовныя силы: у ребенка, въ согласной красотѣ съ душой, развивалось и тѣло, а у старца,—зрѣлый безсмертный духъ готовился радостно покинуть обветшалый остовъ. Но слово дѣдушки: «душа смиреніемъ растетъ, до Бога дорастаетъ,» запало глубоко въ душу

— Теперь, любезный Степанъ, идемъ спать,—такъ кончилъ Осипинъ бесѣду свою: — а утре обнимемся и разъѣдемся. Я вижу, что ты затѣваешь: не спѣши, пережуй и перевари все дѣло, обдумай его спокойно, а и между тѣмъ постараюсь разузнать, что можно: такъ и быть, ради друга, пойду въ лизутчики; пословица говоритъ: которая служба нужнѣе, та и честнѣе!

Они обнялись, Степанъ крѣпко сжалъ дядины плеча, а рано утромъ они разъѣхались.

II

ВТОРАЯ МАТЬ

За нѣсколько времени до описанной встрѣчи на почтовомъ дворѣ, Горячева сидѣла у себя на диванѣ, передъ большимъ круглымъ столомъ, а подлѣ, на креслахъ, съ работой въ рукахъ, Маріонила. Столъ покрытъ былъ богато вышитымъ столечникомъ, и на нѣсколькихъ креслахъ сидѣніе, спинки и подлокотники также красовались шитьемъ хозяйки, разбиравшей по столу шерсти и гарусы по цвѣтамъ и тѣнямъ большого рисунка. Тутъ стоялъ рукодѣльный баульчикъ, а рядомъ съ нимъ чернильница, карандаши, узоры и рисунки, бѣлая бумага, початая письмомъ тетрадь, краски съ кистями, пузырекъ или два съ духами; картины духовнаго содержанія перемѣшаны были съ послѣдне-полученными модными покроями, а подъ ними, молитвословъ и романъ Дюкре-Дюмениля. Изящный безпорядокъ показывалъ разнообразіе вкусовъ и занятій любезной хозяйки. Бросая на столъ пукъ шерстей, она жаловалась на недостатокъ всѣхъ тѣней, хватала карандашъ и дѣлала наскоро разсчетъ, во сколько петель начинать бисерную тюбетейку или чехолъ на чу-

фуфыриться передъ нами въ крахмальныхъ тряпкахъ своихъ... Таня! позовите Татьяну!

Горничная вошла.

— Таня, мы по первопутью ѣдемъ въ Москву, слышишь? рада ли ты?

— А мнѣ чтожъ за радости, сударыня, воля ваша, какъ прикажете.

— Экая дура, и не знаетъ другихъ радостей, какъ сидѣть въ избѣ, со своимъ Прокофьичемъ, навѣшавъ себѣ на шею семерыхъ ребятъ.

— А какъ же, сударыня; неушто я мужа да семью на Москву промѣняю?

— Стало-быть ты не хочешь ѣхать со мной?

— Да какъ же я смѣю не хотѣть, сударыня, вѣдь я не какая-нибудь вольная, я раба ваша!

— А мнѣ бы хотѣлось, чтобы ты чувствовала привязанность ко мнѣ, какъ я тебѣ это сто разъ толковала, чтобы ты мнѣ служила охотно!

— Я, конечно, чувствовать обязана, сударыня, и чувствую.

— Ну, такъ поди же къ своему Прокофьичу!

— Она, кажется, также изъ кантонистовъ, — прибавила Марья Ивановна, заливаясь хохотомъ.

Острота эта относилась къ недавнему случаю: какой-то отставной старикъ, бывшій комиссаръ или экономъ, разсказывалъ страшныя подробности о московскомъ пожарѣ 12-го года, пробывъ самъ въ Москвѣ, при Воспитательномъ домѣ, все время стоянки тамъ французовъ; слушая его, чувствительная Марья Ивановна воскликнула:

— Боже мой, какіе ужасы! Скажите намъ, пожалуйста, опишите, что вы чувствовали въ это время?

— Да чтожъ намъ чувствовать, сударыня, — отвѣчалъ простодушный комиссаръ: — вѣдь мы изъ кантонистовъ...

Поѣздка въ Москву, по поводу недостатка бисеру и гаруса, до того одушевила Горячеву, нечаянная выдумка эта такъ ее утѣшала и забавляла, что недѣля проходила за недѣлей, а она все не могла наговориться обо всѣхъ усладахъ, какихъ ожидала и готовила себѣ въ Москвѣ, не забывая однакоже ни разу кстати припомнить, что приноситъ жертву эту ради своей воспитанницы, и что нельзя же не потѣшить молодежи, не свезти Нилочки, для окончанія образованія ея, въ Москву. Не смѣя отклонять отъ себя такой разорительной, безразсудной потѣхи, для которой она должна была служить предлогомъ, Маріонила должна была каждый разъ снова восклицать, въ отвѣтъ и привѣтъ на такую глупую ложь: «О, maman, какъ вы добры!» Чистая душа эта, подъ руководствомъ воспитательницы и благодѣтельницы своей, не только должна была лгать, она вынуждена была изучать искусство притворства, согласуя всякое проявленіе чувствъ и мыслей своихъ съ волею названной матери. Бѣдняжку нерѣдко при этомъ пробиралъ внезапный ознобъ, и мурашки пробѣгали по всѣмъ суставамъ; но опасеніе взрыва страшной грозы смиряло негодованіе и омерзѣніе совѣсти ея.

Среди жаркой бесѣды о предстоящихъ удовольствіяхъ, о театрахъ и концертахъ, слуга доложилъ, что племянникъ Горячевой, проѣздомъ изъ Питера, заѣхалъ повидаться. Радость ли, испугъ ли, нечаянность пріѣзда, только Марья Ивановна, по слабонервному обычаю своему, чуть-чуть не обомлѣла, но смогла еще кивнуть головой, что значило: проси сюда, и на сей разъ она счастливо отмахалась платочкомъ.

— Жоржъ! Откуда Богъ тебя принесъ?..

Пошли обниманья, и Жоржъ объяснилъ, что ѣдетъ въ отпускъ, къ отцу, и заѣхалъ по пути отдать тетушкѣ почтенье, что Вадимъ Петровичъ цѣлуетъ у маменьки ручку и прочее.

— Вотъ счастливый отецъ! — сказала хозяйка, съ миловидною улыбкой:—свидится съ сыномъ; а я, бѣдная, Богъ вѣсть, скоро ли дождусь этого счастья!

— Какъ, вы шутите, тетушка?

— Нисколько.

— Да вѣдь Вадимъ Петровичъ скоро будетъ у васъ, вѣдь онъ только ждетъ отставки своей...

— Отставки!—вскрикнула нѣжная мать, и покатилась въ кресла. Скляночки на столѣ, припасенныя на подобный случай, пошли въ дѣло; Маріонила засуетилась, и все кой-какъ вошло опять въ свой порядокъ.

Умный племянничекъ, огорошивъ этою вѣстью тетушку и сбивъ ее съ ногъ, испугался, хотѣлъ было отречься отъ словъ своихъ или повернуть ихъ въ шутку, но долженъ былъ разсказать, что зналъ. Онъ никакъ не полагалъ, что Вадимъ оставляетъ службу въ свою голову, даже не увѣдомивъ объ этомъ матери; онъ рѣшился на это, по словамъ Жоржа, потому, что хозяйство идетъ плохо, служить въ гвардіи съ такими средствами нельзя, и онъ хочетъ облегчить заботу матери, которая не можетъ усмотрѣть за всѣмъ, онъ самъ хочетъ дома хозяйничать... Пріятная вѣсть для нѣжной матери, собиравшейся на Кузнецкій мостъ за бисеромъ!

Вѣсть о скоромъ пріѣздѣ барина разнеслась по всему дому. Онъ, съ производства своего въ офицеры, былъ дома одинъ только разъ, и то не надолго, но у прислуги есть какое-то особое чутье на оцѣнку господъ, и его считали мотомъ, запальчивымъ и взбалмошнымъ. Всякъ готовился чѣмъ-нибудь угодить на барина, устроивъ въ то же время и свои дѣлишки. Управитель, бывшій дядька Вадима, былъ изъ числа старыхъ и по-своему вѣрныхъ слугъ, который, однакоже, при безтолковомъ управленіи стараго барина и

неукротимомъ нравѣ его, привыкъ поневолѣ обманывать господъ, нерѣдко для ихъ же пользы, натягивая скатерть на красный конецъ. Онъ былъ плохой хозяинъ, и не видавъ никогда путнаго хозяйства, строилъ и заводилъ то овчарни и скотные дворы, то свѣчной заводъ и суконную фабрику, самъ ничего не смысля, а по господскому приказанію, и потомъ не умѣлъ свести концовъ. Если онъ, при удобномъ случаѣ, и награждалъ самъ себя чѣмъ-нибудь сверхъ скуднаго жалованья, то при первой же неудачѣ въ безтолковыхъ оборотахъ совалъ въ затычку все, что у него было, безъ различія: и свое, честно сбереженное жалованье, и отложенную въ запасъ, про черный день, барскую собь; такимъ образомъ онъ хозяйничалъ много лѣтъ и перепуталъ дѣла и счеты до нельзя. Онъ самъ, по совѣсти, не зналъ, онъ ли, круглымъ счетомъ, утаилъ и нажилъ что изъ барскаго дохода, или задержалъ свое за барина, а зналъ только, что не сберегъ почти ничего. Другой хозяинъ, дворецкій, былъ тупъ умомъ, но намётанъ и смѣтливъ чутьемъ; смѣтливость эта походила на безотчетную, безсознательную, но и безошибочную побудку животнаго; онъ самъ себѣ положилъ скромное, небольшое жалованье,— не получая отъ господъ ничего, потому что дворня обшивалась на счетъ *портноваго*, или портновыхъ денегъ, собиравшихся съ крестьянъ, и получала мѣсячину—и оправдывалъ это тѣмъ, что «подобаетъ мзда дѣлателю,» но болѣе чѣмъ на эту штатную сумму онъ господъ не обкрадывалъ и считалъ себя честнымъ человѣкомъ въ мірѣ.

Управитель съ дворецкимъ, на общемъ совѣтѣ, стали рядить о томъ, какъ принять барина и умилостивить его. Управитель, при всѣхъ неудачахъ и безпорядкахъ своихъ, сильно повѣсилъ носъ и придумалъ только одно: кинуться барину въ ноги и лежать пла-

стомъ, доколѣ онъ не подыметъ его пинкомъ; дворецкій же разсуждалъ совсѣмъ иначе, не робѣлъ и ободрялъ своего товарища.

— Кто же это станетъ самъ на себя петлю надѣвать—говорилъ онъ:—вѣдь этакъ-то ты только напугаешь барина, подумаетъ, и Богъ вѣсть что сталось, а у насъ, слава Богу, все благополучно. Нѣтъ, Василій Александрычъ, не годится, ты меня послушай: барскія ножки отъ тебя не уйдутъ, это пусть впереди будетъ, а огорчать молодого барина не надо; ты ему толкуй, что-де вся надежда наша полагается на премудрость вашу, смиловался Господь надъ сиротами, принесъ вашу милость къ намъ, обогрѣетъ красное солнышко вѣрныхъ рабовъ вашихъ, и дѣла-де наши при васъ пойдутъ не тѣмъ порядкомъ, а ужъ какъ они пойдутъ тамъ, его воля, и самъ увидитъ, ты только свое неси. Ну, а мы его потѣшимъ, два хлѣвочка опростаемъ, хоть по крестьянамъ отдадимъ овецъ, и подобающимъ порядкомъ покрасимъ ихъ, хлѣвки-тѣ, да борзыхъ и гончихъ посадимъ. Я ужъ объ этомъ дѣлѣ позаботился; барыня намъ ошейничковъ бисерныхъ наплететъ, да гарусныхъ, либо еще и шелковыхъ своръ; вотъ что надо дѣлать, Василій Александрычъ, а тугою поля не перейдешь!

Такъ и сталось: очнувшись отъ обмороковъ, придя въ себя и убѣдившись въ неминучести пріѣзда Вадима, мамаша, словно сговорясь съ своимъ дворецкимъ, тотчасъ рѣшила, что надо припасти всѣ угоды и потѣхи, занять ими сынка, и отвлечь его отъ вмѣшательства въ хозяйство и счеты. Комната для Вадима была убрана, стѣны увѣшены всѣми ржавыми доспѣхами, какіе нашлись у дворецкаго въ кладовой, шитые ошейники, шелковыя своры, бисерные чубуки, кисеты съ вензелями свидѣтельствовали о нѣжной материнской любви, и Маріонила должна была сидѣть за

Марьяши и осталось навѣкъ незримымъ утѣшителемъ и руководителемъ; живое воображеніе ребенка рисовало какую-то картину этого роста души, дорастающей до Бога, а позже, понявъ дѣдушкино слово и обнимая его всѣми помыслами своими, она радостно уносилась духомъ въ обѣтованный край, забывая всѣ суетныя невзгоды. Переименованная, въ новомъ быту своемъ, въ Нилочку и въ Мари, она жила прошлымъ, въ немъ искала и находила утѣшеніе свое, и сокровишница ея, память сердца, выносила ей *бисеръ добрый*, на покой духа. Въ то время чистые и нѣжные звуки Жуковскаго раздавались у насъ повсюду во всей силѣ своей: младенческая душа поэта увлекала сродныя ей души, унося ихъ въ загадочный міръ первообразовъ; звуки эти, въ коихъ заключались и напѣвъ и рѣчь, и музыка, и поэзія пѣсни, наводили на тогдашнюю молодежь мечтательность, нерѣдко праздную, не совсѣмъ пригодную для дѣятельной жизни, но зато они охраняли нравственную чистоту, и многихъ, обаятельностію своею, удержали на правой стезѣ. Вотъ чѣмъ жила Маріонила, и духъ матери, которой она почти не помнила, и дѣдушка, также давно переселившійся въ вѣчность, до коей доросла душа его, были ея ангелами-хранителями.

Но возвратимся къ насущному. Какъ только управитель ушелъ и бесѣда замолкла, Маріонила поспѣшила опять выйти въ гостиную. Марьѣ Ивановнѣ казалось, что она, отправивъ докучливаго управителя короткими словами, кончила дѣло и устроила свою поѣздку.

— Ну, Мари,—сказала она:—превесело мы съ тобой съѣздимъ въ Москву, и ты увидишь, чего и во снѣ не видывала; надѣюсь, мы натѣшимся тамъ, и всего, всего навеземъ съ собой; тогда и здѣсь на насъ посмотрятъ не тѣмъ глазомъ, и Соловкова не станетъ

стомъ, доколѣ онъ не подыметъ его пинкомъ; дворецкій же разсуждалъ совсѣмъ иначе, не робѣлъ и ободрялъ своего товарища.

— Кто же это станетъ самъ на себя петлю надѣвать—говорилъ онъ:—вѣдь этакъ-то ты только напугаешь барина, подумаетъ, и Богъ вѣсть что сталось, а у насъ, слава Богу, все благополучно. Нѣтъ, Василій Александрычъ, не годится, ты меня послушай: барскія ножки отъ тебя не уйдутъ, это пусть впереди будетъ, а огорчать молодого барина не надо; ты ему толкуй, что-де вся надежда наша полагается на премудрость вашу, смиловался Господь надъ сиротами, принесъ вашу милость къ намъ, обогрѣетъ красное солнышко вѣрныхъ рабовъ вашихъ, и дѣла-де наши при васъ пойдутъ не тѣмъ порядкомъ, а ужъ какъ они пойдутъ тамъ, его воля, и самъ увидитъ, ты только свое неси. Ну, а мы его потѣшимъ, два хлѣвочка опростаемъ, хоть по крестьянамъ отдадимъ овецъ, и подобающимъ порядкомъ покрасимъ ихъ, хлѣвки-тѣ, да борзыхъ и гончихъ посадимъ. Я ужъ объ этомъ дѣлѣ позаботился; барыня намъ ошейничковъ бисерныхъ наплететъ, да гарусныхъ, либо еще и шелковыхъ своръ; вотъ что надо дѣлать, Василій Александрычъ, а тугою поля не перейдешь!

Такъ и сталось: очнувшись отъ обмороковъ, придя въ себя и убѣдившись въ неминучести пріѣзда Вадима, мамаша, словно сговорясь съ своимъ дворецкимъ, тотчасъ рѣшила, что надо припасти всѣ угоды и потѣхи, занять ими сынка, и отвлечь его отъ вмѣшательства въ хозяйство и счеты. Комната для Вадима была убрана, стѣны увѣшены всѣми ржавыми доспѣхами, какіе нашлись у дворецкаго въ кладовой, шитые ошейники, шелковыя своры, бисерные чубуки, кисеты съ вензелями свидѣтельствовали о нѣжной материнской любви, и Маріонила должна была сидѣть за

Поѣздка въ Москву, по поводу недостатка бисеру и гаруса, до того одушевила Горячеву, нечаянная выдумка эта такъ ее утѣшала и забавляла, что недѣля проходила за недѣлей, а она все не могла наговориться обо всѣхъ усладахъ, какихъ ожидала и готовила себѣ въ Москвѣ, не забывая однакоже ни разу кстати припомнить, что приноситъ жертву эту ради своей воспитанницы, и что нельзя же не потѣшить молодежи, не свезти Нилочки, для окончанія образованія ея, въ Москву. Не смѣя отклонять отъ себя такой разорительной, безразсудной потѣхи, для которой она должна была служить предлогомъ, Маріонила должна была каждый разъ снова восклицать, въ отвѣтъ и привѣтъ на такую глупую ложь: «О, maman, какъ вы добры!» Чистая душа эта, подъ руководствомъ воспитательницы и благодѣтельницы своей, не только должна была лгать, она вынуждена была изучать искусство притворства, согласуя всякое проявленіе чувствъ и мыслей своихъ съ волею названной матери. Бѣдняжку нерѣдко при этомъ пробиралъ внезапный ознобъ, и мурашки пробѣгали по всѣмъ суставамъ; но опасеніе взрыва страшной грозы смиряло негодованіе и омерзѣніе совѣсти ея.

Среди жаркой бесѣды о предстоящихъ удовольствіяхъ, о театрахъ и концертахъ, слуга доложилъ, что племянникъ Горячевой, проѣздомъ изъ Питера, заѣхалъ повидаться. Радость ли, испугъ ли, нечаянность пріѣзда, только Марья Ивановна, по слабонервному обычаю своему, чуть-чуть не обомлѣла, но смогла еще кивнуть головой, что значило: проси сюда, и на сей разъ она счастливо отмахалась платочкомъ.

— Жоржъ! Откуда Богъ тебя принесъ?..

Пошли обниманья, и Жоржъ объяснилъ, что ѣдетъ въ отпускъ, къ отцу, и заѣхалъ по пути отдать тетушкѣ почтенье, что Вадимъ Петровичъ цѣлуетъ у маменьки ручку и прочее.

голубыхъ глазъ расположила его къ веселости и кроткому обращенію, предполагалось заняться на другой же день строгимъ осмотромъ и повѣркой управленія по дому, по сельскому хозяйству и фабрикѣ. «Это мы все обвертимъ вкругъ пальца». Уже съ вечера мысль эта, однако впервые, стала потревоживать Вадима, какъ будто внезапная близость событія захватила его врасплохъ, и ему самому пришла на умъ поговорка: «какъ же такъ, рядился въ годъ, а завтра срокъ?

Проснувшись отъ крѣпкаго сна и сладкихъ грезъ, Вадимъ Петровичъ оглянулся въ комнатѣ своей, остановился на развѣшенной охотничьей сбруѣ, на шитыхъ, вязаныхъ и плетеныхъ ошейникахъ, смычкахъ, сворахъ и сумкахъ «При всемъ томъ однакоже мамаша предобрая душа, что она и объ этомъ подумала, и, конечно, тутъ половина работы сестрички моей — а вѣдь и это она умно сдѣлала, что взяла въ домъ такую прелесть; наконецъ и дворецкій мой позаботился сохранить все оружіе это въ цѣлости и въ изрядной чистотѣ...» Онъ позвонилъ и вошелъ самъ дворецкій, поклонился, сталъ у дверей, отвѣсилъ еще скромный поклонъ, поздравилъ съ пріѣздомъ, со счастливымъ прибытіемъ, съ благополучнымъ пріютомъ подъ отцовскимъ кровомъ, принесъ привѣтъ отъ всей дворни, которая готовится поставить по свѣчкѣ и отслужить на радостяхъ молебенъ.

— И съ порошей поздравляемъ васъ, Вадимъ Петровичъ, — прибавилъ онъ, взглянувъ въ окно: — тепло, тихо, а пороша короткая, передъ самымъ свѣткомъ выпала; бывало, царство ему небесное, покойный вашъ батюшка ни за что этакаго золотого дня не упуститъ, съ десятокъ матерыхъ съ одного поля выживалъ, а случалось, какъ вздумаетъ на овраги ѣхать, въ кучегура и на краснаго нападалъ...

Вадимъ вскочилъ съ постели, будто ударили тревогу; пошли разспросы; къ изумленію и радости своей, онъ услышалъ, что припасена полная охота, и гончія слаялись, словно колокольчики заливаются, и лягавыя натасканы, мертвую стойку стоятъ, и барская свора псовыхъ ловцовъ въ одиночку отобрана...

— Сѣдлать! — закричалъ Вадимъ: — давай скорѣе завтракать, присылай Гаврилу одѣваться!

Только и надо было старому воробью, онъ вышелъ, а управитель, бывшій дядька, вошелъ. Умываясь, одѣваясь, снаряжаясь и завтракая, баринъ выслушалъ всѣ отчеты и донесенія его и, благодаря отличной порошѣ, остался всѣмъ изрядно доволенъ, приговаривая только, что надобно взять хозяйство въ руки, надо все устроить, надо распорядиться такъ, чтобы были доходы получше; осторожныя сомнѣнія и жалобы Василія Александровича насчетъ положенія фабрики, затратъ и неустойки въ поставкѣ суконъ, отъ разныхъ неудачъ и несчастій, заставили было барина свести брови въ комъ и наморщить чело, но въ это самое время дворецкій, стоявшій за дверьми на-слуху, приложа ухо, впустилъ, для перваго знакомства, барскую свору густо-псовыхъ, бусую и муругую, которыя, по приказанію барина, были спущены, и пошли, какъ малые ребята, бѣшено прыгать по диванамъ, кровати и столамъ... Этимъ все было покрыто.

— Труби въ рогъ! На конь! — Проходя черезъ залу, съ арапникомъ въ рукахъ, онъ увидалъ въ зеркало Маріонилу въ гостиной, за чайнымъ столомъ; онъ схватилъ шапку съ головы, вошелъ и, ласково подавая ей руку, извинился, что такъ рано обезпокоилъ сестрицу, заставивъ на себя служить. — Вѣдь я еще не знаю вашихъ порядковъ, но впередъ этого не будетъ, это дѣло ключницы, дворецкаго...

— Напрасно,—возразила та:—прошу васъ, Вадимъ

Петровичъ, оставьте за мною хоть эти бездѣльныя заботы, я бы рада была отблагодарить матушкѣ вашей всѣмъ...

— Для чего же ты, вы, сестрица, зовете меня какъ чужаго? Вѣдь мы свои, зовите меня братцемъ...

Братецъ ускакалъ, а сестрица, сидя еще съ часокъ за работой, до вставанья Марьи Ивановны, призадумалась. Положеніе ея было ей ново, какъ будто все вкругъ нея перевернулось. Сынъ названной матери ея, конечно, почему же онъ ей не братъ, но какой-то глухой внутренній голосъ остерегалъ и отклонялъ ее отъ этого братства, а когда она хотѣла вникнуть глубже, яснѣе въ чувство это и отдать себѣ въ немъ отчетъ, то все исчезало, и она оставалась въ недоумѣніи. Она выросла одиноко, безъ ровни, въ строгой подчиненности, среди свѣтскихъ обрядовъ приличія, среди невыносимой лжи, и едва ли съ кѣмъ могла хоть разъ перемолвить задушевное слово. Одинъ только человѣкъ и будто на одно только мгновеніе вызвалъ было въ ней какое-то отрадное чувство, готовность высказать все, что было на душѣ, просить совѣта, наставленія, утѣшенія... Но это былъ какой-то сонъ наяву, промелькнувшій заревомъ и покинувшій за собою опять ту же тьму; такъ отзывалась въ ней встрѣча съ Добрыниным. Вспомнимъ не только одиночество, но и сиротство ея, и даже время, въ какое она жила: это была пора, когда нѣжные альбомы уже стали выходить изъ обычая; но тетрадки со стишками были необходимостью для каждой грамотной дѣвицы, хотя въ тетрадкахъ этихъ и читалось иногда *взоръ гнусный*, вмѣсто: *грустный*, или *раздущистые кусты*, вмѣсто: *розъ душистые кусты*, или что-нибудь въ такомъ родѣ; это была пора, какъ мы уже сказали, господствованія надъ молодежью духа Жуковскаго, духа нѣжности и чистоты, но также избалованной,

тунеядной мечтательности, созерцательной косности; все это надо помнить, чтобы живо вдуматься въ положеніе и состояніе Маріонилы.

Прошло еще нѣсколько времени, и въ Духовщинѣ началъ устраиваться, въ домашнемъ быту, родъ какого то обиходнаго порядка; Горячева смирилась, и о затѣѣхать въ Москву, «за пѣснями», какъ говорилъ управитель, не было и рѣчи; Вадимъ Петровичъ леталъ по всѣмъ сосѣдямъ и надѣлалъ много шуму, какъ новый женихъ; ради него и Маріонила внезапно попала въ такую честь, что невѣсты въ околоткѣ дружились съ нею взапуски и любезничали насчетъ обожаемаго ими братца ея, тогда какъ *саксонка* или *солдатская дочка*, до пріѣзда названнаго братца ея, оставалась незамѣченною; и это также ставило ее въ какое-то лестное и непривычное положеніе, коимъ она обязана была заступнику своему; но она все еще дичилась его, сама не понимая отчего. Хозяйство, какъ ему казалось, онъ уже почти привелъ въ порядокъ, управитель и дворецкій оказались вовсе не такими негодяями, какъ онъ предполагалъ; матери назначилъ онъ седьмую часть доходовъ, объявивъ ей объ этомъ черезъ управителя, а остальными онъ до времени кой-какъ изворачивался, надѣясь впередъ на свои улучшенія; пріѣзжая съ отъѣзжаго поля или изъ гощенья у сосѣдей, онъ дома находилъ милую сестричку, безъ которой, съ одною маменькой, было бы невыносимо пусто и мертво.

Такъ время шло помаленьку, какъ вдругъ во всей округѣ пошла намолчка о какихъ-то сильныхъ раздорахъ въ семьѣ Горячевыхъ, при чемъ иные винили мать, своевольную и властолюбивую, другіе всесвѣтнаго жениха, надменнаго и дерзкаго, третьи даже бѣдную Маріонилу, на которую, послѣ тѣсной, искательной дружбы, вскинулось все женское ополченіе, увѣряя, что она задумала прибрать названнаго братца

себѣ, и всѣхъ родовитыхъ невѣстъ его оставить съ носомъ. Слухи эти дошли какъ то и до Александра Сергѣевича Осинина, и онъ вспомнилъ о своемъ обѣщаніи племяннику, Степану Никитичу Добрынину, узнать, что можно, о голубоглазой саксонкѣ и написать ему, о чемъ племянникъ напоминалъ ему уже въ двухъ письмахъ. Подумавъ, какъ бы это сдѣлать, старикъ, не пускавшійся доселѣ никогда въ подобные розыски, рѣшился наконецъ ѣхать, подъ предлогомъ проѣзда, къ двумъ сестрамъ, дѣвственнымъ старушкамъ, отъ коихъ ни одна душа въ трехъ уѣздахъ не могла затаить ни одной задушевной мысли; передъ ними, какъ передъ Предвѣчнымъ Судьей на страшномъ судѣ, все было открыто. Брюсову календарю льготно врать, пророчествуя на сто лѣтъ, тутъ все съ рукъ сойдетъ, а эти двѣ родныя бабы-яги знали все прошлое и настоящее, до волоска; и повѣрка была на лицо. Онѣ, между прочимъ, гадали и на кофеѣ, и въ карты, и еще по разнымъ примѣтамъ, но не гласно, а только для надежныхъ друзей и по довѣренности. Этимъ ли, инымъ ли какимъ путемъ, но, повторяю, что дѣлалось на триста верстъ въ округѣ, то имъ было вѣдомо, день по дню, какъ свои пять пальцевъ, и, ради любимаго племянника своего, Осининъ рѣшился собрать у нихъ кой-какія справки. «Источникъ мутноватый»,—подумалъ онъ и самъ, садясь въ коляску, но пожавъ плечами, отвѣчалъ себѣ:—«А что же стану дѣлать, куда же я сунусь? Можетъ быть, что нибудь да узнаю».

И Александръ Сергѣевичъ не ошибся: онъ что-нибудь да узналъ. Не понадобилось большихъ ухищреній, чтобы навести эту нѣжную чету неразлучекъ на послѣднюю новость въ уѣздѣ, раздоръ у Горячевыхъ, и онѣ сами чуть не встрѣтили ею Осинина въ пріемной.

IV

СИРОТА НА РАСПУТЬѢ

Добрынинъ сидѣлъ въ своей комнатѣ, въ офицерской казармѣ, въ Питерѣ, и задумчиво перечитывалъ и вертѣлъ въ рукахъ письмо; трубка давно погасла, чай передъ нимъ простылъ, и онъ, поднявъ руку, въ десятый разъ сталъ пробѣгать глазами дядино письмо.

«Любезный сынъ мой! такъ я буду называть тебя, Степанъ, со времени послѣдняго нашего свиданья, гдѣ я впервые узналъ тебя, какъ мужа. Трудную ты задалъ старику задачу: ты настойчиво требуешь, чтобъ я тебѣ писалъ о Маріонилѣ Богдановнѣ, и отзывъ мой объ ней очевидно можетъ рѣшить всю будущую жизнь твою. Согласись, что ступить къ такому дѣлу не легко, а потому и не мудрено, что я медлилъ. Люди въ домѣ и иные сосѣди хвалятъ и жалѣютъ ее, говорятъ, что она мученица почтенной Маріи Ивановны—и въ послѣднемъ я не сомнѣваюсь, я уже говорилъ тебѣ, что это за барщина. Нилочка, какъ она романически перекрестила пріемыша своего, ходитъ у нея по стрункѣ, въ черномъ тѣлѣ, и ее маловато знаютъ: при людяхъ же Марья Ивановна самая нѣжная мать и не нарудуется, гладя умильно названной дочери своей въ глаза. Но въ послѣднее время сталась большая перемѣна: прикатилъ сынъ, гвардеецъ, какъ и ты, по правомъ не въ тебя,—да вѣдь ты его видѣлъ; чванный и наглый, надутый и дерзкій, даже противъ родной матери, своевольный, онъ однакоже очень сдружился съ названною сестрицею своей, уничтожилъ власть и голосъ матери въ домѣ, гдѣ она очутилась чѣмъ-то въ родѣ приживалки, а господами стали молодые бары. Словомъ, дошло до того, что ужъ стали сожалѣть объ

участи матери (по-моему, ей подѣломъ), а о молодыхъ то также добраго слова не слышно. Не стану я пересказывать тебѣ всего того, что мнѣ наговорили двѣ сосѣдки наши, двѣ сестрицы-неразлучки, потому что онѣ никогда и ни на комъ и волоса добраго не покидали,—но молва не хороша, а проникнуть всѣ тайны сплетенъ этихъ, я, другъ и сынъ мой, не сумѣю, на это я неспособенъ. Въ семьѣ Горячевыхъ вышелъ изъ за этого какой-то шумъ и раздоръ, о которомъ всякій оретъ по своему, а иной и шепчетъ, перегородя ротъ. Заключеніе мое такое: ты видѣлъ дѣвушку только пять-шесть разъ, едва ли ты могъ привязаться къ ней на смерть; горячее сердце твое не вдругъ перечапитъ разсудокъ, — забудь о прошломъ, кажется, ты ошибся.»

Вотъ письмо, которое поставило въ такое раздумье Добрынина, и онъ едва опомнился, когда одинъ изъ товарищей его влетѣлъ къ нему съ оперною трелью въ гортани и торопилъ его одѣваться, потому что они согласились наканунѣ ѣхать вмѣстѣ въ театръ. «Кстати»,—подумалъ Добрынинъ, и хотѣлъ отдѣлаться головною болью; но другъ этотъ былъ не изъ робкаго десятка, спѣлъ пѣсенку о больной головушкѣ, закричалъ: «Эй, Михайла, барину одѣваться!» и продолжалъ въ томъ же духѣ, торопя товарища и не отвѣчая ни слова на отговорки его, будто ихъ и не слышитъ.

— Плюнь на все, братецъ, я вѣдь вижу, что съ тобой дѣлается, да это все вздоръ: растаялъ передъ какою-нибудь красотой, добытою напрокатъ изъ косметическаго магазина, передъ нѣжнымъ сердцемъ, приспособленнымъ по роману мадамъ Жанлисъ, — дѣло выѣденнаго яйца не стоитъ,—ѣдемъ!

И поѣхали. Добрынинъ вспомнилъ, при сказанной товарищемъ его наобумъ остротѣ, дядины слова: «за-

будь о прошломъ, кажется, ты ошибся;» онъ старался вызвать въ себѣ вспышку негодованія и презрѣнія, и отдался своему вѣтреному товарищу, не умѣвшему, до поры, грустить ни о чемъ.

Но тамъ, въ театрѣ, будто на смѣхъ, поразила его такая нечаянность, которая не дала ему позабыть о томъ, отъ чего онъ только что бѣжалъ изъ дому: товарищъ указалъ ему на очень молодую, красивую женщину, которая сидѣла въ одной изъ лучшихъ ложъ посрединѣ, одна, а съ нею было двое мужчинъ, старый полковникъ, котораго Добрынинъ встрѣчалъ гдѣ-то, и молодой человѣкъ во фракѣ. Онъ съ перваго взгляда узналъ нарядную Маріонилу, и былъ до того изумленъ, что не могъ собрать ни словъ, ни мыслей, и радъ былъ просидѣть нѣсколько минутъ спокойно, подъ ревъ смычковъ и стукъ тулумбаса.

Скажемъ теперь, какимъ образомъ Маріонила такъ внезапно очутилась въ Питерѣ.

Фыркая самодовольствіемъ во всѣ стороны, пуская пыль по силамъ, Горячевъ былъ увѣренъ, что приводитъ разстроенное хозяйство свое въ отличный порядокъ, а самъ гонялся по полямъ за зайцами и разъѣзжалъ по всему околотку знакомиться и разыскивать богатыхъ невѣстъ. Дома, отъ нечего дѣлать, онъ дружился съ миленькою сестрицей, любезничалъ съ нею, угождалъ ей, а съ матерью становился все нетерпѣливѣе и грубѣе. Стали обнаруживаться должишки матери, сдѣланные безразсчетно и, конечно, безъ вѣдома его, заимодавцы тревожили его, и онъ выходилъ изъ себя: надменно отдѣлывался отъ нихъ, потомъ, разбранившись съ матерью, уѣзжалъ на сутки въ поле или въ сосѣди. Сколько ни отмалчивался старый управитель, который велъ дѣла, какъ умѣлъ, черезъ пень въ колоду, но онъ поневолѣ долженъ былъ, при разныхъ учетахъ, показывать прямо, по книгамъ, что

такія-то и такія-то деньги взяты были матушкой Марьею Ивановною, а такія-то заняты по ея же настойчивому приказанію, а платится за нихъ по двѣ копѣйки съ рубля въ мѣсяцъ. Не умѣя приняться толкомъ ни за какое дѣло, а тѣмъ менѣе спокойно обдумать и устроить его, Вадимъ Петровичъ также хозяйничалъ, какъ умѣлъ, то-есть бранился, строго приказывалъ, задавалъ всѣмъ грозу и уѣзжалъ куда-нибудь на потѣшку, въ увѣренности, что теперь все пойдетъ какъ по маслу. «Отговорокъ я не принимаю никакихъ,» думалъ онъ, входя въ комнаты матери, чтобъ и съ нею побраниться, и въ это самое время услышалъ строгое и рѣзкое нравоученіе ея Маріонилѣ, къ которой она придиралась по причудамъ своимъ, не зная, на комъ выместить невзгоду. Вадимъ Петровичъ, объявившій себя не разъ уже заступникомъ милой сестрицы, едва удерживавшій порывы свои во фронтѣ, не считалъ нужнымъ дѣлать это у себя въ домѣ, и разразился грозой, которая навела страхъ на всѣхъ. Онъ вышелъ изъ себя и наговорилъ матери самыхъ неприличныхъ грубостей, перемѣшавъ въ негодованіи своемъ въ одно и мотовство ея, и дурное хозяйство, и долги, и растрату, и наконецъ дурное обращеніе съ милою сестрицей.

— Никто не могъ дать вамъ права,—прибавилъ онъ между прочимъ:—на такое заносчивое помыканье дѣвушкой, которая легко можетъ занять здѣсь ваше мѣсто и сдѣлаться хозяйкой въ домѣ.

Можно представить себѣ, какъ послѣдняя выходка озадачила и Марью Ивановну, и даже Маріонилу, коимъ, несмотря на различіе ихъ положенія, ни той, ни другой мысль эта не приходила въ голову: обѣ онѣ испугались такъ, что не смогли слова вымолвить. Марья Ивановна, прочившая за сына первыхъ невѣстъ въ губерніи, мечтавшая о почетѣ своемъ, при сватов-

ствѣ, на сговорѣ, на свадебныхъ пирахъ, о почестяхъ, въ какихъ будетъ жить послѣ, породнившись со всѣми графами и князьями, вдругъ увидѣла передъ собой картину семейнаго счастія, гдѣ она живетъ, въ домѣ своемъ, въ забросѣ и загонѣ, одинокая, всѣми покинутая, а хозяйкой, на ея мѣстѣ, принятая ею же сирота, коею она помыкала какъ горничной. Маріонила, передъ которою также внезапно открылся новый видъ на будущность ея: переименованіе изъ робкихъ сестрицъ въ почетныя рабыни своевольнаго, взбалмошнаго братца, и пріятное положеніе посредницы между братомъ или супругомъ, или повелителемъ этимъ, и неугомонною, проискливою и несчастною своею благодѣтельницей! Она встала, вышла изъ комнаты, предоставивъ Марьѣ Ивановнѣ съ сыночкомъ кончить про себя бесѣду эту, и слышала только еще отчаянное заявленье первой, что она никогда этого не позволитъ, и рѣшительный отвѣтъ второго, что никто не уполномочивалъ ее на подобное запрещеніе, которое было бы и вздорно, и безсильно, надѣлавъ ей одной позору.

Маріонила обдумывала у себя въ комнатѣ положеніе свое, и съ трудомъ могла собраться съ мыслями. Какое ей отнынѣ предстояло житье въ домѣ, самъ-третей съ матушкой и съ братцемъ, гдѣ она, безъ малѣйшаго повода съ своей стороны, сдѣлалась причиной такого разрыва между послѣдними двумя? А между тѣмъ, куда дѣваться? Такъ прошелъ вечеръ, голова отъ слезъ разболѣлась, и она не солгала, отказавшись выйти по нездоровью. «О, думала она, еслибъ я осталась у дѣдушки, у названнаго отца своего...» Марья Ивановна, по той же причинѣ, сидѣла въ отчаянномъ разстройствѣ у себя въ комнатѣ, а Вадимъ Петровичъ, какъ пѣтухъ-побѣдитель, посвиставъ и попѣвъ громко по всему дому, соскучился и куда-то укатилъ. Но избѣгнуть встрѣчи, а съ тѣмъ вмѣстѣ, вѣроятно, и объ-

ясненій съ братцемъ, можно было день, много, если два, а тамъ предстояла развязка. Вадима стало брать нетерпѣніе, что-де это значитъ, что сестрицы не видно? Онъ былъ увѣренъ, что она не будетъ знать, куда дѣваться передъ нимъ отъ всенижайшей любви и благоговѣйной признательности, и думалъ: «Одно изъ двухъ, или Нилочка, по дѣвичьей робости своей, не рѣшается на встрѣчу со мной, или, чего добраго, не запретила ли ей общая благодѣтельница наша показываться? Вотъ этого еще не доставало!»

— Эй, Машка, поди, спроси Маріонилу Богдановну, можно ли къ ней взойти, мнѣ надо ее видѣть!

Маріонила уже обдумала и уяснила себѣ все, отвѣты были у ней готовы, и она тотчасъ же встала съ мѣста и вышла къ Вадиму Петровичу въ общую комнату. Въ избыткѣ самодовольствія своего, онъ, очевидно, готовъ былъ принять уничиженную и благодарную дѣвушку въ объятія свои, какъ, увидавъ ее, невольно смутился, ограничась однимъ какимъ-то неяснымъ восклицаніемъ.

— Вы желали меня видѣть,—сказала она спокойно, остановясь на разстояніи отъ него.

— Вы... да... я... васъ совсѣмъ не видно, я, право, соскучился безъ васъ... я думалъ, мы дружески переговоримъ словечко о томъ... Да что же вы на меня такъ чинно смотрите, даже ласковаго слова не скажете за мое заступничество?...

Маріонила подошла къ столу и присѣла на стулъ.

— Вы меня вызывали, Вадимъ Петровичъ, и я готова отвѣчать на вопросы ваши, хотя, признаюсь, мнѣ очень трудно. Я обязана вамъ за доброжелательство ваше, но въ дѣлѣ этомъ беру сторону вашей матушки.

— Какъ? И вы на меня? Вы находите, стало-быть, что она права, права, разстроивъ хозяйство мое, права, надѣлавъ долговъ, которые мнѣ же приходится

платить, права наконецъ, обращаясь съ вами какъ съ служанкой?

— Я нахожу, если вы уже вызываете меня на прямой отвѣтъ, что говорить съ матерью такъ, какъ мнѣ довелось слышать, нельзя.

— Помилуйте, да я же за васъ заступился, я не могу позволить, чтобы съ вами такъ обращались!

— Я благодарна вамъ за доброе ваше намѣреніе... но, извините меня, такое заступничество не можетъ поправить дѣла, а на душѣ у васъ должно быть очень тяжело...

Въ Горячевѣ все кипѣло, онъ съ трудомъ удерживался, помня, что говоритъ съ дѣвицей, и при томъ съ тою, которую мгновенная прихоть его, а можетъ-быть отчасти и горячность разговора, поставила въ особенное къ нему положеніе.

— Да развѣ вы не поняли меня, — сказалъ онъ со страннымъ выраженіемъ какой то страстной горячности и надменной самоувѣренности: — развѣ вы не поняли, кто, по искреннему желанію сердца моего, долженъ быть госпожой въ этомъ домѣ?

И онъ протянулъ ей руку черезъ столъ; Маріонила не подала руки своей, а, собравшись съ духомъ, тихо и кротко, но твердо отвѣчала:

— Что до этого, Вадимъ Петровичъ, то вы слышали отвѣтъ матушки—примите его, какъ должно сыну, за рѣшеніе. Я ничтожная сирота, принятая и воспитанная ею, и я вамъ ни въ какомъ отношеніи не чета...

Онъ вскочилъ и еще съ большимъ жаромъ хотѣлъ разубѣдить ее.

— Постойте! — сказала она такъ убѣдительно, что онъ невольно замолчалъ: — я отнюдь не желала бы оскорбить васъ, но настойчивость ваша вынуждаетъ изъ меня послѣднее слово: неукротимая пылкость

ясненій съ братцемъ, можно было день, много, если два, а тамъ предстояла развязка. Вадима стало брать нетерпѣніе, что-де это значитъ, что сестрицы не видно? Онъ былъ увѣренъ, что она не будетъ знать, куда дѣваться передъ нимъ отъ всенижайшей любви и благоговѣйной признательности, и думалъ: «Одно изъ двухъ, или Нилочка, по дѣвичьей робости своей, не рѣшается на встрѣчу со мной, или, чего добраго, не запретила ли ей общая благодѣтельница наша показываться? Вотъ этого еще не доставало!»

— Эй, Машка, поди, спроси Маріонилу Богдановну, можно ли къ ней взойти, мнѣ надо ее видѣть!

Маріонила уже обдумала и уяснила себѣ все, отвѣты были у ней готовы, и она тотчасъ же встала съ мѣста и вышла къ Вадиму Петровичу въ общую комнату. Въ избыткѣ самодовольствія своего, онъ, очевидно, готовъ былъ принять уничиженную и благодарную дѣвушку въ объятія свои, какъ, увидавъ ее, невольно смутился, ограничась однимъ какимъ-то неяснымъ восклицаніемъ.

— Вы желали меня видѣть,—сказала она спокойно, остановясь на разстояніи отъ него.

— Вы... да... я... васъ совсѣмъ не видно, я, право, соскучился безъ васъ... я думалъ, мы дружески переговоримъ словечко о томъ... Да что же вы на меня такъ чинно смотрите, даже ласковаго слова не скажете за мое заступничество?...

Маріонила подошла къ столу и присѣла на стулъ.

— Вы меня вызывали, Вадимъ Петровичъ, и я готова отвѣчать на вопросы ваши, хотя, признаюсь, мнѣ очень трудно. Я обязана вамъ за доброжелательство ваше, но въ дѣлѣ этомъ беру сторону вашей матушки.

— Какъ? И вы на меня? Вы находите, стало-быть, что она права, права, разстроивъ хозяйство мое, права, надѣлавъ долговъ, которые мнѣ же приходится

платить, права наконецъ, обращаясь съ вами какъ съ служанкой?

— Я нахожу, если вы уже вызываете меня на прямой отвѣтъ, что говорить съ матерью такъ, какъ мнѣ довелось слышать, нельзя.

— Помилуйте, да я же за васъ заступился, я не могу позволить, чтобы съ вами такъ обращались!

— Я благодарна вамъ за доброе ваше намѣреніе... но, извините меня, такое заступничество не можетъ поправить дѣла, а на душѣ у васъ должно быть очень тяжело...

Въ Горячевѣ все кипѣло, онъ съ трудомъ удерживался, помня, что говоритъ съ дѣвицей, и при томъ съ тою, которую мгновенная прихоть его, а можетъ-быть отчасти и горячность разговора, поставила въ особенное къ нему положеніе.

— Да развѣ вы не поняли меня, — сказалъ онъ со страннымъ выраженіемъ какой то страстной горячности и надменной самоувѣренности: — развѣ вы не поняли, кто, по искреннему желанію сердца моего, долженъ быть госпожой въ этомъ домѣ?

И онъ протянулъ ей руку черезъ столъ; Маріонила не подала руки своей, а, собравшись съ духомъ, тихо и кротко, но твердо отвѣчала:

— Что до этого, Вадимъ Петровичъ, то вы слышали отвѣтъ матушки—примите его, какъ должно сыну, за рѣшеніе. Я ничтожная сирота, принятая и воспитанная ею, и я вамъ ни въ какомъ отношеніи не чета...

Онъ вскочилъ и еще съ большимъ жаромъ хотѣлъ разубѣдить ее.

— Постойте! — сказала она такъ убѣдительно, что онъ невольно замолчалъ: — я отнюдь не желала бы оскорбить васъ, но настойчивость ваша вынуждаетъ изъ меня послѣднее слово: неукротимая пылкость

ясненій съ братцемъ, можно было день, много, если два, а тамъ предстояла развязка. Вадима стало брать нетерпѣніе, что-де это значитъ, что сестрицы не видно? Онъ былъ увѣренъ, что она не будетъ знать, куда дѣваться передъ нимъ отъ всенижайшей любви и благоговѣйной признательности, и думалъ: «Одно изъ двухъ, или Нилочка, по дѣвичьей робости своей, не рѣшается на встрѣчу со мной, или, чего добраго, не запретила ли ей общая благодѣтельница наша показываться? Вотъ этого еще не доставало!»

— Эй, Машка, поди, спроси Маріонилу Богдановну, можно ли къ ней взойти, мнѣ надо ее видѣть!

Маріонила уже обдумала и уяснила себѣ все, отвѣты были у ней готовы, и она тотчасъ же встала съ мѣста и вышла къ Вадиму Петровичу въ общую комнату. Въ избыткѣ самодовольствія своего, онъ, очевидно, готовъ былъ принять уничиженную и благодарную дѣвушку въ объятія свои, какъ, увидавъ ее, невольно смутился, ограничась однимъ какимъ-то неяснымъ восклицаніемъ.

— Вы желали меня видѣть,—сказала она спокойно, остановясь на разстояніи отъ него.

— Вы... да... я... васъ совсѣмъ не видно, я, право, соскучился безъ васъ... я думалъ, мы дружески переговоримъ словечко о томъ... Да что же вы на меня такъ чинно смотрите, даже ласковаго слова не скажете за мое заступничество?...

Маріонила подошла къ столу и присѣла на стулъ.

— Вы меня вызывали, Вадимъ Петровичъ, и я готова отвѣчать на вопросы ваши, хотя, признаюсь, мнѣ очень трудно. Я обязана вамъ за доброжелательство ваше, но въ дѣлѣ этомъ беру сторону вашей матушки.

— Какъ? И вы на меня? Вы находите, стало-быть, что она права, права, разстроивъ хозяйство мое, права, надѣлавъ долговъ, которые мнѣ же приходится

платить, права наконецъ, обращаясь съ вами какъ съ служанкой?

— Я нахожу, если вы уже вызываете меня на прямой отвѣтъ, что говорить съ матерью такъ, какъ мнѣ довелось слышать, нельзя.

— Помилуйте, да я же за васъ заступился, я не могу позволить, чтобы съ вами такъ обращались!

— Я благодарна вамъ за доброе ваше намѣреніе... но, извините меня, такое заступничество не можетъ поправить дѣла, а на душѣ у васъ должно быть очень тяжело...

Въ Горячевѣ все кипѣло, онъ съ трудомъ удерживался, помня, что говоритъ съ дѣвицей, и при томъ съ тою, которую мгновенная прихоть его, а можетъ-быть отчасти и горячность разговора, поставила въ особенное къ нему положеніе.

— Да развѣ вы не поняли меня, — сказалъ онъ со страннымъ выраженіемъ какой то страстной горячности и надменной самоувѣренности: — развѣ вы не поняли, кто, по искреннему желанію сердца моего, долженъ быть госпожой въ этомъ домѣ?

И онъ протянулъ ей руку черезъ столъ; Маріонила не подала руки своей, а, собравшись съ духомъ, тихо и кротко, но твердо отвѣчала:

— Что до этого, Вадимъ Петровичъ, то вы слышали отвѣтъ матушки—примите его, какъ должно сыну, за рѣшеніе. Я ничтожная сирота, принятая и воспитанная ею, и я вамъ ни въ какомъ отношеніи не чета...

Онъ вскочилъ и еще съ большимъ жаромъ хотѣлъ разубѣдить ее.

— Постойте! — сказала она такъ убѣдительно, что онъ невольно замолчалъ: — я отнюдь не желала бы оскорбить васъ, но настойчивость ваша вынуждаетъ изъ меня послѣднее слово: неукротимая пылкость

ваша можетъ только устрашать, но не привязать къ себѣ.

Она поклонилась и быстро вышла.

Горячевъ былъ до того озадаченъ, что на первый случай не доискался слова — такого отказа ему и въ голову не приходило. Онъ легкомысленно и безразсудно завязалъ все дѣло это, самъ не зная, вести ли его до конца или обратить въ шутку; онъ высказался, когда запальчивость и негодованія на мать его обуяли, а теперь остался въ дуракахъ, самъ не понимая, какъ это сдѣлалось.

Когда онъ опомнился, то въ немъ горѣло одно чувство личности и самотности своей, одно оскорбленное самолюбіе, и кипѣла злоба. Онъ первый распустилъ злую молву о черной неблагодарности и дерзости этой солдатской дочери, которая до того забылась, что вздумала завладѣть имъ и сдѣлаться госпожей въ домѣ.

Толки черезъ людей, черезъ знакомыхъ и сосѣдей, черезъ записныхъ сплетницъ, въ родѣ двухъ сестрицъ-неразлучекъ, пошли по всѣмъ угламъ и закоулкамъ уѣзда, жаднаго до домашнихъ новостей, которыя по временамъ живили и пестрили однообразную жизнь. Не одна почтенная барыня, по поводу этого событія, приказывала закладывать рыдванъ свой и катила въ сосѣди, чтобы разузнать или разсказать о новостяхъ изъ села Духовщины. Маріонилѣ не стало житья въ родномъ домѣ: она почти не выходила изъ своей комнаты и не выпускала изъ рукъ послѣдняго утѣшенія своего: материнскаго Евангелія и завѣщанія ея, которое всегда носила на себѣ въ ладонкѣ. Ей въ этомъ страшномъ одиночествѣ нуженъ былъ совѣтъ, помощь, нужна была какая-нибудь живая душа, съ которою бы можно было перевести духъ, свободно вздохнуть. Она ничего не понимала, ничего не предвидѣла для

себя, кромѣ того, что жизни этой, въ обществѣ злой, лукавой женщины и грубаго, дерзкаго, мстительнаго сына ея, коимъ она обоимъ была въ тягость, долго вынести нельзя.

Невдалекѣ, на усадебкѣ своей, жила женщина, вдова среднихъ лѣтъ, которую Маріонила знала не близко, видавъ ее лишь нѣсколько разъ, но которую она любила и уважала по чувству, и ей то она рѣшилась ввѣриться въ отчаянномъ положеніи своемъ. Она написала ей не много строкъ:

«Простите смѣлости моей... я безпомощна, одинока, не знаю, что дѣлать, куда дѣваться! Вы говорили со мной не много, но всегда кротко и ласково — другого такого задушевнаго голоса я не слыхала. Ради Бога, навѣстите насъ, дайте мнѣ отвести душу на словѣ вашемъ и материнскомъ совѣтѣ!»

Добрая сосѣдка тотчасъ пріѣхала — на свѣтѣ не безъ добрыхъ людей, — и выслушавъ терпѣливо, часа два сряду, всѣ хитросплетенныя росказни Марьи Ивановны, коими она старалась прикрыть все случившееся въ домѣ, выставляя себя жертвой материнской любви и неблагодарности «этой дѣвчонки,» она вышла съ Маріонилою въ садъ, поспѣшила, осторожно оглядываясь, пройти подальше, а тамъ и въ поле, и въ рощу, и тутъ узнала всю истину и всѣ страданія бѣдной Маріонилы. Подумавъ и утѣшивъ ее, какъ могла, она рѣшила, что оставаться въ этомъ домѣ Нилочкѣ нельзя, и вечеромъ, прямо и просто, попросила хозяйку отпустить ее на время къ ней. Нечаянность этого предложенія поставила было Марью Ивановну въ раздумье, но настоятельность просьбы и нравственный перевѣсъ просительницы вызвали, наконецъ, нерѣшительное «пожалуй», коимъ Маріонила со слезами и объятіями спѣшно воспользовалась.

Разговорившись дома еще подробнѣе съ Маріони-

лою, эта добрая и толковая женщина разсудила, что бѣдной дѣвушкѣ возвращаться къ Горячевымъ не должно, и что всего бы лучше ей на время куда-нибудь уѣхать. Близкая пріятельница этой женщины, богатая, простая, но весьма добрая, Наталья Алексѣевна Чумина, собиралась въ это время въ Питеръ для отвоза дѣтей на воспитаніе, а обратно должна была ѣхать одна; заступница Нилочки привезла новую гостью свою къ Чуминымъ, разсказавъ подробности о несчастномъ положеніи сиротки; участіе Чуминыхъ было самое сердечное, и Наталья Алексѣевна тотчасъ же пригласила ее съ собой въ эту поѣздку, отъ которой она, конечно, не отказалась, и впервые свободно вздохнула, когда тяжело нагруженная дорожная карета помчалась на сѣверъ. Вотъ по какому поводу Маріонила внезапно очутилась въ Питерѣ.

V

ЧЕЛНЪ КЪ БЕРЕГУ

Дѣла Горячева шли быстро подъ гору. Долги его сокрушали, а онъ не унимался и моталъ; хозяйство пошло еще гораздо хуже прежняго, по безтолковому вмѣшательству его порывистыми приказами, отказами, неисполняемыми распоряженіями, которыя обычно повершались короткимъ рѣшеніемъ: «Ничего знать не хочу, чтобъ было!» Бѣдный управитель сперва было вздыхалъ, пожималъ плечами, убѣждалъ, но увидѣвъ, что тутъ ничѣмъ не пособишь, самъ утѣшился поговоркой: «не пришлось поле ко двору, пускай его подъ гору!» и, махнувъ рукой, съ горя сталъ попивать, чего доселѣ за нимъ не бывало. Ко всему этому Горячевъ еще глупымъ образомъ поссорился съ судьей,

написавъ ему повелительное, грубое письмо, съ требованіемъ оправдать и отпустить духовщинскаго крестьянина, вора, приговореннаго въ ссылку, и отпустить по той причинѣ, что баринъ хочетъ отдать его въ солдаты и продать квитанцію; изъ этого браннаго письма пошло дѣло. Въ чаяніи поправиться богатою невѣстой, Горячевъ сталъ ухаживать за дочерью и единою наслѣдницей въ другомъ уѣздѣ, ѣздилъ за ними не одинъ разъ въ губернскій городъ, пускалъ пыль, обзавелся щегольскими экипажами, истратился и нажилъ отказъ и новые долги. Все это вмѣстѣ довело его до того, что имѣніе поступило подъ опеку.

Тогда только Вадимъ Петровичъ поневолѣ немного образумился и осѣлся. Побранившись еще разъ съ матерью, на которую сваливалъ всю вину разстройства имѣнія, онъ въ добрый часъ послушался совѣта управителя просить себѣ въ опекуны Александра Сергѣевича; этотъ-де человѣкъ, по словамъ стараго дядьки, поправитъ дѣло толкомъ, да и до васъ онъ будетъ хорошъ, не обидитъ; а вотъ какъ назначатъ какого-нибудь Собникова, тогда что станешь дѣлать? Онъ, пожалуй, охотникъ до опекъ, да вѣдь ужъ онъ васъ до кону разоритъ, ничего съ него не возьмете.

Подумавъ въ смиреніи своемъ, Вадимъ Петровичъ рѣшился ѣхать тотчасъ и къ предводителю, а съ нимъ вмѣстѣ и къ Осинину. Этотъ призадумался было, но, не считая себя въ правѣ отказываться наотрѣзъ отъ этой общественной должности, поддался просьбамъ и убѣжденіямъ предводителя, поставилъ Горячеву свои условія и принялъ опеку.

Поѣхавъ принимать дѣла и имѣніе Горячева, Осининъ сошелся съ нимъ поближе и сослужилъ ему первую службу, объяснивъ ему важность безразсудной ссоры его съ судьею и отвѣтственность за подобное письмо, и покончилъ это дѣло мировою, за которою

обѣ русскія, вы должны меня полюбить, какъ я васъ люблю!

Послѣ объятій и обоюдныхъ увѣреній въ любви и дружбѣ, Агаѳья Яковлевна продолжала:

— У васъ теперь нѣтъ надежнаго пріюта: куда вы дѣнетесь и для чего насъ покинете? Мы бездѣтны, у насъ только племянникъ въ домѣ, и мы всегда поэтому скучали; я говорила уже съ мужемъ своимъ и съ Натальей Алексѣевной, останьтесь у насъ, и... Маріонила, будь моею дочерью!

Нечего и говорить, что со стороны Маріонилы не только не могло быть отказа, но что радость и признательность ея не знали мѣры.

— И мужъ мой очень обрадуется твоему согласію, Маріонила, — сказала хозяйка, когда онѣ обѣ нѣсколько успокоились: — и онъ тебя любитъ какъ отецъ.

Вскорѣ затѣмъ онѣ, сидя вмѣстѣ, разговорились о прошломъ, и Агаѳья Яковлевна стала разспрашивать названную дочь свою о ея матери.

Маріонила въ отвѣтъ достала ладонку, которую всегда носила на себѣ, вынула изъ клеенчатой тафтяной сумочки сложенный подмоткомъ листокъ, развернула и подала его третьей названной матери, сказавъ:

— Вотъ все, что́ я знала о моей матери; завѣщаніе это писано ея рукой и передано мнѣ при благословеніи меня названнымъ отцомъ моимъ, священникомъ...

Агаѳья Яковлевна не могла читать далѣе первыхъ пяти строкъ: мать Маріонилы была родная старшая сестра ея, которую она много лѣтъ безуспѣшно разыскивала по всей Россіи.

Вотъ какими странными, неожиданными переворотами судьба для однихъ, а Провидѣніе для другихъ выталкиваетъ человѣка изъ прямой колеи его и приводитъ, наконецъ, на предназначенный ему путь!

Изумленія и радости со всѣхъ сторонъ было много, а Маріонила, очутившись дочерью третьихъ отца-матери, на сей разъ прижилась съ перваго дня, какъ у кровныхъ родителей своихъ.

Намѣреніе Добрынина, высказанное въ начатомъ письмѣ къ дядѣ, осталось въ столѣ, гдѣ валялось письмо. Одно любопытство, какъ онъ полагалъ, влекло его разузнать, какимъ образомъ знакомка его попала въ Питеръ и въ семейство Бердышева; вѣсти о разстройствѣ дѣлъ Горячева, объ опекѣ надъ ними дяди, и наконецъ письмо послѣдняго поджигали его неотвязно, и онъ легко нашелъ случай явиться къ Чуминой, какъ къ сосѣдкѣ по имѣнію, и отъ нея услышалъ всѣ подробности загадочнаго для него дѣла. Черезъ нее же онъ познакомился и съ Бердышевыми, гдѣ увидѣлъ, что его еще помнили, и прямымъ слѣдствіемъ этого было то, другое письмо его къ дядѣ, которое замѣнило начатое, брошенное, а потомъ отреченіе. Онъ написалъ дядѣ всѣ подробности о причинахъ отъѣзда Маріонилы, о томъ, что ее здѣсь ожидало и встрѣтило, и просилъ благословенія его, по старому, доброму порядку, на свою женитьбу. Онъ не обнаруживалъ еще прямо намѣренія этого у Бердышевыхъ, но надѣялся сердцемъ, что отказу не будетъ. Дядя съ радостію согласился, а что еще важнѣе, — Маріонила также; теткѣ же ея и подавно не было повода этому противиться. Дѣло состоялось, и никто изъ участниковъ объ этомъ впослѣдствіи не пожалѣлъ, и нынѣ молодое поколѣніе Добрыниныхъ, выросшее безъ французскихъ гувернантокъ, но подъ неотступнымъ вліяніемъ родителей чистой нравственности, давно уже, въ тѣсномъ кругу своемъ, пользуется заслуженнымъ уваженіемъ, и если французское произношеніе у нихъ и не парижское, то сердце лежитъ къ родинѣ, они понимаютъ, что на каждомъ человѣкѣ лежатъ обязан-

ности, и ни одинъ изъ нихъ не бредитъ буестью и самотностью, подъ личиною высшихъ взглядовъ

5) ДѢДУШКА БУГРОВЪ.

Всякому вѣдомо, что изъ простолюдиновъ нашихъ выходятъ иногда замѣчательные люди, самородки, ничѣмъ не обязанные воспитанію своему, ученію и образованію, и крайне жаль, что мы обращаемъ на это слишкомъ мало вниманія — въ чемъ себя укоряетъ и пишущій строки эти, вспоминая иногда выходящаго изъ ряду вонъ нижегородскаго удѣльнаго крестьянина Семеновскаго уѣзда, Петра Егоровича Бугрова, извѣстнаго въ послѣдніе годы жизни своей во всемъ городѣ подъ именемъ *дѣдушки*. Скажемъ объ немъ однакоже хотя то, что еще осталось въ памяти, дошедши нѣкогда до насъ отрывками.

Не мудрено, если человѣкъ, сызмала окруженный заботами объ укореніи въ душѣ его правды, человѣкъ, наставляемый и просвѣщаемый нравственно и научно, не мудрено, коли такой человѣкъ вырастетъ въ ясныхъ понятіяхъ о долгѣ своемъ и обязанностяхъ, и сдѣлается честнымъ, полезнымъ гражданиномъ, не мудрено, коли изъ него выйдетъ брату братъ, государю слуга, Богу свѣча; но если человѣкъ самъ собою, безъ всякихъ пособій, даже безъ помощи грамоты, даже не будучи самоучкой, дойдетъ до высокаго умственнаго и нравственнаго развитія, то невольно преклоняешься передъ высшимъ земнымъ созданіемъ Божіимъ и съ жалостію и негодованіемъ глядишь на буйство безумія и невѣрія. Развѣ не очевидно послѣ этого, что всѣ зачатки двойственнаго духовнаго начала человѣка, умственные и нравственные, спятъ въ созданіи этомъ какъ зародышъ кедра въ маломъ зернѣ, и мо-

гутъ быть заморены, могутъ погибнуть или выйти на Божій свѣтъ, возрасти и красоваться во всемъ божественномъ блескѣ своемъ?

Петруху балалаечника помнили купцы-старожилы или приказчики ихъ какъ бойкáго, но трезваго и смирнаго бурлака, который являлся на пристани еще до прилета жаворонковъ, какъ только ледъ на Волгѣ начиналъ синѣть, а мѣстами по синевѣ выказывались черныя гряды и кучи. Кромѣ ложки и лимки, въ мѣшкѣ за плечами у него была балалайка; судовщики пріятельски привѣчали приземистаго, кряжистаго голыша, съ песчаной и болотистой почвы этой части Заволжья, гдѣ земля не кормитъ дѣтей своихъ хлѣбомъ, и откуда щепенный товаръ: ложки и чашки, ставцы и складни идутъ на всю Русь. Смекнувъ скоро, что промыселъ соленосцевъ хоть и тяжелъ, да выгоднѣе простого бурлачества, онъ перешелъ къ этому дѣлу, и нѣсколько лѣтъ сряду лѣтовалъ подъ горой у соляныхъ складовъ, у разгрузки и нагрузки судовъ, таская на могутныхъ плечахъ своихъ четырехпудовые мѣшки, по зыбкой кладкѣ съ пристани на барку. Свернувшись однажды и полетѣвъ подъ ношей своею въ воду, онъ сильно расшибся, и сверхъ того нѣсколько дней сряду таскалъ мѣшки даромъ, отрабатывая утрату размокшей соли.

Но вскорѣ Бугровъ опять самъ догадался, что даже и кряжистому и плечистому мужику выгоднѣе работать смысломъ своимъ, чѣмъ спиною, или по крайности прилагать къ дѣлу и разумъ свой, а не одни плеча. «Богъ указалъ пчелѣ соты строить, говаривалъ онъ, и не станетъ она землю копать и въ навозѣ рыться, какъ жукъ; коли далъ Богъ человѣку умъ, такъ надо работать и имъ». Онъ пошелъ, не то въ корщики, лоцмана, не то въ водоливы или въ приказчики, вѣрно не знаю, но сталъ ходить со сплавомъ соли; затѣмъ

вошелъ въ долю, потомъ спустилъ и свою барочку, и сталъ промышлять на свою руку. Наконецъ, продолжая держать суда и заведя даже свою коноводку, онъ сталъ торговать хлѣбомъ и сталъ брать подряды.

Вступивъ въ подряды, онъ очень скоро сталъ извѣстенъ своими особенностями, коими заслужилъ уваженіе многихъ и сильную непріязнь иныхъ: онъ былъ исполнителенъ, добросовѣстенъ и точенъ въ дѣлахъ своихъ, и этимъ умѣлъ избѣгать всякихъ придирокъ и даже предлоговъ къ нимъ, но зато терпѣть не могъ крупныхъ взятокъ и поборовъ, приносящихъ другимъ подрядчикамъ огромныя выгоды; никогда онъ не шелъ впередъ на такія сдѣлки, никогда не входилъ въ стачки, никогда не бралъ слазовъ и отсталаго, а любилъ являться на торги внезапно, нежданно, даже прямо на переторжку, гдѣ чрезъ это былъ полнымъ хозяиномъ своего дѣла, независимымъ и чуждымъ всѣмъ предварительнымъ сдѣлкамъ. «Казну окрадывать — народъ окрадывать, говаривалъ онъ; на томъ свѣтѣ къ отвѣту поставятъ супротивъ несмѣтной толпы—что отвѣчать будемъ?».

Семеновская волость платила подрядчику своему, за починку дорогъ, гатей и мостовъ, ежегодно по двѣ тысячи рублей; новый начальникъ позвалъ Бугрова, поговорилъ съ нимъ, и тотъ, по обычаю своему, помолчавъ, потрепавъ себѣ бороду и кивнувъ головой, коротко отвѣчалъ: «хорошо, ладно, дѣло доброе—зови на торги, тамъ поглядимъ.» На торгахъ, онъ повинность эту съ двухъ тысячъ сбилъ на семьсотъ—и взялъ ее за эту цѣну тотъ же, прежній подрядчикъ!

— Баринъ, не хорошо дѣло это, не годится,—сказалъ онъ однажды пріемщику подрядной постройки, который думалъ, что тотъ принесъ требуемыя за пріемку не малыя деньги, и потому принялъ его глазъ-на-глазъ.

— Что тебѣ не нравится?

— Да не хорошо наше дѣло дѣлается, такъ не пойдетъ оно.

— А мнѣ что до этого? Твоя забота, не моя; а ты все хочешь на фу-фу?

— Нѣтъ, баринъ, ты меня послушай: на фу-фу я не дѣлаю, а дѣлаю такъ, чтобъ было хорошо; вотъ потому-то у насъ съ тобой и дѣло-то не вяжется: что ты правишь съ меня, то положено у меня въ стѣну да въ стрѣху, отдать-то и нечего: ты послушай меня: правду знаешь? Любишь правду? Ты повѣрь, она скажетъ, отъ нея не уйдешь, худо будетъ; я работалъ, а ты гулялъ; свои заработки тебѣ отдать, да еще приплатиться—гдѣ она тутъ, правда-то? А я что ѣсть стану?

— А зачѣмъ ты лѣзъ въ это дѣло, въ боку припека, кто тебя совалъ?

— Я не лѣзъ, баринъ, я стоялъ у стѣнки съ прочими, да еще и позади нихъ, я стоялъ, по указу государеву, на своемъ мѣстѣ; я отвѣчалъ на спросъ, при зерцалѣ; за что взялся, то исполнилъ, а въ чемъ ряду не было, о томъ и рѣчей нѣтъ. Ты меня послушай: ты толкъ и силу и цѣны самъ знаешь, ты взгляни на строеніе, на свою совѣсть, для себя, ты забудь это на часъ, что взять надо, а покайся разокъ правдѣ, — взгляни, чего дѣло стоитъ, да тогда уже дай волю себѣ, именно, много-ль тутъ съ добычи моей отдать можно; ну, тебѣ надо было ходить и по подваламъ, и и по подволокамъ, глядѣть, считать, хлопотать — за это спасибо, и возьми вотъ, за труды эти, что отдать можно; а взять у рабочаго, убогаго человѣка, кто кости ломалъ на этомъ дѣлѣ, да отнявъ у него, отдать тебѣ — этого нельзя; ты меня послушай: возьми вотъ, что отдать можно, и Богъ съ тобой, коли грѣха не боишься, а нѣтъ, такъ шуму будетъ много, а ко-

рысти мало: ославишься, не хорошо, а правда таки свое возьметъ.

Все это говорилъ онъ такъ тихо и кротко, такъ разсудительно и убѣдительно, что неволею заставлялъ слушать себя и подъ конецъ уступать. Въ другой разъ, когда губернаторъ призвалъ его, убѣждая идти на торги, отъ коихъ Петръ Егорычъ было, по стачкѣ подрядчиковъ, уклонился, онъ, почесавшись и подержавъ бороду въ кулакѣ, отвѣчалъ: «коли такъ, то ты скажи мнѣ, ваше превосходительство, какъ мнѣ быть, ты научи меня напередъ, чтобъ оглядки не было: казну ли обокрасть, чиновниковъ ли обмануть, аль на себя поступиться, свое посадить?»—«По совѣсти дѣлай,» сказалъ тотъ. — «А коли такая ряда наша будетъ,— отвѣчалъ Петръ Егорычъ, взглянувъ на него острыми, умными глазами, немного исподлобья; — такъ вѣдь я зачураю, ты у меня помни слово свое--этого на торгахъ не вырядишь, а ужъ мы съ тобой про то знать будемъ: изволь, возьму и сдѣлаю!»

Подробностей, какъ онъ шелъ впередъ и наживался, не знаю, могу только разсказать нѣсколько особенныхъ случаевъ и сослаться на весь Нижній, гдѣ, я чаю, не найдется ни одного человѣка, который бы не помянулъ дѣдушку Бугрова добромъ, не назвалъ бы его честнымъ человѣкомъ и благодѣтелемъ народа. Поговорка его была: «такъ дѣлай, чтобъ тебѣ хорошо, а никому не худо.»

На телячьемъ броду затонуло однажды нѣсколько барокъ кирпича, на огромную сумму, и несчастный хозяинъ въ одинъ часъ былъ разоренъ въ пухъ; кромѣ неоплатныхъ убытковъ, его нудили тотчасъ же вынуть изъ воды и выгрузить кирпичъ и убрать днища, кои запружали проходъ судамъ. Бугровъ купилъ кирпичъ за безцѣнокъ, но все-таки за большія деньги, перепаузилъ его быстро, пустилъ въ Нижнемъ съ огромною

выгодой на постройки свои и въ продажу, а по выручкѣ, молча подѣлился съ разореннымъ плавщикомъ барышами. Кощунствуя въ избыткѣ признательности своей, тотъ сказалъ: «И самъ Богъ не сдѣлалъ для меня того, что сдѣлалъ Петръ Егоровичъ Бугровъ!»— «Не городи зря,—отвѣчалъ этотъ:—не хорошо, говори: Богъ велѣлъ пособить, а Бугровъ послушался Его!»

Берегъ Волги, отъ Кремля внизъ, нынѣ весь обстроенный пароходными пристанями, былъ дикъ, въ неприступныхъ оврагахъ и обрывахъ въ десятки саженъ; государь Николай Павловичъ, бывъ въ Нижнемъ, повелѣлъ обратить его въ ровный откосъ, засадить деревьями и сдѣлать спуски и дороги; работъ было на милліоны. Все шло хорошо, но одна часть откоса, ближайшая къ Кремлю, обильная ключами, никакъ не поддавалась уровню ученыхъ строителей, и каждую весну снова осѣдала, съѣзжая къ Волгѣ и образуя новыя трещины, овраги и обрывы. Нѣсколько лѣтъ бились съ этою упорною толщей, упрятали въ ней много денегъ, а успѣху никакого. Тогда вздумали свалить эту бѣду съ плечъ своихъ, отдавъ работу подрядомъ, съ отвѣтомъ подрядчика на восемь лѣтъ. Никто не пожелалъ взяться за такое темное, опасное дѣло, гдѣ можно посадить и самое огромное состояніе. Бугровъ взялся. Онъ нагналъ вдругъ тысячу рабочихъ— а все Заволжье, по одному слову его, всегда готово было явиться въ Нижній,—поднялъ всю толщу перевороченной земли, на десятки саженъ, гдѣ по глиняному пласту струились во множествѣ обильные родники, покрылъ весь просторъ этотъ сплошнымъ накатомъ бревенъ, по направленію ската ключей, накаталъ сверхъ еще другой и третій сплошной рядъ бревенъ, поперекъ и опять вдоль исподняго ряда, — засыпалъ рѣжу эту землей, сдѣлалъ и сгладилъ откосъ, который стоитъ и по сей день.

рысти мало: ославишься, не хорошо, а правда таки свое возьметъ.

Все это говорилъ онъ такъ тихо и кротко, такъ разсудительно и убѣдительно, что неволею заставлялъ слушать себя и подъ конецъ уступать. Въ другой разъ, когда губернаторъ призвалъ его, убѣждая идти на торги, отъ коихъ Петръ Егорычъ было, по стачкѣ подрядчиковъ, уклонился, онъ, почесавшись и подержавъ бороду въ кулакѣ, отвѣчалъ: «коли такъ, то ты скажи мнѣ, ваше превосходительство, какъ мнѣ быть, ты научи меня напередъ, чтобъ оглядки не было: казну ли обокрасть, чиновниковъ ли обмануть, аль на себя поступиться, свое посадить?»—«По совѣсти дѣлай,» сказалъ тотъ. — «А коли такая ряда наша будетъ,— отвѣчалъ Петръ Егорычъ, взглянувъ на него острыми, умными глазами, немного исподлобья; — такъ вѣдь я зачураю, ты у меня помни слово свое--этого на торгахъ не вырядишь, а ужъ мы съ тобой про то знать будемъ: изволь, возьму и сдѣлаю!»

Подробностей, какъ онъ шелъ впередъ и наживался, не знаю, могу только разсказать нѣсколько особенныхъ случаевъ и сослаться на весь Нижній, гдѣ, я чаю, не найдется ни одного человѣка, который бы не помянулъ дѣдушку Бугрова добромъ, не назвалъ бы его честнымъ человѣкомъ и благодѣтелемъ народа. Поговорка его была: «такъ дѣлай, чтобъ тебѣ хорошо, а никому не худо.»

На телячьемъ броду затонуло однажды нѣсколько барокъ кирпича, на огромную сумму, и несчастный хозяинъ въ одинъ часъ былъ разоренъ въ пухъ; кромѣ неоплатныхъ убытковъ, его нудили тотчасъ же вынуть изъ воды и выгрузить кирпичъ и убрать днища, кои запружали проходъ судамъ. Бугровъ купилъ кирпичъ за безцѣнокъ, но все-таки за большія деньги, перепаузилъ его быстро, пустилъ въ Нижнемъ съ огромною

выгодой на постройки свои и въ продажу, а по выручкѣ, молча подѣлился съ разореннымъ плавщикомъ барышами. Кощунствуя въ избыткѣ признательности своей, тотъ сказалъ: «И самъ Богъ не сдѣлалъ для меня того, что сдѣлалъ Петръ Егоровичъ Бугровъ!»— «Не городи зря,—отвѣчалъ этотъ:—не хорошо, говори: Богъ велѣлъ пособить, а Бугровъ послушался Его!»

Берегъ Волги, отъ Кремля внизъ, нынѣ весь обстроенный пароходными пристанями, былъ дикъ, въ неприступныхъ оврагахъ и обрывахъ въ десятки саженъ; государь Николай Павловичъ, бывъ въ Нижнемъ, повелѣлъ обратить его въ ровный откосъ, засадить деревьями и сдѣлать спуски и дороги; работъ было на милліоны. Все шло хорошо, но одна часть откоса, ближайшая къ Кремлю, обильная ключами, никакъ не поддавалась уровню ученыхъ строителей, и каждую весну снова осѣдала, съѣзжая къ Волгѣ и образуя новыя трещины, овраги и обрывы. Нѣсколько лѣтъ бились съ этою упорною толщей, упрятали въ ней много денегъ, а успѣху никакого. Тогда вздумали свалить эту бѣду съ плечъ своихъ, отдавъ работу подрядомъ, съ отвѣтомъ подрядчика на восемь лѣтъ. Никто не пожелалъ взяться за такое темное, опасное дѣло, гдѣ можно посадить и самое огромное состояніе. Бугровъ взялся. Онъ нагналъ вдругъ тысячу рабочихъ— а все Заволжье, по одному слову его, всегда готово было явиться въ Нижній,—поднялъ всю толщу перевороченной земли, на десятки саженъ, гдѣ по глиняному пласту струились во множествѣ обильные родники, покрылъ весь просторъ этотъ сплошнымъ накатомъ бревенъ, по направленію ската ключей, накаталъ сверхъ еще другой и третій сплошной рядъ бревенъ, поперекъ и опять вдоль исподняго ряда, — засыпалъ рѣжу эту землей, сдѣлалъ и сгладилъ откосъ, который стоитъ и по сей день.

Въ годину ополченія, Бугровъ сослужилъ большую службу на людей и на царя. Кто былъ близокъ этому дѣлу, тотъ помнитъ, какъ трудно было въ короткій срокъ выставить большой обозъ на десять дружинъ, по образцу, и стало быть весь вновь построенный, а къ нему и однообразную упряжь, и наконецъ нѣсколько сотъ лошадей; гдѣ ихъ взять вдругъ? На мѣстѣ ихъ нѣтъ;—послать скупать у крестьянъ, по всей губерніи, накупать всякой дряни—куда ихъ дѣвать и на кого послѣ положить убытокъ? Чѣмъ ихъ замѣнить, при той поспѣшности, съ какою дѣло дѣлалось? Петръ Егоровичъ взялъ это на себя, въ три дня открылъ телѣжную мастерскую въ манежѣ, а на дому у себя шорную, отправилъ въ тотъ же день сына своего, Александра Петровича, въ Мензелинскъ и еще на какую-то ярмарку, и отвѣчалъ на всѣ опасенія и сомнѣнія, что-де далеко, и много времени пропадаетъ: «зато мы покончимъ его въ одинъ разъ, я пригоню тысячу коней къ сроку, и выбирай; а здѣсь станемъ колотиться, выпрягая клячъ изъ сохи да изъ бороны, и наживемъ себѣ бѣду; будьте покойны, къ сроку поставлю, а я помру, такъ Алексашка пригонитъ, не бойтесь». И нижегородскій обозъ былъ одинъ изъ лучшихъ въ ополченіи.

До конца жизни своей онъ оставался тѣмъ же смурымъ мужикомъ, разъѣзжалъ по городу, сидя бокомъ на долгихъ дрогахъ и свѣсивъ ноги; онъ не хотѣлъ выходить изъ своего сословія, держалъ дворъ и домъ въ своей родной деревнѣ, Поповой, хотя самъ жилъ съ умной старухой своею, женой, въ Нижнемъ, жилъ по дѣламъ и подрядамъ своимъ и при лабазѣ; онъ держалъ нѣсколько водяныхъ мельницъ на оброкѣ и желѣзорѣзный заводъ, безропотно оплачивая міромъ положенныя на него 18 тяглъ! Земля въ этихъ мѣстахъ ничего не стоитъ, и онъ предоставлялъ оплачиваемую имъ, кромѣ своего тягловаго участка, бѣднѣйшимъ

крестьянамъ. Привозя въ городъ оброкъ и подушныя съ волости, голова всегда заѣзжалъ напередъ къ Бугрову и безотказно бралъ 200, 300 рублей, коихъ не успѣлъ собрать, и много изъ этихъ денегъ засѣло за волостью навсегда; ни на это, ни на другое что, онъ жалобъ никогда не приносилъ. Мнѣ лично извѣстны были до 15-ти человѣкъ, выкупленныхъ имъ изъ солдатства; каждый изъ нихъ стоилъ ему не менѣе 800 рублей и заклинался всѣми святыми, что отслужитъ ему эти деньги; человѣка три изъ нихъ сдержали свое слово, остались вѣрнѣйшими слугами его,—остальные спились съ кругу, были имъ отосланы или сами ушли, и онъ даже не поминалъ объ нихъ: «ихъ воля, говаривалъ онъ, я свое дѣло сдѣлалъ, а они какъ знаютъ; передъ Богомъ будемъ отвѣчать всякъ самъ за себя, тамъ на міру, чай, круговой поруки нѣтъ!»

На такъ называемый крестьянскій банкъ онъ не далъ ни гроша, понявъ сразу, что изъ этого учрежденія ничего не выйдетъ; а, напримѣръ, на основаніе нерушимаго истиника, для вспоможенія ростами бѣднымъ крестьянамъ, внимательно выслушавъ весь уставъ, внесъ тысячу рублей.

— Деньгу грѣшно держать въ сундукѣ,—говаривалъ онъ: — надо пускать ее, чтобы народъ ею кормился; она въ одинъ день семерыхъ обойдетъ и выручитъ, а въ сундукѣ она тлѣнъ. Гдѣ онъ считалъ нужнымъ помочь кому, тамъ давалъ, для оборота, изрядныя деньги, и всегда тихо, молча и на слово; сколько разъ ни обманывали его, онъ отъ этого не измѣнялся, а говорилъ только: «Чтожъ, Богъ съ нимъ, не я его обидѣлъ, онъ самъ себя обидѣлъ!»

Петръ Егоровичъ терпѣть не могъ, чтобы какое-нибудь дѣло за нимъ стояло, чтобы кто его дожидался; онъ свято берегся, чтобы никто на него не попенялъ. Разсчеты съ сотнями рабочихъ были у него въ суб-

боту вечеромъ, и тутъ толпа за толпой валила къ нему въ домъ, на нижній базаръ, зная, что въ канцеляріи дѣдушки, то-есть въ головѣ его, готовъ былъ разсчетъ каждому, а въ большой деревянной чашкѣ открыто стояло на готовѣ и казначейство хозяина. Разоблачась, онъ съ чашкой этой залѣзалъ на печь, а народъ толпился въ избѣ и подходя получалъ разсчетъ. И здѣсь умѣлъ онъ соблюдать чинность и порядокъ: зря не входили, а вызывались артелями, напередъ каменьщики, тамъ плотники, маляры, кровельщики, и наконецъ земляники, и золотая чаша постепенно порожнѣла.

— Ну, что ты лобъ то крестомъ чешешь,—сказалъ онъ однажды сыну,—а народъ стоитъ на дворѣ, да ждетъ!

— Да вѣдь ты видишь, отецъ, что я на молитвѣ стою, дай напередъ Богу началъ положить!

— Богъ терпѣливъ, не взыщетъ, Алексаша. Ему, что часомъ раньше, что позже, все одно; а ты пожалѣй народъ, разсчитай да отпусти, имъ еще въ баню сходить надо, иной за тебя помолится, Богъ черезъ нихъ дастъ тебѣ то, чего самъ не вымолишь!

Петръ Егоровичъ, какъ изъ этого уже видно, былъ раскольникъ, какъ большая часть этого Заволжья. Между чиновниками удѣльной конторы, куда тотъ часто приходилъ по дѣламъ, были прежніе семинаристы, кои охотно съ нимъ бесѣдовали и старались его обратить на путь истины. Онъ добродушно выслушивалъ ихъ, а потомъ просилъ объяснить ему, въ чемъ же состоитъ разница между его вѣрой и ихнею. Выслушавъ и это, частію догматическое, частію обрядливое толкованіе, онъ отвѣчалъ:

— Да вѣдь я то самъ, я все тотъ же буду, хоть такъ стану креститься, хоть этакъ, вѣдь ужъ я, каковъ есть, таковъ и буду, все ту же грѣшную душу Богу

Мнѣ на что? Я давно вонъ гляжу, и съ собой ничего не унесу, а съ сына будетъ и того, что есть; да нельзя отъ дѣлъ отстать, народа жаль; вѣдь около меня кормится тысячи двѣ человѣкъ, какъ я покину ихъ?

Однако вскорѣ послѣ этого прислалъ онъ ко мнѣ вѣсть на словахъ: «Скажи барину, что дѣдушка помирать поѣхалъ». Онъ все сдалъ сыну, уѣхалъ въ свою деревеньку, садилъ тамъ садъ и ковырялъ лапти, подковыривая ихъ, для прочности, ремнями изъ ширы, кожи съ цыбиковъ, и, вмѣстѣ съ подаяніемъ, раздавалъ эти лапти нищимъ. Онъ еще разъ прислалъ мнѣ съ однимъ крестьяниномъ поклонъ и обѣщанье прислать на прощанье пару своихъ лаптей, но вслѣдъ за тѣмъ скончался.

6) КРУЖЕВНИЦА

— Не купишь ли, барынька, нашихъ балахонскихъ кружевцовъ, прошивочекъ, аль косыночекъ,—говорила съ передышкой плотная, зажиточно одѣтая женщина, уже въ лѣтахъ, а сама привѣтливо глядѣла барынѣ въ глаза и протаскивала за собой въ дверь узелъ и двѣ коробки: — дорого не возьму, дашь нажить двугривенный, такъ и за то пошли Господи спасенье дому твоему!

— Да ты, бабушка, въ такую распутицу обуви протрешь на двугривенный, какіе тутъ барыши?

— И, матушка, мужъ не пожалѣетъ на меня, наново обуетъ!

— А коли не пожалѣетъ, такъ я бы на твоемъ мѣстѣ взяла двугривенный его, да съ нимъ бы и сидѣла дома, чѣмъ выхаживать его въ такую непогоду!

ситцами, переведены были вдаль, къ Сибирской пристани, а на ихъ мѣсто пущены шорники. Молва прошла, что дѣло это не чисто, и объ немъ толковали, приплетая множество подробностей, кои довольно трудно было бы придумалъ. Слухъ, какъ видно, дошелъ и до губернатора, и тѣмъ болѣе его тревожилъ, что вскорѣ ждали царя. Желая разузнать попрямѣе, что это за толки, и правда ли, что и его имя было тутъ сильно замѣшано, губернаторъ попытался было поговорить съ нѣкоторыми изъ служащихъ, а тамъ и изъ купцовъ, но получалъ только уклончивые отвѣты; никто не считалъ полезнымъ вступаться въ дѣло, которое до него лично не касалось, по которому надо было высказать весьма нелестные для губернатора отзывы, и все это по однимъ только сплетнямъ и пересудамъ, передавая то, что люди говорятъ. Подумавъ, губернаторъ послалъ за Бугровымъ, обласкалъ его, увелъ къ себѣ въ комнату, бесѣдовалъ, будто совѣтуясь по нѣкоторымъ ярмарочнымъ дѣламъ, и наконецъ приступилъ къ нему прямо.

— Скажи-де мнѣ, что говорятъ объ этомъ дѣлѣ, о переводѣ шорниковъ, въ народѣ? Ты-де старикъ умный, ты понимаешь, что мнѣ надо это знать; коли меня всѣ станутъ обманывать, такъ я вѣдь и знать не могу, чего захотятъ и что мнѣ должно дѣлать.

— Обманывать тебя, ваше превосходительство, я не стану, — отвѣчалъ тотъ: — а что сказать, не знаю; вѣдь молчокъ не обманъ, а меня при томъ дѣлѣ не было: народъ оретъ, мало ли что вретъ? Всего макомъ не посѣешь.

— Я вотъ объ этомъ то и прошу тебя, Петръ Егоровичъ, скажи мнѣ все, все до чиста, что же объ этомъ говорятъ?

— Да что говорятъ, вѣдь народъ глупъ, мелетъ зря.

— Нужды нѣтъ, Петръ Егоровичъ, говори прямо: правда ли, будто директоръ взялъ съ шорниковъ тысячу рублей?

— Тысячу рублей, нѣтъ, этого не слыхалъ; а народъ говоритъ, будто ты, ваше превосходительство, взялъ съ нихъ четыреста рублей, а уже послѣ этого и директоръ взялъ восемьсотъ; вотъ, что говорятъ.

— Какъ взялъ? Какъ же это можетъ быть, чтобъ я взялъ? Я ничего не бралъ, а они пожертвовали на пріюты четыреста рублей! Деньги эти тогда же записаны сполна на приходъ по пріютамъ и сданы туда.

— Да ужъ тамъ, куда расписаны деньги по книгамъ, мы до этого не доходимъ, народъ глупъ, онъ этого не разбираетъ; а дѣло въ томъ, говорятъ, ты взялъ напередъ четыреста, а онъ послѣ взялъ восемьсотъ; коли правда, что ты взялъ, ну, такъ стало-быть и онъ взялъ; а коли ты не бралъ, ну, такъ стало-быть врутъ, и онъ не бралъ.

— Это однако прискорбно, коли общій голосъ такъ неосновательно судитъ; шорники захотѣли сдѣлать доброе дѣло, внесли деньги на пріюты, какъ же мнѣ было не принять ихъ?

— Ужъ коли заставилъ ты меня говорить, ваше превосходительство, такъ надо договаривать; люди говорятъ вотъ что: шорники принесли директору тысячу рублей, дай-де намъ мѣсто поближе, вотъ хоть бабъ то этихъ да отставныхъ солдатишекъ-торгашей выведи, мы выстроимъ хорошіе балаганы, и ряды эти станутъ показистѣе; тотъ было протянулъ руку, да и призадумался; нѣтъ, говоритъ, такъ нельзя, братцы, опасно, а вы подите-ка напередъ къ губернатору, онъ охотникъ на пріюты собирать, да ему поклонитесь; коли онъ приметъ, такъ тогда приходите. Вотъ они, тебя-то задобривъ, и пришли къ нему, и поднесли остальные шестьсотъ, а онъ было не сталъ

тихую милостыню подаетъ, ладно ли это? А онъ:—коли не ладно, укравъ Часословъ, да: услыши, Господи, молитву мою!—Ахъ ты, Господи, что тутъ дѣлать! Я втѣ поры за кружевомъ сидѣла, на масло плела, по обѣту также, да и подумала: Мать Пресвятая Богородица, ужъ полно, въ угоду ли тебѣ лампадка то, коли семеро безъ хлѣба сидятъ? Глянула на икону то, а отъ лика ея на меня словно тишью повѣяло—я все на нее гляжу, и подумала: спрошу я хозяина—а онъ у меня божественныя книги читаетъ, и мнѣ иную пору слушать велитъ, и хорошо таково тамъ писано... Тихонычъ, что ради Бога лучше, свѣчку ли ему поставить аль милостыню подать? А онъ: «Спаситель говоритъ: *милостыни хощу, а не жертвы*»; когда свѣчу ставишь, говоритъ, значитъ, жертвуешь; а милостыню подаешь нужному, значитъ, милость творишь. Словно разсвѣло у меня на душѣ отъ такихъ его рѣчей, — вотъ оно что, божественныя-тѣ книги читать; а мы вотъ люди темные, и нехотя согрѣшаемъ — не знаешь, въ чемъ грѣхъ, въ чемъ спасеніе! Кабы не Тихонычъ, я бы такъ все, словно впотьмахъ, изъ стороны въ сторону шаталась, и на хлѣбъ внучатамъ таскала бы украдкой, а на неугасимую Богородицѣ работала бы день и ночь, и глаза бы себѣ послѣпила! Такъ вотъ, золотая моя сударушка, какъ увидѣла я свѣтъ духовный, такъ съ того часу и наложила я на себя обѣтъ: мужа не обманывать ни на копѣечку, и покаялась ему во всемъ; добра его на свою нищую родню не переводить, а трудиться весь вѣкъ свой, и коклюшками то, к переторговывать, трудиться на братнину семью — оно и по душѣ его пойдетъ и накормитъ голодныхъ. А вотъ какъ я, дура то, заживо было похоронила мать, да она, сердечная, черезъ годочекъ побывшилась, такъ Тихонычъ и не велѣлъ мнѣ на похороны своей грудовой копѣйки рушить; отдай, говоритъ, по душѣ

промышлять самой. Думая такъ, я однако, чтобы хлѣбца подать внучатамъ братнинымъ, стала было маленечко на харчи накидывать: что ни пойду на базаръ, по домашности, пятачокъ и отложу на нихъ: одеженьку ли покупаю какую, что выторгую, то опять таки имъ; ну, и ничего, мой то не скупъ на меня, не спрашиваетъ, такъ дѣло это у насъ и идетъ. Вотъ я какъ то вернулась съ поѣздки, давно вѣдь ужъ это было, мужъ и говоритъ мнѣ: «поди, тамъ что то у твоихъ нездорово»; я туда, а ребятишки гдѣ еще завидѣли меня, кричатъ: «Бабушка, сударушка, золотая, дай хлѣбца». Я имъ гостинца, жемочковъ принесла, а они свое: хлѣбца дай! Что за напасть сталась, пошла съ ними въ лавочку, такъ еле дождались, какъ отвѣсили, по куску разнесли, да ну уплетать! Отецъ то, вишь, столяръ у нихъ, да занемогъ, слегъ, и хлѣба Божьяго не стало: Ну, некуда дѣваться, надо мужа просить, ничье сердце не утерпитъ, на голодныхъ глядючи. Тихонычъ! «А-ась»... Ну, думаю, коли а-ась, такъ что то не ладно; погляжу ему въ лицо — а онъ сумрачный-насумрачный сидитъ... бѣда, думаю, какъ тутъ заговорить съ нимъ! Сѣла я было за кружева, прикусивъ языкъ; коклюшки путаются, въ глазахъ рябитъ. Вѣдь тоже дѣло то мое не молодое, а тутъ и горе... бросила, дай, говорю, со скуки переберу коробью, одежонку перетрясу,—а это, знать, мужъ любитъ, скопидомкой за это зоветъ — стала стряхивать праздничный сюртукъ его, что то отозвалось въ карманѣ—я рукой туда — цѣлковый! Стамъ рублямъ бы такъ не обрадовалась, сударынька! Наскоро убравши все, я тутъ же снесла его племянницѣ — слава Богу: хоть на хлѣбъ будетъ, а сама иду домой и раздумываю: ладно ли я сдѣлала? Чай, надо было у мужа спроситься, а я украдкой; вотъ я ему этакъ стороной и говорю: Тихонычъ, у насъ въ Балахнѣ жена отъ мужа

тихую милостыню подаетъ, ладно ли это? А онъ:—коли не ладно, укравъ Часословъ, да: услыши, Господи, молитву мою!—Ахъ ты, Господи, что тутъ дѣлать! Я втѣ поры за кружевомъ сидѣла, на масло плела, по обѣту также, да и подумала: Мать Пресвятая Богородица, ужъ полно, въ угоду ли тебѣ лампадка то, коли семеро безъ хлѣба сидятъ? Глянула на икону то, а отъ лика ея на меня словно тишью повѣяло—я все на нее гляжу, и подумала: спрошу я хозяина—а онъ у меня божественныя книги читаетъ, и мнѣ ину пору слушать велитъ, и хорошо таково тамъ писано... Тихонычъ, что ради Бога лучше, свѣчку ли ему поставить аль милостыню подать? А онъ: «Спаситель говоритъ: *милостыни хощу, а не жертвы*»; когда свѣчу ставишь, говоритъ, значитъ, жертвуешь; а милостыню подаешь нужному, значитъ, милость творишь. Словно разсвѣло у меня на душѣ отъ такихъ его рѣчей, — вотъ оно что, божественныя-тѣ книги читать; а мы вотъ люди темные, и нехотя согрѣшаемъ — не знаешь, въ чемъ грѣхъ, въ чемъ спасеніе! Кабы не Тихонычъ, я бы такъ все, словно впотьмахъ, изъ стороны въ сторону шаталась, и на хлѣбъ внучатамъ таскала бы украдкой, а на неугасимую Богородицѣ работала бы день и ночь, и глаза бы себѣ послѣпила! Такъ вотъ, золотая моя сударушка, какъ увидѣла я свѣтъ духовный, такъ съ того часу и наложила я на себя обѣтъ: мужа не обманывать ни на копѣечку, и покаялась ему во всемъ; добра его на свою нищую родню не переводить, а трудиться весь вѣкъ свой, и коклюшками то, и переторговывать, трудиться на братнину семью — оно и по душѣ его пойдетъ и накормитъ голодныхъ. А вотъ какъ я, дура то, заживо было похоронила мать, да она, сердечная, черезъ годочекъ побывшилась, такъ Тихонычъ и не велѣлъ мнѣ на похороны своей грудовой копѣйки рушить; отдай, говоритъ, по душѣ

ея, своимъ, тамъ помолятся, а мать схоронить это мое дѣло!

— Все это хорошо, тетка, и оба вы съ мужемъ хорошіе люди; да какъ же ты это мать то было похоронила? Знать, обмирала она, что ли, у тебя?

— Нѣтъ, матушка, лебедушка моя, не обмирала она, сердечная, а такъ это я сдуру, потѣшить ее захотѣлось. Она, вишь, ужъ добре стара была и немощна, ужъ только ину пору на солнышкѣ погрѣться съ печи слѣзала, вотъ она, царство ей небесное, и говаривала бывало: «Аннушка, а жалко тебѣ будетъ меня хоронить»? Кормилица моя, говорю, да кого же и жалѣть, коли не матушку родную, что на бѣлъ-свѣтъ, на святорусье народила! Что мнѣ, дѣтей не далъ Богъ — ты да хозяинъ, вотъ и вся тутъ! «Ладно-де дитятко, а станешь ли выть по мнѣ, по закону»? Мамынька, да какже не взвыть по тебѣ, какъ понесутъ на Божье поле! «А причитать, молъ, по-законному, станешь»? Ну, вотъ этого, кормилица моя, не стану, не умѣю, и въ жизнь ни по комъ не причитывала! «Не ладно будетъ, Аннушка, люди скажутъ: ей матери не жалко; хоть ни по комъ не причитывала, а по родной матери надо». Мамынька, да какъ же сказать то имъ это, коли всѣмъ вѣдомо, что вотъ уже 30 годовъ замужемъ живу, а ни въ одномъ словѣ тебѣ не перечила. А причитать не умѣю; вѣдь плачъ плакать надо складно, а то люди тоже осудятъ, а я не умѣю. «Такъ то такъ, Аннушка, а все не ладно будетъ, коли по мнѣ причитать не станешь; скажутъ: вотъ она чуть не офицерша и зазналась, и по матери не плачетъ. Полѣзай-ка, Аннушка, на печь ко мнѣ, сядь на край, ну вотъ и слушай, я тебя научу, и говори за мною». Вотъ мамынька то, сѣвши, и стала покачиваясь плакать: «Солнышко ты мое красное, ты куда закатилося! Лебедушка моя ты бѣлая, а ты что

не шелохнешься! А и словечушка не промолвишь, крылышкомъ не приголубишь»!.. Мамынька, говорю, да какъ же стану бѣлой звать тебя, вѣдь ужъ мы съ тобой не кровь съ молокомъ, ты вѣдь черна, да худая... «Ничего, дитятко, это любя такъ говорятъ въ причитаніяхъ, это съ жали, а ты говори за мной голосомъ, и кулакомъ то такъ бороду подопри, вотъ, да головушкой то и покачивай: Статенушка моя писаная»... Мамынька, да чтожъ мы съ тобой станемъ людей смѣшить, ужъ какая жъ ты статенушка! «Эхъ, Аннушка, а ты знай причитай за мною, такъ водится; да тутъ не ладно на печи—вотъ погоди ка я лягу на лавку подъ образа, а ты сядь въ ногахъ, да открой окошечко, да причитай за мною голосомъ». Вотъ она, сударушка моя, легла, и вытянулась, и оправилась одеждой, и руки скрестила на груди, и стали мы причитать голосомъ, громче да громче; она-то услаждается, а я то слезами обливаюсь, да ужъ волкомъ вою... Кто то услышалъ съ улицы, заглянулъ въ окно, сказалъ сосѣдямъ, народъ всполошился — тоже вѣдь не безъ добрыхъ людей: — сбѣжались, а мы съ мамынькой никого не видимъ, не слышимъ—побѣжали сосѣди за мужемъ, за попомъ—говорятъ: у Тихоныча въ два голоса воютъ, старуха померла—воетъ-то дочь, а другой кто? Анъ это сама, прости Господи, покойница и плачъ ведетъ, а та за нею! «Дура ты дура, что это дѣлаешь», закричалъ мужъ, тряхнувъ меня за плеча! Я тутъ только и опомнилась... гляжу, мамынька то сидитъ, а подлѣ отецъ духовный, разговариваетъ ее... Вотъ, барынька моя, до чего бабья то дурь доводитъ...

Барынька заслушалась кружевницы, которая плела красно и языкомъ, и вопросомъ о дѣтяхъ племянника ея развязала ей еще болѣе рѣчь.

— Малы еще, матушка, да пятеро, одолѣли; мну пору пристанутъ ко мнѣ; какъ пріѣдешь, да навѣ-

даешься съ чѣмъ Богъ послалъ, изъ своихъ то заработковъ — баушка, раззолотенькая, разскажи да разскажи сказочку! Вѣдь дѣти до сказокъ, что мухи до браги, падки; вотъ пристанутъ къ тебѣ, да осядутъ, словно рѣпьи — а я споконъ вѣку на сказки-тѣ не горазда, памяти знашь нѣтъ; вотъ и зачну сказывать имъ побывальщину про честную вдову, свѣтъ Аннушку — это про свою мать то-есть — какъ жила она своимъ молодымъ разумомъ, какъ она дѣтушекъ своихъ жалѣть жалѣла, а баловать не баловала, приграживала; тутъ и начну прибирать, чему насъ съ братцемъ то, царство ему небесное, матушка покойница учила: такъ и такъ, молъ, дурить не ладно, за это яга-баба въ мѣшокъ унесетъ, въ ступѣ утолчетъ; и на мать огрызаться не годится, языкъ присохнетъ; и въ чужой огородъ не лазить, тамъ сидитъ бабища-капустница, у нея голова качанная, руки морковныя, ноги рѣдечныя, сама въ рѣпьяхъ, хмелемъ подпоясана, въ рукахъ хворостина долгая, изъ-за угла стегнетъ,—а они слушаютъ, дышатъ, другъ на друга гляди, да на-усъ мотаютъ; ну и пойду сказывать, чтобы поразмять ихъ послѣ страху то: а дѣтки у нея, сестрица Аннушка съ братцемъ Иваномъ, жили мирно, любовно, совѣтно, и ссорушки межъ нихъ не бывало; и какъ они матушки своей родименькой не то, что подмогой были, а подростя и укрывомъ стали; какъ братца Иванушку, единымъ единаго вдовьяго сыночка, сиротинушку не въ чередъ въ солдаты сдали, за то, что заступиться было за него некому, а великъ желвакъ, да въ чужомъ боку не болитъ; какъ дядька братнинъ до него добръ былъ и домой пускалъ его, и самъ съ нимъ прихаживалъ, да и женился на Аннушкѣ; какъ онъ просьбу царю написалъ, что не по правдѣ отдали Аннушкина братца, старше его есть по волости, и тройниковъ, кои побогаче, обошли; какъ братцу царская милость, от-

ставка, вышла, черезъ годъ со днемъ, и воротился онъ домой, къ женушкѣ, къ доченькѣ, къ милымъ ея дѣтушкамъ, а нынѣ сиротинушкамъ; не долго пожилъ, сердечный, Богъ смиловался, прибралъ; какъ всѣ они послѣ того жили, поживали, горе мыкали, бѣды изживали; какъ дѣтки бабушки слушаются, а она Бога умоляетъ, на хлѣбъ дѣткамъ добываетъ...

И, разжалобясь сама надъ своею побывальщинкою, кружевница моя прослезилась и прибавила:

— Вотъ, матушка моя, сударынька, я и хожу по обѣту, за братцевыхъ внучатъ; что Богъ пошлетъ, за то и молюсь, а мужнинаго добра не извожу на нихъ, чтобы не слыхать покору отъ роденьки его...

7) ОБМИРАНЬЕ

Неисповѣдимы будущія судьбы Руси, а широко раскинулся материкъ ея, и много простору обнялъ одинъ языкъ, одна рѣчь, одинъ народный духъ. Много мерзости запустѣнія видится по грѣшному лицу ея, искаженіе внѣдрилось въ человѣчество и бродитъ въ немъ изъ поколѣнія въ поколѣніе; но вѣчнаго броженія нѣтъ, а упованіе не умираетъ... тутъ и тамъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ, кой-гдѣ, въ укромной тиши, среди потемковъ, искры, обдающія тепломъ и свѣтомъ—и повсюду Божеское Провидѣнье, не покинувшее доселѣ народа своего и отвѣчающее на безуміе премудростію: и въ такихъ то нежданныхъ искоркахъ отрадно разгадывать предвѣстника зари будущаго разсвѣта...

Чѣмъ дальше отъ столицъ нашихъ на югъ и на востокъ, тѣмъ просторъ становится шире, и еще много, много видится тутъ умственно впереди... Катишься по природному хрящу полотна, не устлана

дорога золотомъ, не полита потомъ, чтобъ желѣзо ѣла—какъ говорится о щебенкѣ, а такъ создана, какова есть; не глушитъ и пронзительный свистъ рыскающаго парового звѣря, не мчитъ онъ тебя вихремъ, такъ, что свѣта божьяго не видать, не кружитъ тебѣ голову отъ мелькающихъ столбовъ, рѣшетокъ, значковъ и будокъ, а скачешь и катишься раздольно, льготно, оглядываешься на частыя дубравы, на пологіе зеленые скаты, на крутые берега, на дальніе темные боры, на сѣдой придорожный ковыль, на стерлитамацкія мѣловыя горы, на синее плесо Бѣлой, мелькнувшее внезапно съ темени взлобка...

Такъ и я скакалъ когда то, и коренной обитатель этой дикой, обильной стороны, башкиръ, поматывалъ кнутикомъ и тянулъ, уныло завывая, тоскливую пѣсню свою. Дымокъ по ясному небу издалече указалъ жилье, и это былъ городокъ, населенной казаками, мѣщанами, торгашами, немногими татарами и должностными по управленію лицами, окруженный хорошими селами, скопомъ переселенцевъ изъ десятка малоземельныхъ губерній, даже изъ Украйны. Подъѣзжаемъ вскачь, во весь духъ—коли дымкомъ запахло, то башкирской тройки на лычныхъ вожжахъ не удержишь—гляжу—и сюда, и въ эту глушь забрались былые порядки, и тутъ у въѣзда стоитъ застава, хотя огорожи нѣтъ никакой, и въѣздъ во всѣ улицы вольный; но караула нѣтъ, очепъ высоко приподнялъ журавлиный носъ свой, расписанная клѣтками будка пуста; изъ нея торчитъ солома, вокругъ бродятъ телята и гуси, а рѣзвая коза, вскочивъ на очепъ, осторожно пробирается по немъ въ гору, сама не зная, зачѣмъ: вѣроятно, какъ англичанинъ, чтобы побывать тамъ, гдѣ еще никто не бывалъ. Всѣ улицы идутъ прямо внизъ, къ рѣкѣ, и башкиръ промчалъ меня на лыкахъ подъ гору съ трудомъ заворотивъ по запоздалому крику моему

лошадей и подъѣхавъ большимъ кругомъ къ указанному ему домику съ зелеными ставнями. Я ѣхалъ по службѣ, и эти зеленыя ставеньки были издавна суточнымъ пріютомъ моимъ на перепутьѣ.

Старушка, но еще крѣпкая и здоровая, съ засученными по локоть рукавами, съ кулаками въ мукѣ, хлопотливо выглянула изъ сѣнецъ на деревянное крылечко и разсыпалась въ привѣтливыхъ причитаньяхъ.

— Ахъ ты негаданный, желанный! Вотъ, кого Богъ принесъ! Что давно не бывалъ? А у меня седни пирогъ съ бѣлорыбицею, да ботвинья съ провѣсною, вотъ словно ждала дорогого гостя!

Старуха обнялась со мною и повела за руку чрезъ высокій порогъ въ свѣтелку. Тутъ все по-старому: широко разраслась розанель по окнамъ, а между нею тычкомъ стоятъ бальзамины, вѣчно въ цвѣту; столикъ съ синею салфеткой, посреди которой сидитъ затканный бѣлый пѣтухъ, окруженный лавровымъ вѣнкомъ; желтый ситцевый диванъ, съ котораго, ради гостя, спѣшно сдернули чехолъ, и явились мирныя картины возвращенія въ свои семьи ратниковъ изъ-подъ француза: вездѣ объятія, хлѣбъ-соль, веселье, и, право, Авдотья Власьевна не могла подобрать лучшаго картиннаго узора для своего дома.

Хозяйка моя была женщина замѣчательная, а я зналъ ее уже давно. Все насущное имущество свое она заработала колотьбой и трудомъ, здравымъ смысломъ и оборотливостью; правда, мужъ оставилъ было ей на хлѣбъ и на одежу, оставилъ ей и тесовую кровельку, подъ которою жилось уютно, да зятекъ сумѣлъ объѣхать тещу на кривыхъ, прочитавъ полуграмотной довѣренность на заборъ товара для торга на сотню рублей, а давъ подписать дарственную запись на домъ, на скотъ и на деньги, которыя ею розданы были, по обычаю, въ ростъ. Доброе дѣло это

обнаружилось для Авдотьи Власьевны не прежде, какъ когда уже зятекъ, прогулявъ все, сталъ безъ обиняковъ гнать ее изъ дому. Кромѣ этой замужней дочери, у нея былъ еще малолѣтній сынъ, которому она и прочила имѣньице свое. Понявъ, въ чемъ дѣло, узнавъ, что всѣ долги давно собраны зятемъ, и что сама она живетъ въ чужомъ домѣ, Авдотья Власьевна долго не думала; по ея убѣжденіямъ, нельзя было не разругаться за это съ зятемъ, а затѣмъ надо было позаботиться о себѣ и о сынѣ.

— Гдѣ у тебя Богъ твой, — сказала она зятю: — аль ты думаешь, что Онъ каинскихъ дѣлъ твоихъ не увидитъ? Увидитъ онъ все, зятекъ, помяни меня, не дастъ онъ младенца въ обиду, не оставитъ его безъ пріюта; а ты, да я еще и глазъ своихъ не закрою, какъ ты накланяешься братцу своему, отопчешь пороги его! А ты, донюшка, не величайся своимъ гильдействомъ, а знай: коли твоя вина тутъ есть въ этомъ дѣлѣ, то и ты недолго набарствуешь, радехонька будешь братскіе полы подмыть!

Кончивъ такимъ образомъ эти разсчеты, Авдотья Власьевна перекрестилась, вышла съ ребенкомъ изъ дому и дала зарокъ: не знать покоя ни днемъ, ни ночью, покуда не воротитъ сыну отцовскаго наслѣдья.

Водворившись у кумы, она первые дни провела не безъ дѣла, поминая зятька не добромъ, по поводу бесѣды съ совѣтчиками и соболѣзнователями, которыхъ было не мало. Но, поуспокоясь и сказавъ: Богъ съ нимъ, она ободрилась, сосчитала небольшія деньжонки свои и рѣшилась торговать для заработковъ. Доселѣ она была домостройка, скопидомка, славилась умѣньемъ печь пироги, да готовить суточныя щи, кои замораживались и снова переваривались, а теперь принялась за торговлю въ разъѣздъ: купивъ пару добрыхъ коней и справивъ двѣ упряжи, она поѣхала съ двумя возами

орѣховъ, на кои въ тотъ годъ былъ урожай, въ Оренбургъ, и взяла съ собой сына и еще работника. Это городъ степной, гдѣ дынь и арбузовъ много, а орѣховъ нѣтъ; Власьевнѣ едва дали стать на базаръ, какъ уже молва разнеслась по городу, что орѣхи въ привозѣ, и двѣ подводы очистили, расхватали ихъ до скорлупки. Одну телѣгу нагрузила она арбузами, кишмишомъ и урюкомъ, да бухарскою красною выбойкой, которую народъ такъ любитъ за дешевизну и прочность ея, потому что она въ носкѣ мало уступаетъ холсту. И Власьевна не довезла своего товара до-дому, все дорогой разобрали: на ягоды кидались торговые люди, для развозки по сельскимъ базарамъ, а на выбойку бабы, въ каждомъ селеніи. Воротясь съ пустыми возами и одними гостинцами кумѣ во-свояси и встрѣченная вопросами о томъ, какъ Богъ помогъ, она только смѣючись головой поматывала да отмахивалась руками. «Ты нишни у меня, молчи», приговаривала она сыну, «небось, Господь сироты не покинетъ!» И опять поѣхала она съ орѣхами да съ возомъ лука, и такъ же вернулась съ бухарскимъ товаромъ, а по первозимью повезла орѣховаго масла, меду, соленыхъ груздей—всего этого нѣтъ въ степномъ мѣстѣ — а воротилась съ уральскою рыбой и икрой, товаромъ дорогимъ, который перекупленъ былъ у нея купцами и пошелъ въ Уфу.

«Никакъ обозы Авдотьи Власьевны пришли!» говорили шутники, когда ночной скрипъ полозьевъ раздавался длительно подъ окнами. «Да, отвѣчалъ другой, поди вотъ, какую силу забрала, вѣдь скоро въ городѣ у насъ купца не будетъ съ оборотомъ противъ нея!»— «Старательна больно, замѣтилъ третій, да смышлена, опять же, знать, и Господь постоялъ за сироту, вѣдь ужъ больно пьянюжка этотъ обидѣлъ старуху!» «Крѣпка въ словѣ, объяснилъ еще другой, сроду никого не об-

манывала, да и сына тому же учитъ, вотъ съ нею и торговые всѣ лучше дѣла-тѣ дѣлаютъ, чѣмъ съ любымъ купцомъ; барыши барышами, да вѣдь на торгъ они съ убытками на одномъ полозу ѣздатъ; нашъ братъ, малосильный, чуть подойдетъ, по грѣхамъ своимъ, ну и кинуться всѣ нарасхватъ, и подшибутъ; а, вишь, ей вѣрятъ, не жмутъ, все только кланяются, почетъ отдаютъ, знаютъ, что всѣ сроки исполнитъ». — «Вѣстимо, отозвался еще одинъ горемычнымъ голосомъ, безъ вѣры не торговля, а колотьба; мошну-то убьешь на товарѣ, а перехватить-то и нечѣмъ!»

И доѣздилась таки Авдотья Власьевна до того, что выкупила родовой домикъ свой, пропитый разгульнымъ зятемъ, исправила, ухитила его, убрала уютно, записала сына въ гильдію, передала ему всю торговлю, наказавъ ему не поминать зятька лихомъ и считать нажитое ею за отцовское наслѣдье. Поправивъ и устроивъ дѣла такимъ образомъ, она сама усѣлась на покой. Ей черезъ улицу шапку сымали, а, къ обѣднѣ идучи, она едва поспѣвала на всѣ стороны раскланиваться.

— Что тебя, Власьевна, давно не видать на нашей сторонѣ?—спросилъ я:—аль по рыбу болѣ не ѣздишь?

— Полно мнѣ, старой бабѣ, по большимъ дорогамъ мыкаться, слава Богу свое дѣло сдѣлала: за свою простоту потрудилась, чужой грѣхъ покрыла, отцовскимъ благословеньемъ сынка не обидѣла, стало быть, Господь милостивъ къ намъ; пусть теперь Прокопій Андреевичъ самъ за себя постоитъ; я всѣ дѣла ему передала, пусть самъ заправляетъ.

— А гдѣ же у тебя Проня?—спросилъ я.

Старуха зорко на меня поглядѣла, хитро прищурилась и шопотомъ сказала:

— На слѣдъ краснаго звѣря напалъ, такъ вишь порошей выслѣживать поѣхалъ!

— Вотъ какъ, среди краснаго лѣта да порошей! Это ты, Власьевна, загадками глаза отводишь? На какого жъ онъ краснаго звѣря позарился, сказывай!

— А кто его знаетъ, на чернаго ль соболя, на бѣлую ль горностайку, его воля—вотъ увидимъ.

— Ну, дай Богъ любовь да совѣтъ, коли такъ, вотъ и Проня твой заживетъ не получеловѣкомъ, малый онъ славный, да ты же его добру и учила; а по нраву ль тебѣ невѣста?

— Тебѣ вотъ все до ноготка, всю запазушную разскажи! Ему вѣдь жить съ нею, а мнѣ только глядючи радоваться; сказываютъ, не то, чтобы въ окно подать, а хоть кому на ладонкѣ поднести: и умница какая, и до сиротства жалостлива; предъ Пасхой, сказываютъ, отцу насупротивничала, а все изъ-за этого жъ дѣла: ты, тятенька, говоритъ, мнѣ мантона-то не справляй, мнѣ не надо, а ты вотъ бѣдняковъ этихъ пристрой! А отецъ-то, сказываютъ, нравный такой, а дочь-ту любитъ, ну и выпросила-таки, отецъ старшаго парнишку, сироту, къ себѣ въ лавку взялъ, и о другихъ позаботился. Ужъ далъ бы Господи этому дѣлу устроиться, такъ бы я поглядѣла еще, поколѣ Богу угодно, на голубчиковъ своихъ, да и посылай Господь по-душу, да примай ее, милосердный... А ты не объѣзжай насъ и впредь, пусть и дѣтки порадуются тебѣ, а ты на нихъ!

Годъ спустя, о ту же пору я опять мчался по тому же пути; день былъ праздничный, и вся природа, казалось, праздновала его. Было тепло, но не знойно, тихо, но не мертвый застой; легкая встрѣчная тяга воздуха обдавала прохладой и незамѣтно уносила докучную путнику пыль, глаза свободно глядѣли на міръ Божій, ширяя по закрою, и чувство раздолья взды-

мало грудь. Бездна дичи оживляетъ здѣсь воздухъ, поля и лѣса: стаями сидитъ краснобровый полюхъ на любимой насѣстя своей, на сухой придорожной березѣ; думчиво тяжелый мошникъ покачивается на макушкѣ островерхой ели; шумно вырывается внезапно изъ-подъ ногъ боровой куликъ, подымаясь столбикомъ въ гору: по быстрымъ ключевымъ потокамъ, какъ тѣнь мелькая, стрѣлою проносится золотистая форель и пеструшка, не сближаясь потому только съ каспійскимъ осетромъ, что уваленъ этотъ обложенъ поголовщиной на уральское войско, и ему дорога къ верху перегорожена непропускомъ; но на почвѣ этой захожему гостю, оленю остяцкой тундры, случалось сталкиваться съ горбатымъ степнякомъ, караваннымъ верблюдомъ.

И опять-каки башкиръ промчалъ меня на лычной упряжи подъ гору, мимо обычнаго пристанища моего, зеленыхъ ставенекъ; я съ трудомъ вразумилъ упрямую тройку свою, что надо опять подняться въ гору, воротясь назадъ. День былъ праздничный, обѣдня отошла, улицы полны разряженнаго народа, всѣ завалинки усажены пестро и нарядно разодѣтыми казачками, мѣщанками и крестьянками, а мужчины, въ халатахъ и кафтанахъ въ накидку, расхаживали туда и сюда. На завалинкѣ, предъ домомъ съ зелеными ставнями — на коихъ увидѣлъ я обнову: расписные горшки съ цвѣтами—на завалинкѣ сидѣла молодая чета, кровь съ молокомъ: Проня въ красной канаусовой косовороткѣ, въ черныхъ плисовыхъ шароварахъ, а молодая его, статная, свѣтлорусая, такъ и сіяла въ шелковыхъ переливахъ: голова ея повязана была *малою* или *гладенькою головкой*, купеческою повязкой; кончики косынки надо лбомъ продѣты были въ алмазный перстенекъ, а сверхъ васильковой головки этой накинутъ былъ легкій кисейный платочекъ, захлеснутый концами

подъ бородой. Съ дѣтскимъ любопытствомъ глядѣла она на чужого пріѣзжаго во всѣ глаза, а Проня, узнавъ гостя, бросился высаживать его изъ тарантаса, подозвалъ жену, крикнулъ въ окно матери; «ничего, Серафимушка», продолжалъ онъ, когда та, потупясь, чинно раскланивалась, «подойди да поцѣлуйся съ гостемъ, ничего, баринъ знакомый, вотъ какой знакомый, ровно свой!» Проня нудилъ меня въ избу, ухватилъ чемоданъ мой, напирая имъ на меня, изъ усердія, сзади, а тутъ выбѣжала старуха, и обнимаясь, всхлипнула, но удержалась, и стараясь подавить чувства свои, суетливо повела подъ укромную стрѣху свою. Это бурное волненье и взрывъ не могли быть вызваны, какъ прямою причиной, моимъ пріѣздомъ, и я оглядывался съ какимъ-то безпокойствомъ. Вошли и сѣли, праздничный самоваръ не только былъ уже на столѣ, но, казалось, уныло допѣвалъ протяжную пѣсенку свою, собираясь уснуть, да и въ хозяевахъ было что то молчаливое, тоскливое, неловкое; старуха говорила коротко и сухо, и какъ будто даже обликъ ея измѣнился; сынъ молча вздохнулъ разъ и другой; невѣстка, потупя очи, робѣла, и, унося допѣвающій самоваръ, боязливо покосилась на свекровушку свою, не зная, угодное ли ей дѣлаетъ.

Мнѣ стало грустно. Кто же это изъ васъ, подумалъ я, и самъ потупя гляза, кто провинился, кто разрушилъ благодатный миръ и покой за зелеными ставеньками, на коихъ, будто напоказъ, расцвѣли алые и лазоревые цвѣты, между тѣмъ какъ за ними душа томилась, жизнь блекла? Вѣдь не ты же, прямой и добродушный парень, отъ котораго не было матери иного отвѣта, кромѣ: «какъ знаешь, матушка, воля твоя, какъ хотите»; вѣдь и не Серафимушка же, которая не красовалась бы этою кроткою умилкой на щекахъ, еслибы рушила и свой, и семейный покой;

такъ неужто же ты, чтимая всѣми, старая доброжелательница моя, разумная, богобоязненная, неужели ты сама подкапываешь и зоришь домъ, тобою воздвигнутый?

Между тѣмъ сосѣди дважды прибѣгали звать хозяевъ на вечеринки, но молодые тихо отказывались.

— Чего нейдете, — сказала мать: — я и безъ васъ гостя угощу, слава Богу, не впервые!

Я вздохнулъ. Не родительская рѣчь это, Авдотья Власьевна, подумалъ я, и не добромъ она звучитъ; знать, злой кикимора раздора вытѣснилъ твоего исконнаго сдружливаго домового и поселился за изразцатою печью, которая, бывало, такъ привѣтливо на меня глядѣла своими синими нехитрыми кувшинчиками, по три цвѣточка въ каждомъ!

Молодые ушли, но не какъ уходятъ на вечеринку, а будто изъ-подъ неволи, робко и грустно. Я сидѣлъ молча, вслѣдъ имъ глядя. Убравъ самоваръ, старуха сѣла подлѣ меня, какъ и въ былые годы, съ чулкомъ, и также молчала; казалось, мы оба придумывали, съ чего бы завязать бесѣду.

— Авдотья Власьевна, — спросилъ я безъ обиняковъ:—что это у тебя въ домѣ дѣлается?

— Чай, самъ видишь, что! пословица не спроста говоритъ: материно сердце въ дѣткахъ, а дѣтское въ камнѣ! Ужъ я ль его не любила, не жалѣла, ужъ я ль ему не была днемъ денною печальницей, въ ночь ночною богомольницей!

Договоривъ это черезъ силу, старуха вскликнула и горько зарыдала, накрывъ лицо руками. Знать, сильна была кручина, что одолѣла стойкую, крутую бабу и прорвалась обильными, жгучими слезами.

— Да скажи мнѣ на милость, — продолжалъ я, отводя мокрыя руки ея отъ залитаго слезами лица:— скажи мнѣ, Власьевна, что же это у васъ сталось,

какой некошный мутитъ въ домѣ? Кто причиной этого горя, вѣдь не Серафима же, тихая, кроткая, которую ты сама такъ хвалила...

— А въ тихомъ-то болотѣ бѣсы водятся,—горячо перебила она, и заплывшіе слезами глаза блеснули недобрымъ блескомъ.

— Власьевна, вѣдь не похожа Серафима твоя на гнилое болото, воля твоя!

Старуха вспылила такъ, какъ я не видывалъ— много, стало быть, наболѣло и накипѣло на этомъ горячемъ сердцѣ.

— Что бѣла да румяна, да бровь черна, такъ и не похожа! А что мнѣ въ красотѣ-то ея, не воду пить съ лица! Въ людяхъ красоваться, такъ было макомъ сидѣть, а пошла замужъ, такъ тутъ потѣшка иная, а про то забудь! Въ людяхъ смиренница, а дома змѣя запазушная! Нешто мы въ ордѣ живемъ? Да и тамъ старшихъ-то почитаютъ!

Я молчалъ, а Власьевна, послѣ короткой перемежки, продолжала:

— Тихоня она этакая, и сына-то отъ меня отворотила! Правду говорятъ, что по дочери зять помилѣетъ, а по невѣсткѣ сынъ опостылѣетъ! Таковъ ли онъ теперь до меня, каковъ былъ? Изъ рукъ моихъ глядѣлъ бывало, слова супротивнаго не слыхивала отъ него... Что, не вѣришь?—продолжала она, зорко въ меня вглядываясь:—да она, слышь, и въ дѣвкахъ-то тихоней, смиренница этакая, смотрѣла, а отца подъ свой норовъ гнела. Заартачится, говоритъ: не хочу я ничего, не хочу обновъ, а вотъ сдѣлай то и то; старикъ и самъ человѣкъ нравный, и туда, и сюда, нѣтъ, обойдетъ таки его, на свое поставитъ. Навязалась на нее какая-то лохмотница, попрошайка, да еще и съ ребятишками, и довела таки отца до того, что пристроилъ ихъ всѣхъ, кого куда! Вотъ пошла было она

и у меня верховодить, да нѣтъ, я ей воли не дамъ, я ей сразу всю правду-матку высказала, я вѣдь перегородя рыло, говорить не люблю. Вотъ она и притихла тебѣ, словно добрая какая, а шуры-муры пошли да пошли! Ты, чай, Пшеницыну Ѳеклу знаешь? Ну, хозяинъ ея, торгуя, перехватилъ вишь у меня объ Рождествѣ сотню, а на маслену Богъ по душу послалъ, померъ; хвать-похвать, денегъ нѣтути, товаръ по рукамъ розданъ, стали допрашивать хозяйку—а та что, вѣстимо бабье дѣло, кромѣ печи да запечья ничего не вѣдаетъ! Какъ у нихъ тамъ дѣло было, не знаю, только потянули заимодавцы Ѳеклу мою во всѣ стороны, извѣстно, кому своего не жаль! Она и приходитъ ко мнѣ плакаться, да рѣчь заводитъ о сиротахъ, а у меня тутъ и безъ нея на сердцѣ накипѣло; я ей и говорю: Да мнѣ что, Ѳекла Андреевна, дѣти твои, а деньги-то мои. Гляжу, а моя-то, что вишня, раскраснѣлась, съ назолу на меня: вотъ и пошла она сгоряча, не то уламываетъ меня, не то учитъ уму-разуму. Зло взяло меня, я и говорю: знаемъ мы, невѣстушка, что ты изъ молодыхъ да ранняя, только ты мнѣ въ моемъ дому не указчица: мы твоихъ то золотыхъ горъ еще не видали, а нашимъ добромъ не распоряжайся. Опять смолчала Серафима Ивановна, а какъ пошла отъ меня Ѳекла, гляжу, встала за нею невѣстушка моя, я пождала, да и сама пріотворила дверь въ сѣнцы, и слышу голосъ ея: «ты де, тетушка, не кручинься, съ малолѣтнихъ сиротъ отцовскихъ долговъ до возраста искать не станутъ, а я вотъ упрошу свекровушку свою за тебя, и мужа просить стану, онъ послушается меня...» Ладно молъ, красавица моя, ладно, гдѣ сладкою рѣчью не возьмешь, тамъ змѣей прошипишь! И, хлопнувъ дверью, я пошла къ себѣ. Что она тамъ послѣ сынку моему насказала, не знаю, не была я при томъ, и грѣшить не хочу; только сталъ онъ отъ меня отшаты-

ваться, и ее-то съ собою уводитъ, а коли дома, то словно всякое слово мое сторожитъ, ровно ее оберегаетъ отъ вѣдьмы какой, прости Господи! А мнѣ что: коли мать-родительница черезъ эту смиренницу опостылѣла, такъ и Богъ съ нимъ! — Такъ закончила съ притворнымъ равнодушіемъ, обманывая самое себя, огорченная старуха.

Но изъ всѣхъ словъ этихъ я убѣдился, что эти семейные нелады, прямо ведущіе ко враждѣ непримиримой, основаны на однихъ только вздорныхъ, пустыхъ недоразумѣніяхъ, въ коихъ, несмотря на всѣ достоинства свои, виновата одна Власьевна. Съ горячею любовью хлопотала она о женитьбѣ сына, готова была, для счастья его, на всякую внезапную жертву, но не уяснила себѣ будущаго положенія и отношеній своихъ, а положившись на Бога, что-де авось все пойдетъ тогда хорошо, сама не приняла на себя для этого никакихъ обязательствъ, не сознавала никакой перемѣны въ домѣ, глядѣла на невѣстку, какъ на новую картинку, прилѣпленную къ стѣнѣ, безгласную, нѣмую, а на сына, какъ на того же беззаботнаго парня, котораго надо ростить, холить и поучать, ни въ чемъ не давая воли.

Пока сердце человѣка не затронуто страстью, не распалено, оно судитъ и рядитъ здраво, не только по разсудку, но и по вѣрному чутью; тутъ умъ и сердце заодно, раздору нѣтъ, благодатный миръ покоитъ чистую совѣсть; но коль скоро кремневая самотность дастъ искру о стальную грань внѣшняго міра, и вспышка распалитъ сердце, то оно становится слѣпо и глухо, и тупо къ мудрой правдѣ, оно слышитъ только себя, оно ненавидитъ все, что не можетъ съ нимъ согласоваться, и впадаетъ въ безуміе. Своей вины мы никому не прощаемъ. Давно ли старушка моя, умная и добрая, хвалилась благостыней Серафимы,

давно ли ставила ей милосердіе въ великую заслугу, говорила, что заступнику нужныхъ самъ Богъ пособникъ, а теперь, позабывъ рѣчи свои, тѣ же дѣла ставитъ ей въ укоръ, ненавидитъ ее за нихъ и гонитъ со свѣту.

— Авдотья Власьевна,—сказалъ я наконецъ: — не знаю самъ, что тутъ говорить, это васъ некошный помутилъ: помолимся Богу, дай, я васъ помирю!

Старуха встала съ мѣста и повторила:

— Ты помиришь? нѣтъ, отецъ родной, — продолжала она съ твердостію:—ни ты, ни кто живой человѣкъ не помиритъ насъ, а развѣ одинъ только Господь.

— Подлинно такъ, Авдотья Власьевна, — отвѣчалъ я:—дѣло это Божье, не наше. Горе горькое выжало изъ меня бахвальную рѣчь эту, а самъ я вижу, что тутъ человѣческимъ умомъ ничего не сдѣлаешь.

Скучно показалось мнѣ въ этомъ доселѣ радушномъ домикѣ, будто я попалъ въ чужіе люди, на чужое мѣсто, и самъ сталъ не свой. Я послалъ за лошадьми; почти молча мы простились со старухой — слезы душили ее, и смутная дума потянулась вслѣдъ за мною: уныло вторилъ ей поддужный колокольчикъ, по звуку болѣе сходный съ боталомъ, въ которомъ по временамъ путалось и заплеталось клепало, обличая неровную побѣжку коренной.

Смерклось вовсе, и мы катились по дорогѣ, что по полотну, молча. Наконецъ возница мой соскучился и, оглянувшись, спросилъ: *юрланм-ме?* запѣть, что ли? Юрлай, — отвѣчалъ я, будто проснувшись въ раздумьи,—пой, твой волчій вой не будетъ рознить со строемъ души моей. Башкиръ будто мѣхомъ потянулъ въ себя дыханье, позадержалъ его и залился плачевнымъ, высокимъ голосомъ, словно издали по вѣтру донесся звучный стонъ, подъ конецъ замиравшій; затѣмъ послѣдовалъ однообразный напѣвъ, на слова мѣстнаго,

народнаго сочиненья: «Сакмаръ быстра, бреуна тулста, икмякъ да іокъ, капралъ да сокъ! [1]) И наконецъ дѣло завершилось начальнымъ протяжнымъ воемъ.

Не развеселила меня эта пѣсня, сложенная, какъ всѣ народныя пѣсни, никѣмъ, хотя и поется всѣми. Отчего же самый благонамѣренный, ретивый и честный начальникъ покидаетъ за собою такую память? Отчего, спрошу прямо, изъ столькихъ десятковъ перемѣнныхъ начальниковъ губерній нѣтъ ни одного, о комъ бы на мѣстѣ большинство отозвалось признательно и любовно? Издали указываютъ, какъ бы завидуя другъ другу, на того или другого съ похвалой; бывалыхъ и давнихъ иногда поминаютъ добромъ; но на лицо не бываетъ. Былъ одинъ такой, близкій мнѣ человѣкъ, такъ скоро надорвался, обезумѣлъ, и Богу душу отдалъ. Былъ и другой, такъ этого довели до неистовства, и онъ сталъ править кулаками. Зналъ я и третьяго: онъ честно бился, до изнеможенья, а потомъ сталъ править, отписываясь и разсчитывая, сколько ему осталось служить до пенсіи. Сквозь трущобу корысти, бездушной лѣни, несознанія за собой никакого долга, сквозь грязный слой привычной, обиходной лжи, сквозь цѣлыя горы письма не пробьешься, ни снизу, ни сверху; задавленные всѣмъ этимъ, мы ждемъ только большихъ оказій, чтобы прокричать ура, задать обѣдъ на славу, и очень заботимся о томъ, чтобы праздникъ этотъ,

---

[1]) Лѣсная и дровяная торговля въ степномъ Оренбургѣ была въ однѣхъ рукахъ, и цѣны, какъ полагали, произвольны и высоки; чтобъ устранить это зло, основана была казенная дровяная торговля, со сгономъ лѣса башкирами, по наряду. Дѣло кончилось обогащеньемъ нѣсколькихъ казачьихъ чиновниковъ, обнищаньемъ многихъ башкиръ, большою смертностію въ сгонныхъ командахъ, еще большею противу прежняго дороговизной дровъ, и разореньемъ лѣсопромышленника, который кончилъ жизнь свою въ землянкѣ, на кладбищѣ, гдѣ поселился божедомомъ и хоронилъ своими руками покойниковъ, во время страшнаго холернаго мора. Память его жива донынѣ и проживетъ долго.

прощальный или встрѣчный, праздникъ, на которомъ мы забылись и перевели духъ, былъ обстоятельно пропечатанъ во всѣхъ вѣдомостяхъ. Этому описанію задушевности никто не вѣритъ, никто и не дочитываетъ, но дѣло закончено въ порядкѣ и сдано въ архивъ...

На какой безтолковый бредъ, однакоже, навела меня заунывная пѣсня башкира, которую я, будучи не въ духѣ, назвалъ волчьею пѣсенкой! Но дѣло въ томъ, что года черезъ три, четыре послѣ этого со мною сталось то, что, говорятъ, со многими бываетъ: внезапно мелькнуло во мнѣ чувство, будто я вторично переживаю какое-то мгновеніе прошлаго, будто все, что во мнѣ и со мною, сбывается вторично. Я быстро оглянулся, и увидѣлъ, что ѣду ночью на башкирской тройкѣ, что возница, въ островерхой валяной шапкѣ, завываетъ: «Сакмаръ быстра, бреуна тулста»; мало того, увидѣлъ, что подъѣзжаю къ тому же мѣсту и вскорѣ помчусь подъ гору, къ домику съ зелеными ставнями!

Нечаянная встрѣча задержала меня однакоже на нѣсколько часовъ по сосѣдству, и знойное солце стояло уже высоко, когда я остановился у знакомыхъ воротъ, задвинутыхъ, на сей разъ, будто никого не было дома, да и въ окнахъ, несмотря на почтовый колокольчикъ, никто не показывался. Я вошелъ въ калитку, взошелъ на крылечко и оглянулся: сѣнцы усыпаны были свѣжею, пахучею травой, на коей сидѣла краснощекая, бѣлокурая дѣвочка, заботливо выбиравшая синіе колокольчики, алый душистый горошекъ, бѣлую кашку, укладывая ихъ ворохомъ у себя на колѣняхъ и напѣвая про себя: «Алый цвѣтъ, алый цвѣтъ, скажи, любишь или нѣтъ?» Глядя на такого ребенка, мнѣ всегда думается: сколько мира и непорочности дается человѣку въ задатокъ будущности его, какъ свято и цѣло блюдется онъ, доколѣ еще сердце и думка не рознятъ

между собою, и какое бурное волненье въ немъ возникаетъ съ того часу, когда онъ начинаетъ сознавать личность и самостоятельность свою! Какое врожденное сочувствіе къ этому мирному младенческому быту отзывается въ тайникѣ души каждаго, утратившаго это состоянье, даже въ самомъ грубомъ и черствомъ сердцѣ!

— Здравствуй, дитя,—сказалъ я тихимъ голосомъ, чтобы не всполошить ребенка. Малютка вскинула на меня ясные каріе глаза, въ коихъ отчетливо отразился взглядъ матери ея, а обликъ въ губкахъ и умилкѣ на щекахъ.—Здравствуй, — повторилъ я, переступая порогъ; дѣвочка вскочила, тихо проговорила: «здравствуй,» кивнула головкой и попятилась.—Какъ тебя зовутъ?

— Внука, Душарка, — проговорила она и бросилась бѣгомъ мимо на дворъ.

— Гдѣ бабушка? — кричалъ я ей вслѣдъ, но Душарка, оглянувшись на меня и ничего не отвѣчая, вскочила черезъ растворенную калитку въ огородъ и скрылась въ густомъ, росломъ бурьянѣ. Я глядѣлъ ей вслѣдъ, съ высокаго крылечка, изъ-подъ навѣса на рѣзныхъ столбикахъ: трава раздавалась и колыхалась надъ головой бѣглянки, струясь за нею, какъ вода за ныряющимъ утенкомъ. Пошедши этимъ слѣдомъ, я услышалъ зовъ ея: «баба! баба!» Все вокругъ меня было въ полномъ ростѣ: въ воздухѣ стоялъ запахъ укропа, огурцовъ, медунки и липы въ цвѣту, подсолнухи подставляли щедровитое лицо свое прямо подъ палящіе, знойные лучи; янтарная смола топилась и висѣла ожерельемъ на золотыхъ лепесткахъ; подъ липами и старою, нависшею ивой стояли ульи, пчелы дружно гудѣли цѣлыми роями; нѣжась на солнцѣ, носились онѣ надъ высокою травой, избирая себѣ между пестрыми головками лакомый присѣстъ; кузнечики трещали вокругъ въ своихъ закоулкахъ; звонкій, одно-

образный напѣвъ иволги раздавался въ концѣ огорода, гдѣ густая посадка ивъ указывала на болотистый ручей. «Баба! баба!» продолжала покрикивать визгливымъ голоскомъ малютка, и на грядахъ, какъ изъ земли выросла, явилась привставшая Авдотья Власьевна. «Асеньки?» откликнулась она ласково, протянувъ руки къ бѣгущей встрѣчу дѣвочкѣ, съ трудомъ выбравшейся изъ высокой травы и прыгавшей по грядкамъ: «асеньки мои!» Старуха подхватила внучку, вскинула на лету ее высоко и, уложивъ на руки, зацѣловала.

— Здоровенько ли живешь, Власьевна!—крикнулъ я издали. Она стала всматриваться въ меня, застѣнивъ глаза отъ палящаго солнца ладонью Я подошелъ вплоть къ ней, прикрывъ лицо шапкой, и вдругъ спросилъ:— не признаешь что ли?

— Ахъ родимый, баженый, моленый! То-то слышу я, голосъ знакомый, словно свой, а въ лицо то и не признаю, супроти солнца, а въ глазонькахъ то свѣтъ ужъ тусклый, родименькій, старость приходитъ, хоть хворать больно не хвораю, да ужъ ветшаю; а все Бога благодарю!

Пошли мы въ избу; догадливый ямщикъ, не дожидаясь распорядковъ, вкатилъ тарантасъ мой подъ навѣсъ и отпрягъ коней.

— Проня дома у тебя?—спросилъ я:—аль въ торговлѣ?

— Нѣтъ, уѣхалъ съ невѣстушкой на богомолье, къ Девятой Пятницѣ.

Замѣтимъ, что эта явленная икона Богоматери, на девятую пятницу послѣ Пасхи, обходитъ полгуберніи, и къ этому кочевому шествію стекается бездна народу со всѣхъ сторонъ, и каждое населенное мѣсто всѣмъ населеніемъ своимъ провожаетъ ее отъ себя до ночлега.

— Мои со вкладомъ поѣхали, — продолжала старуха, таща за собою дѣвченочку, которая, то подпрыгивая, то волочась по землѣ, мурлыкала пѣсенку:— говорятъ, надо-де Бога благодарить за милосердіе Его. Пойдемъ-ка, Душарока, да самоварчикъ поставимъ для любаго гостя, чайку заваримъ!

— Ну, Авдотья Власьевна,—сказалъ я:—у тебя растетъ внука-безприданница; гляди, какая красоточка будетъ!

Старуха радостно улыбнулась, по привычкѣ своей повертѣла отъ удовольствія головой и съ нѣжностію сказала:

— Вся въ мать, вотъ вылитая Серафимушка! Младенецъ смиренный, жалостливый, что хошь попроси, все отдастъ, изо-рту пряникъ вынетъ, отдастъ, какъ есть мать!

Эта рѣчь изумила и умилила меня до крайности: стало быть, въ эти годы много пережито въ этомъ домикѣ; нѣтъ слѣда безнадежнаго, отчаяннаго раздора, надъ коимъ и вчужѣ надрывалось сердце, господствуетъ любовь да совѣтъ... Молча я призадумался и потупилъ сидя глаза, будто боялся разочароваться. Между тѣмъ въ кухонькѣ подлѣ, несмотря на притворенную дверь, раздавалось сопѣнье кузнечнаго мѣха: это Авдотья Власьевна раздувала самоваръ, а по временамъ слышался тонкій голосокъ Душарочки

— Стало быть васъ внука помирила и внесла благодать въ семью;—сказалъ я наконецъ управившейся съ самоваромъ хозяйкѣ.

— Нѣтъ, не внука; хоть и ангельская душа, а не она; сказывала я тебѣ, коли помнишь, что, кромѣ Бога, никто не помиритъ—такъ оно и вышло: это какъ есть, дѣло Божье! кабы не Онъ, не Его милосердіе, мыкали бъ мы горе по вѣкъ свой. Ну, дай срокъ, я все разскажу тебѣ, безъ утайки, что и какъ было.

Усѣвшись за самоваръ, я разъ-другой отъ нетерпѣнья закидывалъ словечко про это дѣло, но Авдотья Власьевна, кивнувъ головой, отвѣчала только: «дай срокъ!» Наконецъ, убравъ самоваръ и уложивъ Душарку спать, она задумчиво усѣлась противъ меня, подперлась локтями, уставила глаза прямо на меня, и начала:

«Чай слыхалъ ты поговорку: сердитая кобыла на возъ, а претъ его и подъ гору и въ гору? Вотъ такъ-то и мнѣ жилось въ домѣ, всѣ опостылѣли, и невѣстка, и сынъ по ней, и не глядѣла бы на Божій свѣтъ. Встанешь ранкомъ, и лба не перекрестишь, а ужъ она тутъ; и утромъ вмѣстѣ, и въ обѣдъ вмѣстѣ, и вечеръ вмѣстѣ—хоть въ землю уйти, одна бъ отрада была! Ину пору и словечка не молвитъ, а все кажись поперекъ стоитъ, только душу мутитъ. Такъ маялась я изо дня въ день, доколѣ Господь не смиловался надо мной. Вотъ Онъ, душеспаситель мой, и послалъ мнѣ немочь, болѣзнь смертную, и ужъ вижу я подъ конецъ сама, что умираю. Дай, поколѣ еще Богъ памяти не отнялъ, распоряжусь всѣмъ добромъ своимъ, пусть и по насъ поживутъ, не поминаючи насъ лихомъ; не обидѣла я и дочки, хоть зятекъ ужъ никуда не сталъ годенъ, и еще кой-кого помянула, и расписать все велѣла сынку, а остальному всему онъ же самъ законный, прирожденный наслѣдникъ остался; позвали отца духовнаго, и онъ руку приложилъ; пріобщилась я и поновилась отъ него, послѣ исповѣди, святымъ причастіемъ, и говорю; вотъ, молъ, и слава Богу, совсѣмъ; и дѣтей благословила, да ужъ почитай слова не могла вымолвить, сталъ языкъ отниматься и память обмирать.»

— Понимаю, Власьевна, стало быть тогда то ты съ Серафимой простилась и помирилась,—сказалъ я.

«Не мирилась я, грѣшная, ни съ кѣмъ, — отвѣчала горячо старуха: — а ты слушай: мнѣ думалось, что

обидѣли меня дѣти, что Господь взыщетъ съ нихъ за это, а мнѣ попомнитъ, какъ я Ему денно и нощно печаловалась! Ты слушай: вотъ и стало мнѣ къ утру таково тяжело, гдѣ-гдѣ дохну; да и то не во всю грудь, привалило, вишь; и сталъ у меня послѣдній вздохъ поперекъ груди, ни туда, ни сюда, ни живота, ни смерти, и очи мои закатились, и обмерла; ни губами, ни пальцемъ однимъ не пошевелю, бровью не поведу, все во мнѣ замерло, и слышала я, какъ послѣдняя, горячая струйка крови пролилась, сердце стало, не бьется, сама не дышу — вотъ она смерть какая бываетъ, подумала я,—прими, Господь, грѣшную душу мою! И умерла!

«Вотъ лежу я, покойница, и думаю себѣ: гдѣ же я это, на этомъ свѣтѣ или на томъ? Словно ангелы небесные ликуютъ вкругъ меня, да не близко, издалече, а ничего не вижу. Тутъ послышалось что-то около, будто голосъ сосѣдкинъ: преставилась сосѣдушка наша, помяни Господи во царствіи твоемъ душеньку рабы твоей Евдокіи! Прибѣжали сынъ и дочь, а невѣстка въ ту пору по родамъ въ постели лежала, ее сынъ не пустилъ; поднялся плачъ, вой, причитанья— а я лежу, словно каменная, ни живчика во всемъ тѣлѣ моемъ нѣтъ — и словно мнѣ ихъ и не жаль; слышу, руки мнѣ складываютъ, обмывать собираются, — чтожъ это, и вправду, неужто такъ люди умираютъ? Пришелъ и зятекъ, поглядѣлъ, видно, постоялъ, и слышу, говоритъ: «и заживо мало радости отъ нея видѣли, и померла, горе не велико!» Тутъ сторонніе люди корить стали его, а меня, дай Богъ имъ здоровья, добромъ помянули. Такъ-то лежа, я тутъ много чего наслушалась, а все-таки, видно, люди Бога боятся, больно лихомъ не поминали! Народъ поразошелся, все стихло, и сынокъ ушелъ готовить, что нужно, матушку свою хоронить — вотъ я слышу, кто-то крадучись проби-

рается ко мнѣ въ горницу, словно по стѣнкѣ бредетъ, и стонетъ про себя, да, подошедши къ кровати, бухъ на меня, прямо на грудь ко мнѣ, и охватило меня что-то горячими руками, и припало къ лицу горячимъ лицомъ; а слезы, кипень кипнемъ, варъ варомъ, что капель вешняя со стрѣхи, такъ на меня ливмя полились, и на щеки, и на грудь, и на лицо. Господи, думаю, что это такое? Аль доченька горемычная опять вернулась, чтобъ одной по себѣ наплакаться? Слышу, всхлипываетъ, да шопотомъ причитаетъ; что, молъ, голосъ ровно Серафимушкинъ, а чего ровно, она и есть! Она, сердечная, съ ложа мукъ и болей встала, и ноги не держатъ, а приплелась, какъ все въ избѣ опустѣло, приникла жаркимъ ликомъ на грудь ко мнѣ, и истекаетъ слезами... «Мамонька моя родимая, открой ты свои грозны оченьки, погляди ты, каково-то мнѣ безъ тебя горькимъ горькошенько! Видитъ ли душенька твоя правду мою, все нутро мое, ты видишь ли, вѣришь ли злой невѣсткѣ своей?» Такъ-то голося, она все крѣпче и крѣпче ко мнѣ припадаетъ, такъ и прижимается... Ну, отецъ родной, что со мной дѣялось тогда, не дай Богъ и ворогу-татарину, ни другу, ни недругу! Стало меня ретивое корить, адскимъ огнемъ палить, и жалость одолѣла смертная, жалость такая, что вотъ бы въ ноги такъ и повалилась ей, обняла бы ее, какъ и сына родного не обнимывала — да не могу ни суставчикомъ мизинца пошевелить, ни знаку-признаку подать... Долго ли мы лежали, не знаю — а она, видно, ужъ и сама ослабѣла и притихла... Вдругъ словно оторвалось что во мнѣ, словно жаль моя камнемъ тяжелымъ отъ сердца отвалилася, и стала подыматься, подыматься, да и вырвалась вздохомъ изъ устъ моихъ, и ожило сердце во мнѣ, и очи отворились...»

«Что послѣ было—не спрашивай, и сама не знаю; сказывали, что нашли насъ обѣихъ безъ памяти, и

прохворали мы обѣ долго: я-то стала на радостяхъ бойчѣе оправляться, а она, послѣ родовъ, да съ испугу, что мамонька ожила подъ слезами ея, пуще было расхворалась, и сама въ забытьи была, да ужъ я ее тогда отхаживала; а на душѣ-то у насъ стало таково тихо и радостно, потому, вишь, что ангелы Божьи обмиранье это навели на меня, чтобъ я, грѣшная, досыта ласки Серафимушкиной наслушалась, а то бы я никому въ томъ не повѣрила. Вотъ тебѣ, отецъ мой, все дѣло, какъ оно было, и съ тѣхъ поръ, всѣ мы самъ-третей живемъ душа въ душу, другъ у друга изъ рукъ глядимъ, тишь да крышь, да Божья благодать!»

Мы оба долго молчали. Та ли это тревожная, сумрачная, подозрительная старуха, которая видѣла вкругъ себя одно коварство и затаенную злобу, которую и самое съѣдала ненависть къ близкимъ сердцу ея, та ли это мать, въ отчаянномъ, безутѣшномъ положеніи? Мнѣ казалось, что и самое лицо ея съ тѣхъ поръ измѣнилось, любовь и покой изгладили суровыя черты и провели свою привѣтливую бороздку. Видно, не перемѣна мѣста нужна для счастья нашего, а перемѣна состоянія души нашей, и постылое станетъ милымъ, и человѣкъ, самъ не вѣдая, какъ, послышитъ себя духомъ въ небесномъ царствѣ.

«Много искаженія внѣдрилось въ человѣчество, но кой-гдѣ и кой-когда, въ укромной тиши, впотьмахъ, просвѣчиваютъ искры свѣта и тепла, и повсюду Божеское Провидѣнье, не покинувшее доселѣ народа своего, отвѣчающее на безуміе премудростію.» Это было началомъ, и это же пусть будетъ и конецъ нашего разсказа.

---

8) ОКТЯБРЬ

Грудень ни колеса, ни полоза не любитъ, нѣтъ ѣзды. Въ Воронежѣ и Тамбовѣ это *грязникъ и листопадъ*, въ Смоленскѣ *грудень* (отъ *груда*, колоть, мерзлая грязь), на сѣверѣ и востокѣ онъ *зазимье*, а встарь *наздерникъ* (отъ *поздирать*), а повсюду *свадебникъ*; ужъ сѣверякъ обросиулъ листву, липа обронила ее до-гола и стоитъ, какъ лутоха; дубъ еще крѣпится, но только слава, что листъ держится, а пожелкъ, побурѣлъ, покраснѣлъ, такъ что солнышко, проглянувъ, на немъ огнемъ играетъ. Одинъ только товарищъ дубу остался— горькая рябинушка: и красна, и пестра, и перистый листъ еще болтается на вѣтру. Зелень осталась на одномъ только кустѣ, и то не нашемъ, а завозномъ, въ садахъ, на сирени или, какъ удачно передѣлали ее, на синели; она у себя дома морозу не видывала и не знаетъ, какъ съ нимъ обходиться, держитъ зеленый листъ до послѣдняго зазимья. Не сойдешь и глухаря въ бору, сухой листъ шумитъ подъ ногами; русакъ уже выбрался на озимь, а бѣляку-горюну приходится плохо: онъ тоскливо поглядываетъ на предательскую шубку свою, которая заранѣ уже перебралась подъ масть снѣга, онъ жмется по опушкамъ, ждетъ не дождется зимы.

Конецъ хороводамъ, начало посидѣлкамъ, кои впрочемъ на сѣверѣ начались уже вмѣстѣ съ засидками, съ Симеона. Уже скотину закармливаютъ поминальнымъ снопомъ, и съ Покрова ея болѣе въ поле не гоняютъ. Пастухи ищутъ пріюта, идутъ въ батраки, нанимаются молотить, либо берутся за бабью работу — мнутъ ленъ.

Покровъ землю покроетъ, гдѣ листомъ, а гдѣ и снѣжкомъ; мужикъ избу кроетъ, а не ухватишь до

Покрова, не будетъ такова, то-есть тепла: захвати тепла до Покрова. Но Покровъ же и дѣвкѣ голову покроетъ, и вотъ за что мѣсяцъ этотъ свадебникъ. Батюшка Покровъ, покрой сыру землю, и меня, молоду, бѣлъ снѣгъ землю покрываетъ — не меня ль, молоду замужъ снаряжаетъ? Такъ приговариваютъ шаловливыя, веселыя невѣсты, готовясь разстаться съ дѣвичьей нѣгушкой и вступить въ призванье суровой жизни крестьянской домостройки; но иныя изъ нихъ судятъ иначе и направляютъ созерцательный взглядъ свой на невещественный, духовный бытъ человѣка — о чемъ у насъ рѣчь впереди.

Примѣръ всего земного шара, всѣхъ народовъ вселенной, доказываетъ намъ, что человѣкъ, по вѣрѣ и исповѣданіи своемъ, не можетъ обойтись безъ внѣшней или вещественной обстановки, безъ обрядовъ. Безъ этихъ видимыхъ, насущныхъ признаковъ, большинство теряетъ избранную стезю и не можетъ на пути своемъ опознаться; только чувственныя явленія пробуждаютъ въ немъ мысль, или, по крайности, какое-то темное, духовное настроенье, а затѣмъ и стремленье къ добру и къ истинамъ вѣры. Самое значенье обрядовъ, въ чистомъ, неискаженномъ ихъ видѣ, есть представительство и прообразованье, они должны напоминать намъ объ истинахъ духовныхъ и нравственныхъ, кои умственно удерживаются тѣмъ труднѣе, чѣмъ менѣе развита духовная сторона, чѣмъ грубѣе человѣкъ прикованъ къ насущной глыбѣ. Но тутъ неизбѣжно является соблазнъ иного рода: тупая привычка къ исполненію обряда, будто сущности дѣла, глушитъ, какъ сорная трава, добрую пшеницу: внѣшность заступаетъ вовсе дорогу духовному, обрядъ вытѣсняетъ мысль и чувство, и замѣщаетъ ихъ; обрядъ становится сущностію, человѣкъ безсознательно впадаетъ въ кощунство, либо въ ханжество

На сихъ началахъ основаны всѣ расколы наши, сомнѣнія, колебанія и отпаденія. Человѣкъ ищетъ истины, и вѣчно блуждаетъ: онъ блуждаетъ умомъ, коли дастъ ему необузданную свободу, и блуждаетъ волею, сердцемъ, коли отдастся на произволъ увлеченія; онъ блуждаетъ и тупѣетъ, привязываясь къ одной внѣшности, обрядливости вѣры, онъ блуждаетъ и бредитъ, кидаясь въ противную крайность, въ умственную, отвлеченную область духовнаго міра, желая уже во плоти отрѣшиться отъ насущнаго и жить однимъ духомъ.

Одно направленіе нашего раскола пошло по первому пути, то-есть ищетъ сущности вѣры въ обрядахъ, въ одной внѣшности: это поповщина, или толки, кои ограничиваются требованьемъ исполненія всѣхъ обрядовъ по старинѣ, и безпоповщина, толки, идущіе далѣе этого, утверждающіе, что видимое, вещественное царство антихриста наступило, чему для нихъ служитъ уликой искаженіе обрядовъ и обычаевъ; они могутъ быть люди очень добрые и нравственные, но самое направленіе ихъ на одну внѣшность и обрядливость придаетъ имъ какую-то безразсудную тупость, упорство и нетерпимость; простодушные изъ нихъ кощунствуютъ, полагая сущность вѣры въ обрядахъ, а умные и развитые лукавятъ, ханжатъ изъ видовъ, уже вовсе не духовныхъ. Крайнимъ звеномъ этого братства являются бѣгуны, коихъ основа ученія состоитъ въ нарушеніи всѣхъ гражданскихъ порядковъ и учрежденій, потому что они признаютъ ихъ дѣломъ діавольскаго соблазна.

Другое направленіе, которое, можетъ-быть, развилось по себѣ, а можетъ-быть, и вызвано первымъ, какъ всякая крайность вызываетъ другую, противную, какъ бревно на перевѣсѣ одинаково легко можетъ перевалиться и на тотъ, и на другой конецъ. Это напра-

вленіе, въ сущности своей, духовное, и говоритъ: церковь не въ бревнахъ, а въ ребрахъ; оно отрекается отъ всѣхъ обрядовъ, не замѣчая при томъ, что невольно принимаетъ свои, особенные обряды, соблюдаемые съ ожесточеніемъ и неистовствомъ изувѣра, хотя они въ сущности одно пустосвятство. Хуже всего то, что и тутъ и тамъ является нетерпимость, увѣренность въ святости своей, въ избранничествѣ своемъ и ненависть къ разномыслящимъ. Это духоборцы разныхъ толковъ, молокане и созерцательные толки христовщины, хлыстовъ, кои, въ крайней степени своей, являются каженниками или скопцами, а въ былое время были дѣтогубцами и сократильщиками, убійцами, ради спасенія души.

Гнѣздо созерцательныхъ толковъ у насъ въ среднихъ губерніяхъ: Тамбовской, Пензенской, Орловской, тогда какъ первое направленіе, расколъ обрядный, свойственно сѣверу и востоку; второе же занесено въ Тавриду, на Кавказъ и въ Сибирь ссылками и переселеніями цѣлыхъ общинъ. Строптивый Новгородъ искони плодилъ у себя расколъ староверства, а обрусѣлая Мордва, обоихъ поколѣній, Эрзя и Мокша, склонны къ расколамъ смиренія, къ видѣніямъ и пророчествамъ. Только въ послѣднихъ, т.-е. созерцательныхъ толкахъ, являются пророки и пророчицы, даже чудовищные самозванцы, подъ именемъ Христа и Богородицы. Въ сихъ же толкахъ мы встрѣчаемъ сходство съ нѣмецкими гернгутерами и американскими шекерами, направленіе тупое, грустное, стремленіе къ косности и къ отреченью отъ міра. Этимъ духомъ вѣетъ даже по близости, въ сосѣдствѣ всѣхъ созерцательныхъ толковъ, и имъ заражено населеніе цѣлыхъ уѣздовъ и губерній. Женскій полъ, даже въ молодости, очень склоненъ въ тѣхъ мѣстахъ къ такому направленію. Именуясь православнымъ, прилежно по-

сѣщая церкви, народъ исправляетъ всѣ требы, ходитъ на исповѣдь, но отказывается отъ причастія, признавая себя недостойнымъ; плясать — дьявола тѣшить, грѣшно; пѣсни поютъ одни сорванцы; степенная молодка или дѣвка не выйдетъ на хороводъ, танковъ не водитъ, а умница, на возрастѣ, накидываетъ на голову черный платъ, подколовъ его подъ бородою, потупляетъ глаза въ землю, ни на кого не взглянетъ, не улыбнется, лишняго слова не молвитъ, съ парнями не говоритъ вовсе, и черезъ годъ, другой, просится у родителей на спасеніе, въ келію, въ чемъ ей никогда почти не отказываютъ. Келейки эти, мѣстами, ставятъ на задахъ двора, и тамъ келейница живетъ одна, чинно и тихо, выучивается грамотѣ, если не знала ея, читаетъ священныя книги, особенно псалтирь и требникъ, строго исполняетъ всѣ обряды церкви, не упуская ни одной службы, но для общества она пропала, къ мірскому безучастна. Но чаще келейки эти ставятся сподрядъ въ особомъ порядкѣ, сбоку или позадь села, безъ дворовъ и огорожи, и нерѣдко по двѣ келейницы живутъ вмѣстѣ. Это настоящій скитъ Онѣ въ страду помогаютъ роднымъ въ уборкѣ, а прочее время занимаются рукодѣліемъ, пряжею, тканьемъ, а всего охотнѣе шитьемъ, плетеньемъ и вязаньемъ, и кормятся этимъ хорошо, даже даютъ помощь своимъ.

Этотъ странный обычай усиливается не только по мѣстности, но даже и по времени, будто повальная болѣзнь; порою всѣ дѣвки на селѣ вдругъ, словно рехнувшись, всѣми силами порываются въ келейницы, замужество почитается зазорнымъ — и на селѣ нѣтъ невѣстъ!

Такъ различны у насъ нравы, обычаи, а по нимъ и слѣдствія однѣхъ и тѣхъ же мѣръ: въ иномъ мѣстѣ стоило только распустить слухъ, что безграмотныхъ дѣвокъ вѣнчать не станутъ, чтобы въ одинъ годъ за-

то онъ смекалъ это всегда во время, не настаивалъ, не ссорился, а уклонялся вдругъ въ сторону, будто уступалъ, и также внезапно и нечаянно достигалъ цѣли своей инымъ путемъ, гдѣ оплошность противниковъ натиска его не ожидала. Послѣ того онъ смѣялся въ кулачокъ, обращая дѣло въ шутку и оставаясь со всѣми въ добромъ согласіи.

Быстро обозрѣлъ онъ вотчину свою, сдѣлалъ тотчасъ нѣкоторыя распоряженія, пріучая старосту рѣзкими, короткими и ясными приказаніями своими не пропускать ни одного словечка мимо ушей и не откладывать никакого исполненія, безъ разумныхъ причинъ, до завтраго, а чему была не пора, тѣмъ онъ памяти старосты не обременялъ, мыслей его не развлекалъ, а удерживалъ за собою, безъ записки, потому что самъ никогда и ничего не забывалъ.

— Ну,—сказалъ Руфъ Садоковичъ, толкуя со старостой, который и самъ словно ожилъ и помолодѣлъ, при толковой и короткой расправѣ этой:—ну, братецъ, вотъ я пробѣжалъ по-семейные списки наши: мало сажаешь на тягло. Есть парни зрѣлые. Надо женить ихъ.

— Вотъ про это-то дѣло и я хотѣлъ доложить вашей милости, — началъ тотъ, съ тяжелымъ вздохомъ:—и не знаю, какъ быть тутъ, такая бѣда!

— Какая бѣда?

— Да вѣдь дѣвки-то у насъ всѣ не туда глядятъ, не совладаешь съ ними; какъ вотъ вашему разсужденію угодно будетъ, а вѣдь намъ что съ ними дѣлать!

Руфъ Садоковичъ только что прибылъ въ вотчину свою, гдѣ прежде бывалъ лишь наѣздомъ, не успѣлъ еще спознаться со всѣми мѣстными обычаями, и потому не понималъ загодочныхъ словъ старосты; заставивъ же его разсказать и объяснить толкомъ, въ чемъ дѣло, онъ услышалъ, что Царево-Стойбище вовсе

[illegible]

— Съ кѣмъ поссорились, за что?

— Да все изъ пустяковъ, сударь: сельцо Мокруша, Анны Мироновны, на седьмую часть ей доставшось, ну, и прозвали его Семухой, такъ оно и пошло, Семуха да Семуха; а Пищухино, Ѳедоры Ивановны, не хорошо прозвалъ народъ, но при вашей милости будь сказано, Пустоселовымъ зовутъ; вотъ барышни-то и этимъ обижаются; что за Семуха, говоритъ Анна Мироновна, коли оно Мокруша; какое Пустоселово, говоритъ Ѳедора Ивановна, у меня Пищухино, а не Пу-

стоселово! А чего, Пищухино, и всего-то 20 душонокъ, а въ Семухѣ-то и того нѣтъ — вотъ онѣ сперва стали этимъ промежду собою попрекаться, и разссорились, а тутъ и наши дураки туда же, Семуха да Пустоселово на зубокъ попало; барынѣ-тѣ на меня вскинулись, какъ, говорятъ, смѣете такъ безчестить насъ? А я что сдѣлаю, платкомъ глотки-тѣ всему міру не завяжешь, ну, и осерчали, и отказали въ дѣвкахъ, а у нихъ двѣ есть, въ залишкѣ.

— А у насъ много ли ихъ? Сколько въ кельяхъ, сколько по домамъ?

— Да въ кельяхъ, въ старкахъ то-есть, никакъ двѣнадцать, ну, на половину онѣ ужъ и не молодыя, а вотъ по домамъ, по семьямъ-то, что ужъ года по два и по три просятся у отцовъ, дѣвокъ съ восемь будетъ; и ничѣмъ ихъ...

— Слушай: завтра поутру чтобъ были всѣ дѣвки эти, съ отцами и матерями, и всѣ молодые ребята, сколько есть на селѣ, кого отецъ-мать женить хотятъ, чтобъ были здѣсь, у меня, да еще просить отца Данила, чтобъ и онъ тутъ былъ.

На другое утро всѣ собрались. Руфъ Садоковичъ, потолковавъ недолго со священникомъ, позвалъ напередъ парней, спросилъ ихъ: хотятъ ли они жениться? и на поклонъ и отвѣтъ ихъ, что просятъ барской милости, велѣлъ имъ всѣмъ покинуть шапки свои въ одной кучѣ, посреди полу. Выславъ ихъ, онъ позвалъ отцовъ и матерей съ невѣстами.

— Здравствуйте! Я созвалъ васъ, чтобы потолковать о дѣлѣ и кончить его: я непоконченнаго ничего не покидаю. Что это у васъ дѣлается? Говорятъ, вы дочерей не отдаете, въ засолъ, въ прокъ что ли ихъ прочите?

Отвѣты отцовъ, при поклонахъ, пожиманіи плечами и разводкѣ руками, посыпались: «мы, батюшка, не

противники вашей милости,—это ихъ воля, — это онѣ сами дурятъ, промежъ себя,—спасенья своего ищутъ, батюшка, — мы люди темные, мы, что говорить, не знаемъ, а онѣ свое — тоже вѣдь боишься, какъ бы не согрѣшить передъ Богомъ, а ужъ тутъ воля ваша...»

Матери, повидимому, также были въ раздумьѣ, иныя поблажали дочкамъ, другія были очень недовольны ими, но противъ общаго голоса или обычая ничего не могли сдѣлать; одна изъ послѣднихъ, почуявъ, что бариново слово развязало ей язычекъ, вышла впередъ, съ поклономъ, и разсыпалась такимъ горохомъ, что Руфу Садоковичу пришлось заложить руки въ карманы, выставить ногу впередъ, и дожидаться той минуты, когда можно будетъ провести себя рукой по маковкѣ. У говоруньи этой всѣ были виноваты, одна она права, свята; и отецъ-то не знай чего глядитъ, и народъ-то словно рехнулся, и попъ-то словно ихъ руку держитъ, и кончила тѣмъ, что надо бы-де и отца и дочку-то посѣчь, тогда все дѣло устроится.

— Дѣвушки,—сказалъ Руфъ Садоковичъ: — подойдите сюда, на середку; слушайте: вы кому хотите угождать—Богу? Вы отъ кого спасенія чаете — отъ Бога? А чѣмъ же вы чаете обрѣсти спасеніе это, тѣмъ ли, чтобы слушаться и повиноваться завѣту Его, приказаніямъ, или тѣмъ, чтобы самодуромъ свои законы ставить, да вдвое грѣшить поклепомъ на Бога? Слушайте же, что Господь сказалъ, вотъ и отецъ Данила здѣсь, онъ не дастъ мнѣ именемъ Божьимъ говорить неправды: Создавъ человѣка, мужа, праотца нашего Адама, и посадивъ его въ рай земной, Богъ сказалъ: «Не добро быти человѣку единому: сотворимъ ему помощника; и созда Богъ ребро, еже взя отъ Адама, въ жену, и приведе Еву къ Адаму: сего ради оставитъ человѣкъ отца своего и матерь и прилѣпится къ женѣ своей, и будетъ два въ плоть едину». Вотъ что

говоритъ Господь, а вы, ища послушанія, смиренія и спасенія, Ему повинуйтесь. Разбирайте шапки!

При второмъ, настоятельномъ приказаніи разбирать шапки, дѣвки исполнили это робко, потупивъ глаза.

— Позвать ребятъ! Дѣвки, надѣвайте на себя шапки, живо!

Озадаченныя такимъ нежданнымъ оборотомъ дѣла, дѣвки надѣли шапки, поглядывая исподлобья другъ на друга, въ такомъ изумленіи, будто и сами не знали, что дѣлали; руки ихъ двигались только по привычкѣ повиноваться барину. Парни вошли.

— Разбирайте невѣстъ своихъ по шапкамъ, — сказалъ Руфъ Садоковичъ:—живо, ну!

Парни подошли къ дѣвкамъ, и разобравъ ихъ, по шапкамъ своимъ, стояли съ ними рядомъ.

— Ну, а кому жребій не выпалъ, — продолжалъ Руфъ Садоковичъ:—тотъ подымай шапку съ полу, да ступай горевать домой, дѣло не ушлое авось еще найдемъ невѣстъ. Отцы и матери, благословляйте дѣтей! Кланяйтесь отцамъ въ ноги, женихи и невѣсты! Батюшка, помолимся, да благословите, вотъ восемь паръ молодыхъ! Дома ревѣть будете, — крикнулъ онъ на дѣвокъ:—тутъ плачъ не кстати, плакать не мѣсто! Отцы, пиво мое, и двѣ овцы на каждую чету новоженовъ. Староста! купишь по два красныхъ платка на невѣсту, да чтобъ я этихъ черныхъ не видалъ! Въ твоемъ келейномъ ряду дай жеребій всѣмъ здоровымъ и молодымъ старкамъ, а по двѣ кельи въ годъ долой, сломать; объяви имъ это! Ну! старики и молодые, пиво мое, и по двѣ овцы; съ Богомъ, идите; дѣло кончено (и погладилъ себя по головкѣ), съ Богомъ, по домамъ.

И восемь свадебъ сыграно было въ одинъ день.

КОНЕЦЪ ВОСЬМОГО ТОМА.

СОДЕРЖАНІЕ ВОСЬМОГО ТОМА

стр.

Авсень 1
Сынъ 10
Отцовскій судъ 17
Хлѣбное дѣльце 24
Отводъ 37
Старина 45
Подполье 58
Подкидышъ 71
Чудачество 87
Благодѣтельницы 93
Рукавички 105
Неправедно нажитое 109
Ворожейка 119
Русскій мужикъ 128
Два лейтенанта 142
О котахъ и о козлѣ 159
Объ очкахъ 163

Новыя картины русскаго быта.

Сѣренькая 166
Самородокъ 190
Январь (Васильевъ мѣсяцъ, сѣчень, просинецъ) 198
Пріемышъ 211
Дѣдушка Бугровъ 252
Кружевница 265
Обмиранье 272
Октябрь 295

891.73
D131
V. 8

Stanford University Libraries
3 6105 013 401 554

JUN 1988

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.

PRINTED IN U.S.A.

БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛ

КНИГА 171 1898 ГОДЪ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М.О. ВОЛЬ